

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

Книга вторая

Verlag "Partner"

2005

Редколлегия:

Даниил Чкония – главный редактор
Лариса Щиголь – зам. главного редактора
Ольга Бешенковская
Борис Вайнблат
Сергей Викман

Редакция выражает искреннюю благодарность спонсорам, оказавшим поддержку нашему журналу: Генеральному консулу России в Бонне Г.А. Геродесу, Представительству Русской Православной церкви в Германии, Wingas GmbH, EON Ruhrgas AG, Henkel KgaA, Alpina-Bau GmbH, UTS Touristik GmbH, Sweets Global Network, Krupp Druckereibetriebe GmbH, Werbri Medical Systems Trading e.V.



ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА ВТОРАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия и проза

Александр Кушнер. Не иссохнут стихи... Стихи.....	2
Александр Кабаков. Огонь небесный. Рассказ.....	6
Владимир Порудоминский. Два рассказа.	
Розенблат и Зингер. Рассказ.....	12
Скрипачи на крыше. Рассказ.....	16
Ян Торчинский. Дунайские волны. Рассказ.....	22
Андрей Грицман. Мне хотелось узнать... Стихи.....	27
Джеймс Болдуин. Комната Джованни. Роман.....	34
Валдемар Люфт. Последний клиент. Повесть.....	74
Наталья Генина. Птица Легас. Стихи.....	108
Александра Жирмунская. Странница Елизавета. Рассказ.....	113
Евгений Бовкун. Из немецкой поэзии. Переводы.....	126
Андрей Кучаев. Два рассказа.	
Глубина неба. Рассказ.....	129
Клубничная поляна. Рассказ.....	133
Борис Вайнблат. Короткие рассказы.....	136

Немецкая классика в зеркале классики русской

Johann von Goethe. Erlkönig.....	140
Иоганн Вольфганг Гёте. Лесной царь.....	141

Эссеистика, критика, публицистика

Майя Туровская. «Лето в Бадене», или большое приключение литературы.	142
Александра Свиридова. «За такое кино надо убивать...».....	145
Александр Мелихов. Мы рождены украшать и усиливать друг друга.....	151

Иные жанры...

Ольга Бешенковская и Илья Фоняков. Кошачья переписка.....	156
Борис Юдин. Сказки для взрослых.....	173

Июль
2005

Александр КУШНЕР

НЕ ИССОХНУТ СТИХИ...

* * *

В каком-нибудь Торжке, домишко проезжая
Приземистый, с окном светящимся (чужая
Жизнь кажется и впрямь загадочней своей),
Подумаю: была бы жизнь дана другая –
Жил здесь бы,тише всех, разумней и скромней.

Не знаю, с кем бы жил, что делал бы, – неважно.
Сидел бы за столом, листва шумела б влажно,
Машина, осветив окраинный квартал,
Промчалась бы, а я в Клину бы жил отважно
И смыслом, может быть, счастливым обладал.

В каком-нибудь Клину, как на другой планете.
И если б в руки мне стихи попались эти,
Боюсь, хотел бы их понять я – и не мог:
Как тихи вечера, как чудно жить на свете!
Обиделся бы я за Клин или Торжок.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1.

В детстве мечталось о славе Шопена,
Шуберта, Шумана – смерть неизбежна –
Биографических, послевоенных
Серия книг вспоминается нежно:
Вместе с учебником в школьном портфеле –
Страстный порыв и подруга-тревога.
А умереть в двадцать семь, – неужели
Это печально, – ведь это так много!

Что-то по радио в слух залетало:
Скажем, мазурка; допустим, баллада.
Главное, радости было им мало,
Им еще слез и отчаянья надо.
С разумом – прочь, с назиданьем – отстаньте,
Разве весна помещается в смету?
Можно сказать, я великий романтик
Был вместе с ними – таких больше нету!

2.

Раньше обедали под «Баркаролу»
Шуберта или его «Сerenаду»,
Нынче спустились в начальную школу,
Переметнулись к слоновьему стаду.

На человечество в этом забеге
Я б не поставил, одышливо-длинном,
Лучше к стрижам присмотрюсь на ночлеге,
В небе снующим, и к гнездам осинym.

Как одинок композитор, кому он
Нужен сегодня, под грохот там-тама?
Шуберт, прощай! До свидания, Шуман!
Нас удивит и простейшая гамма.

Шел я вчера мимо окон открытых:
Кто-то с запинкой с великим поляком
Вел разговор о мечтах и обидах,
Робко и тихо, – я чуть не заплакал.

* * *

Представляешь, каким бы поэтом –
Достоевский мог быть? Повезло
Нам – и думать боюсь я об этом,
Как во все бы пределы мело!

Как цыганка б его целовала
Или, целясь в костлявый висок,
Револьвером ему угрожала.
Эпигоном бы выглядел Блок!

Вот уж точно измышленный город
В гиблой дымке растаял сплошной
Или молнией был бы расколот
Так, чтоб рана прошла по Сенной.

Как кленовый валился б, разлапист,
Лист, внушая прохожему страх.
Представляешь трехстопный анапест
В его сцепленных жестких руках!

Как евреи, поляки и немцы
Были б в угол метлой сметены,
Православные пели б младенцы,
Навевая нездешние сны.

И в какую бы схватку ввязалась
Совесть – с будничной жизнью людей.
Революция б нам показалась
Ерундой по сравнению с ней.

До свидания, книжная полка,
Ни лесов, ни полей, ни лугов,
От России осталась бы только
Эта страшная книга стихов!

* * *

Мне рассказали про клуб
Самоубийц: собираются,
Пьют; сам себе лесоруб
Каждый – и тем развлекаются;
Выпадет жребий: смешно.
Ты принужден в этом месяце
Выброситься в окно
Или на люстре повеситься.

Я отвечаю: Ну, нет.
И вспоминаю приятеля.
Он вынимал пистолет
И превращался в мечтателя:
Мало ли что, – говорил,
Глядя в лицо неизвестному.
А умирал – позабыл
К средству прибегнуть железному.

ОТНОШЕНИЕ К ВЕЩАМ

Вот сволочь! – это мы застежке говорим.
У, гадина! – в сердцах, ударившись об угол, –
Дубовому столу. Увы, обидно им,
Мы деспоты для них и что-то вроде пугал.

Я в жизни никому б не мог того сказать,
Что я кричу шнурку порвавшемуся... это
Позволили словцо поэту записать
Одною буквой «б» в стихах шершавых где-то.

Какой у нас всю жизнь с вещами разговор
Сурово-деловой, отрывистый и грубый!
Как робок их отпор, как кроток их укор,
Как сдержанны чехлы, как вышколены шубы!

* * *

Счастье было огромно, как горы,
Заходившие молча в купе
И с другой стороны – в коридоры,
С ветерком, как на узкой тропе,
Раздувая вагонные шторы,
Замедляя шаги при ходьбе.

Счастье было плечисто, кустисто
И кремнисто-слоисто, на нем
Снег лежал, как кусочек батиста,
И не таял под южным огнем.

Счастье было поддержано теми,
Кто его в прошлом веке для нас,
В прозе славил и ссыльной поэме,
Счастью было названье Кавказ.

Счастье было отвесно, полого,
Как в ушко, устремлялось в туннель
И сквозь мрак, счастья было так много,
И на полку кидалось в постель.

Заходило то с фланга, то с тыла
И любви нашей было под стать,
Загражденья расставив, перила,
Их снести угрожало опять.
Счастье было; что было – то было!
Всё пройдет, а его – не отнять.

* * *

Уходящий из жизни затмение мира склонен
Предрекать. Апокалипсис – вот что ему по нраву.
Раньше он так не думал, пока еще не был болен
И преследовал цель, то есть женщину или славу.

А теперь ему знаки упадка, черты ущерба,
Роковые приметы крушения интересны.
Если, скажем, филолог он, то Потебня и Щерба
Раньше были милы ему, нынче скучны и пресны.

Скажем, пихта у Гейне – немецкое Fichtenbaum –
Стала кедром, сосной в переводах и даже дубом,
Что теперь безразлично ему – опустил шлагбаум
И не словом, а деревом пасмурным, влажногубым

Грезит: вот и леса вырубают, и, Бог свидетель,
Погибают моря, упрощается речь и реки
Обмелели... Космический холод... А как же дети?
А нежившие как? Он не знает, смыкает веки.

.....

Я надеюсь, что это ошибка, самовнушенье:
Не иссохнут стихи, не сгниют вековые корни.
И когда я начну проповедовать разрушенье,
Катастрофу предсказывать мира, меня одерни!

АЛЕКСАНДР КАБАКОВ

ОГОНЬ НЕБЕСНЫЙ

...Бродишь по залу с вихляющейся тележкой, набираешь всякую ерунду: соус для спагетти в тяжелой стеклянной банке, облепленный пленкой кусок сыра, порошок для стиралки, чтобы воду смягчать, а то нарастет там, в машине, какая-то гадость, и сломается механизм, еще соседей зальешь, гирлянду сосисок, взвешенную и заклеенную ценником в прозрачном мешке, гель для бритья... Бродишь себе и бродишь, думая только о том, что еще взять впрок. Но приходит время двигаться к выходу, а там, в конце этого блуждания, когда все, чего хотел, уже получил, ждет тебя касса, зеленым огнем вспыхивающий итог. Плати за все – и свободен, жизнь вырвала из наших рядов... Конечно, жизнь, ведь говорим же «конец жизни», а не «начало смерти». Рассчитались за все? Ну прощайте, благодарим за покупки. Надеемся, что придет к нам еще.

Впрочем, это буддисты надеются или кто там – на вторую и последующие попытки в виде собаки, змеи, таракана и так далее. А мы-то полагаем, что освободились, что больше в этом супермаркете нам делать нечего, и впереди только бесцельные прогулки по зеленым лужайкам или – о-хо-хо, вполне возможно, по грехам-то – горячее производство, выплавка чистого сверкающего раскаяния из бедной породы душ наших...

На окраине Москвы, где река делает большую петлю, будто обходя тайное подводное препятствие, стоит микрорайон Брюханово. Река делит его на две части, на Верхнее, ближе к центру, и Нижнее, уже почти подмосковное. Прежде, в незапамятные времена, были это две враждующие пригородные деревни. Продавали, сбивая друг другу цену, в столице молоко и яйца, парни отчаянно дрались на весеннем слабом льду вплоть до членовредительства и нечаянного утопления, а солидное население сильно завидовало городским, их электричеству и центральной воде, не говоря уж о прочих теплых удобствах и возможностях конторской чистой работы, и ревниво гадало, кому прогресс достанется раньше. По всему выходило так, что верхние брюхановцы должны были опередить... Но прогресс распорядился по-своему: сначала Брюханово Нижнее сделалось огромным спальным микрорайоном, застроенным длинными девятиэтажками и шестнадцатиэтажными башнями для простого, неудержимо растущего населения, а потом Верхнее оказалось прорезанным улицей имени какого-то неизвестного Петрова, вдоль которой встали богатые дома с дорогими квартирами и салонами красоты. Так что электричества и водопровода досталось в конце концов поровну, однако преимущество у верхних все же получилось за счет социального расслоения, свалившегося вдруг на наши непривычные головы. Жили себе все обыкновенным образом, бегали по нужде в кривые будки за гряздками, над обрывом – и вдруг на тебе! У одних унитаз за три зеленых штуки, с дизайном, а у других советский, с деревянной подковой, да и тот треснутый. Одним дорога в бандиты либо в охранники, а другие от бандитов себе охрану нанимают. Одни баню топят в оздоровительно-развлекательном комплексе Nizneie Bryukhanovo Country Club, а другие там парятся.

В общем, демократия.

С другой же стороны посмотреть... Хоть демократия, хоть старая власть, а как было Верхнее Брюханово всегда к Кремлю ближе, как пустили туда трамвай аж

до войны, когда в Нижнем еще и мостовой-то не положили, как заливало всегда нижний берег, а верхний красовался, отражаясь в широком паводке, так и осталось, так и навсегда останется. Это не история, товарищи, это география, наука не столько гуманитарная, сколько естественная. Против географии революцию не сделаешь.

Например, география устроила так, что в самом изгибе реки расположилось небольшое населенное место, издавна не относившееся ни к Верхнему, ни к Нижнему Брюханову. Десятка три там стояло серых дощатых изб, земля была грязная, болотистая, ветер дул круглый год. Для чего в таких паршивых условиях поселились люди, один Бог знает, люди вообще где только не селятся — и на вулканах, и на мерзлоте вечной, и в подверженных землетрясениям, наводнениям, вечной суши краях. Чего, спрашивается, там жить, когда полно пустых пространств с прекрасными видами и безопасных? Непонятно, а ведь живут. Станный люди народ, необъяснимый.

Вот и в межбрюхановской излучине жили аборигены, да так и остались жить, несмотря на общее развитие, свободу и экономику. Раньше поселение это никак не называлось, а в последние годы стало называться просто «частный сектор», поскольку имелось решение о скором его уничтожении путем повального сноса, предоставления прописанным гражданам соответствующей площади в новостройках данного административного округа и строительства на очищенной территории высотного жилья с замораживанием почв под фундамент. В воздухе тех краев вообще была растворена идея большого строительства, несмотря даже на то, что возведение на упомянутой улице Петрова самого высокого дома в мире несколько лет назад не удалось — не сработались разноязыкие гаст, как говорится, арбайтеры, проект с красивым именем «Бабилон» законсервировался и распался понемногу в пыль, а застройщик разорился. Однако неугомонным строительным фирмам и благоволяющим к ним властям все равно не терпелось снести к чертовой матери частный сектор, так что дни забытых Богом и жизнью халуп казались сочтеными.

Но тут-то и проявила свою загадочность неистребимая наша душа, понять и объяснить которую уж не один век тщатся иные горе-исследователи, да все без толку. Не выйдет, господа, не надейтесь! Велика страна, и огромная тайна хранится в большом сердце русском, вмещающем весь мир, всю вселенную даже. Тесно ему, сердцу, на отведенных санитарными нормами квадратных метрах, душно в обычных квартирах, хотя бы даже и улучшенной планировки, — подай нам целиком поднебесный простор, да не тронь и малую, но необъятную родину.

Одним словом, жители взбунтовались. Подите вы все на грубые буквы, говорили жители строительным эмиссарам и официальным уполномоченным, а нас оставьте в покое в избах наших кривых, без водоснабжения и канализации, зато с огородами и земельным природным наделом в пять-семь, а у некоторых и в десять соток. Это есть наша недвижимая собственность, отчество наше, и не надо нам вашего комфорта с телефонами и даже мусоропроводом. Здесь отцы наши жили с матерями, здесь деды наши мучались под царизмом и последовавшим без хотя бы малой передышки социализмом, здесь и мы умрем непокоренными, плевать на ваш рынок.

Скажите, ну откуда берется вдруг в нашем соотечественнике такая гордость, тяга столь непобедимая к воле — к свободе, то есть? Ведь столетиями жил он, да и сейчас не против жить под начальниками, и даже любит начальников этих, почитает их отцами родными, ждет от них блага и заботы, за что готов, опять же, любить и почитать. Вон один поручик, снискавший среди знакомых славу некрасивой внешностью и дурным характером, а среди всех прочих еще большую талантом, так прямо и написал — мол, страна рабов, страна господ, будто больше среди нашего брата нет никого. Еще и немытыми обляял, можно подумать, сам в Тарханах

из джакузи не вылезал... Но только до поры послушен русский человек, а потом как взовьется! Тогда начинается пугачевщина, пусть в масштабе отдельно взятого квартала.

И поднялся частный сектор на борьбу.

Нашлись, конечно, сразу народные вожаки из числа ветеранов труда и войны, организовали сопротивление. Составили при участии молодого грамотного поколения письмо протеста, отправили его в префектуру по назначению, копии же на всякий случай послали известным по телевизору депутатам, некоторым популярным, исполняющим хорошие песни артистам эстрады, в Международный суд справедливого города Страсбурга ну и президенту, конечно, чтобы разобрался. Письмо вместе с копиями молодежь распечатала на принтере, так что проблем не было.

Ответ на письмо пришел вскоре совершенно несимметричный – в виде нескольких уполномоченных мужчин и женщин, двинувшихся по домам со смотровыми ордерами на новые квартиры. Уполномоченные глядели хмуро, удивляясь, как могут люди отказываться от современного жилья с лифтами внутри и инфраструктурой вокруг, оставаясь в доисторических условиях с водой в колонке и даже без кабельного телевидения. Протестанты же стояли на своем, расписываться за ордера отказывались, так что уполномоченные скоро набились все в казенный микроавтобус и покинули поле битвы за умы людей.

Победа эта, однако, не усыпила бдительности испытанных пенсионеров, среди которых были и те, кто имел опыт жалоб еще в райкомы, парткомиссии и ОБХСС. Старики готовились к новым боям, и оказались правы: вскоре по почтовым ящикам смущенная почтальонша разложила уведомления о грядущем принудительном выселении граждан по уже состоявшемуся каким-то срочным образом решению межрайонного суда. И пока общество разбирало смысл документа, заревели моторы, показалась на подступах к месту действия тяжелая строительная техника, за которой шла пехота в оранжевых жилетах, а в глубоком тылу виднелись черные машины начальства.

Что оставалось делать массам? Только взяться за руки и встать поперек движения цивилизации, готовой, как всегда, смести со своего пути все живое. В цепи оказались рядом пожилые женщины в домашнем платье и темных, словно в церковь повязанных платках, юноши в просторных штанах, майках со словами и американских кепках, несколько серьезных мужчин, самоотверженно преодолевающих абstinентное недомогание, старики с потемневшей до полной неразборчивости медалью на претерпой колодке и значком ударника коммунистического труда, две девушки на каблуках и с музыкальными затычками в ушах – в общем, небольшое, но цельное человечество. И бездушный металл отступил, а с ним, вроде бы, отступилась от упрямцев и власть.

Эх, наивности! Дети вы, господа, истинные дети. Где ж это видано, чтобы власть отступала? Не бывает такого в беспощадной действительности, и не надейтесь. Для того мы и назначаем себе власть, чтобы она держала нас в строгости, силком творила благо, без уступок пресекая народные капризы и баловство. Иначе население такого наворотит, что само не обрадуется, вплоть до полного истребления себя. В одном суть и смысл любой власти, хоть царской, Богом данной, хоть всенародно избранной под международным наблюдением – охранять людей от их же собственной глупости. А как только она в этом занятии слабину даст, тут ей и конец, заодно же и большой части народа, который без узды непременно начнет друг друга убивать и грабить во имя добра, справедливости и свободы. Найдутся грамотные дураки (им потом тоже отольется), дадут всему название – великая революция или исторические реформы, или еще какая-нибудь херня – и пойдет: нищета, голод, стрельба на улицах, в подвалах гнилая вода стоит... Так и будет, пока не выползет из безобразия новая сила, не гаркнет

как следует, не перехватит болтающиеся вожжи, не станет властью, не запретит бунтовать. Тогда опомнимся, возьмемся за ум, делом займемся — глядишь, все понемногу и наладится до новых бунтов.

Вернемся, впрочем, на место описываемого действия, к действующим на нем лицам и исполнителям Господней неисповедимой воли. Прошла с народной победы неделя, наступила ранняя золотая осень, принесшая, как положено, очарование очам... Красота! Прозрачность, воздух... И тут-то для вразумления межбрюхановских инсургентов руководство отключило им свет. Приехали дядьки на грузовике с такой выдвижной штукой, поделали чего-то на столбе, и привет. Как бы намек — не хотите жить в современном электрическом мире, вот вам ваша отсталость в полный рост. Топите свои печи, таскайте воду ведрами, ешьте тухлятину без холодильников и, главное, попрощайтесь с любимыми телевизорами, раз вы такие умные. Желаете в родной деревне оставаться, так попробуйте настоящего деревенского счастья. Жестоко, конечно, но логично.

Что ж, погрузился, как говорится, во тьму злополучный частный сектор. Притих протестный избирательный округ, сидит по домам при свечках, вставленных в стаканы и другие подручные предметы, мается. Молодежные компьютеры остановились, телевизоры прекратили снабжение зрителей юмором и жизненными фильмами, морозилки потекли... Только радио батарейное поет задушевно арестантские песни, но от этого делается еще грустнее, потому что и песни грустные.

Юное поколение быстро рюкзаки поцепляло и в город подалось, ему, юному, все равно, оно и при свете невесть где гуляло. Женская часть подумала-подумала, задула свечи, да и спать легла, накрутилась за день, хоть отдохнуть, если серию не посмотришь. А мужчинам, конечно, не спится в силу мужской более нервной организации, так что остается стоять вокруг ларька «Продукты», где, следует признать, они и в светлое мирное время стояли. В ларьке находчивый хозяин зажег неизвестно где найденную керосиновую лампу и при ней, вопреки противопожарной безопасности, отпускает пиво и сопутствующие товары, вплоть до белой, предпочитаемой отдельными, наиболее решительными покупателями.

Ну и разговор, конечно, идет.

Потому что бараны мы, хуже скотов, говорит один джентльмен, так с нами и надо.

Следует заметить, что в любой отечественной компании всегда находится кто-нибудь, склонный к такой национальной самокритике. Иногда он этим ограничивается, иногда же продолжает — вот, посмотрите на евреев (хачиков, немцев, китайцев, да хоть кого), они, небось, так с собой не позволят обращаться. Потому что друг друга тянут, стоят друг за друга, головой думают, а мы и мозги пропили, и совесть. Последнее утверждение никак не мешает оратору продолжать то же занятие, которому одновременно с беседой предаются все...

В конституционный суд надо идти, вот что, говорит второй.

Почему именно в конституционный, он не объясняет. Такой информированный господин обычно хранит тайну своего знания, и с ним никто не спорит, не требует аргументации, слушают уважительно и серьезно кивают головами. Впрочем, к чести российской общественности, рекомендации экспертов подобного рода она никогда не выполняет...

А если с другой стороны взять, после долгого совместного молчания говорит третий, можно и переехать, в этой-то помойке жить тоже радость небольшая. И точно, как скоты.

Неожиданный оппортунизм не встречает никакого отпора. Вместо того, чтобы немедленно истогнуть осквернителя принципов и потенциального предателя из своей среды, собеседники снова надолго задумываются в тишине. Этим и поразителен великий русский характер, что любую чуждую идею мы не отвергаем сходу, а принимаем к сочувственному рассмотрению, и даже увлекаемся ею, и

даже готовы довести до воплощения в прямой ущерб себе! А что, рассуждает наш человек, раз есть такая мысль, то ведь и правота своя есть у того, кто ее думает... Давай-ка попробуем, страна у нас большая, богатая, авось ничего ей не сделается от пробы – и пробуем так, как самому Марксу не снилось... Смотри-ка, не получилось, удивляемся потом, надо же. А у других получалось, значит, климат там мягче. Ну ладно...

Так и стоят граждане, размышляя о судьбах родины.

Меж тем, ночь сияет над ними, и в сиянии этом сливаются природный блеск отечественных звезд с противоестественным и непобедимым заревом города, как сливаются в безумной нашей истории две стороны света, две половины мира, две иллюзии человеческие.

В такое время и в таком месте никак не могло, по нашему мнению, обойтись без чуда.

Чудо и случилось.

Под сиянием небес, во мгле ночи отделился потихоньку от компании один незаметный такой товарищ. Фигуру его рассмотреть было невозможно, лицо тем более, но впоследствии выяснилось, что он неместный, снимал комнату у одной старухи, и чем по жизни занимался, неведомо. Сидел себе целый день в затхлом старушечьем жилье, курил, писал что-то на бумаге и складывал стопкой – в общем, временно неработающий, но, видно, с образованием. Сейчас таких много – сплошные «не» в определениях...

Он отошел от ларька и, не успел никто и удивиться толком, как в одно мгновение влез на близко стоявший тот самый столб, на котором произведено было высшими силами отключение света. Как уж ему удалось, один Бог знает – без выдвижной площадки, без кошек монтерских, даже без всякой лестницы! Ну чудо, оно и есть чудо, тут рассуждать не приходится. Взлетел ввысь и повис, прижаввшись к столбу, словно магнит его там держал.

Народ... А что говорить о народе, когда раз и навсегда сказано, что безмолвствует он. Ничего против народа мы не имеем, даже любим его по-своему, но тут речь не о нем.

Неместный мужчина, меж тем, уже возился в небесах, восстанавливая контакт. И, опять обратим внимание, без предварительного обесточивания линии, без резиновых перчаток и положенных по технологии бот! А там, вы же понимаете, одной фазы достаточно, чтобы приготовить из любого живого организма гриль... Но ничего не сделалось герою, на то он, опять же, и герой – скрутил провода, будто они из пластилина, да еще и рукой вниз махнул, получите, мол.

Забытые в рабочем состоянии выключатели тут же пропустили давно желанный ток к лампочкам и телевизионным экранам, озарились окна мертвых мгновение назад домов, свет и тепло сошли к людям.

Нельзя сказать, что люди, узрев чудо, упали на лица свои. Но что выпили от удивления, это да.

Он же все висел на столбе, никак не мог слезть, зацепился за что-то одеждами.

«Я дал им огонь, – думал он и, как свойственно фантазерам, особенно пьющим, досочинял, – за это меня приковали и так далее. Птица цирроз, – продолжал сочинять он, глотая, кстати, пару желтых даже в темноте таблеточек аллохола – будет прилетать и клевать мою печень. Возникнет прекрасная легенда, которую я мог бы записать и, наконец, достичь славы, моя книжка лежала бы среди новинок во всех больших книжных магазинах, возможно, даже с бумажкой «Лучшие продажи месяца» поверх стопки. Но мне не суждено добиться такого успеха, я буду здесь висеть, как последний мудак, вот и все, а электричество, один хрен, опять отключат. Стоило ли забираться так высоко?».

Сомнения в избранном пути, бессмысленные сожаления об уже совершенном терзали несчастного. Героям вообще-то не свойственна рефлексия, но некоторые

становятся героями нечаянно, не успев потерять симпатичные человеческие свойства.

Утром приехало Мосэнерго, его сняли, слегка наподдав, как положено. Избы пошли под бульдозер через месяц, людей расселили по плану, все кончилось.

Прометей взял сумку и отправился в город. Там он, конечно, потерялся среди других наших знакомых – предпринимателей без образования юридического лица, пиарщиков, светских девушек, призраков, бандитов, работников метрополитена, бомжей, вурдалаков, председателей думских комитетов, милиционеров, звезд шоу-бизнеса, ведьм, работников ЧОП (частных охранных предприятий), посетителей кофеен, любителей экстремального спорта, говорящих зверей, военных пенсионеров, москвичей и гостей столицы, временно зарегистрированных за взятку. Наверное, опять нашел комнату у какой-нибудь старушки, и все пишет свою книгу. Жизнь ведь одна и кончается быстро, надо спешить и стараться.

Мы надеемся, что Господь пошлет ему сил и времени дописать – иначе, действительно, не стоило лезть так высоко.

2004, 31 октября – 13 ноября, Павловская Слобода

ВЛАДИМИР ПОРУДОМИНСКИЙ

ДВА РАССКАЗА

РОЗЕНБЛАТ И ЗИНГЕР

Розенблат и Зингер, когда я познакомился с ними, были погонщиками ослов в Ташкенте. Они ютились в маленькой конурке под лестницей, в старом здании учрежденческого архива, приспособленном под общежитие. Спали они на полу, постелей у них не было — так, какое-то логово из соломы и тряпья. Одежды у них тоже не было — только та, что на них; из теплых вещей — выданные им казенные телогрейки и ватные штаны защитного цвета.

Шла война, общежитие тесно заселяли эвакуированные, всем жилось несладко, но и среди эвакуированных Розенблат и Зингер выделялись бедностью и неприкаянностью, при том — несхожестью с остальными. Уже то, что они были погонщиками ослов (обязанность, как правило, исполняемая местными жителями), вызывало недоумение. Лихолетье, тяготы быта, плохая одежда, недоедание, резкая перемена в образе жизни, привычках, знакомствах, для иных и в поприще, недавно составлявшем дело их жизни, отозвались и на облике большинства людей, вкушавших горький хлеб чужбины, по-своему уравнивая их внешне, однако наружность Розенблата и Зингера уж очень необоримо противоречила выполняемым ими обязанностям.

Про Розенблата, повторяя за всезнающей Лидией Николаевной, библиографом из Ленинграда (чуть ли не в Эрмитаже она там работала), в общежитии говорили, что он похож на дирижера: высокий, стройный, с зачесанными назад длинными седыми волосами; и движения у него были отточенно изящные. Зингер выглядел попроще: пониже ростом, пошире в плечах, черные жесткие волосы коротко пострижены, но выражение печальной задумчивости, не сходившее с его лица, большие карие глаза, постоянно обращенные куда-то вперед и вверх, неизменно привлекали внимание пешеходов, попадавшихся навстречу, когда он, двигаясь неторопливой походкой, вел под уздцы запряженного в двухколесную повозку ишака по залитой солнцем ташкентской улице.

Розенблат и Зингер, люди пожилые, привечали меня, подростка, охотно со мной беседовали. В их любопытстве ко мне, неожиданном взгляде, быстрой улыбке я ловил притаенную ласку. Погонщики ослов объяснялись между собой на немецком языке, русский давался им с трудом. Я неплохо болтал по-немецки, они, пробуя себя, отвечали мне по-русски, — беседа наша ладилась. В разговоре обычно первенствовал Розенблат, его товарищ слушал нас, слегка покачивая головой, как бы в знак согласия с тем, что слышит, и всё вглядывался в какую-то одному ему видимую точку где-то под потолком.

Так со временем, сегодня одно, завтра другое, я узнал от погонщиков их историю.

Розенблат был некогда владельцем солидной берлинской фирмы “Торговля бельем”. Когда к власти пришли нацисты, он отправил семью за границу, сам же

не нашел сил тотчас, не устроив, бросить дело, дом, накопленное, и тянул до последнего. Последнее же оказалось такое: если не желаешь худшего, бери скорее ручную кладь и под надзором марш до границы, а там — куда глаза глядят. Глаза Розенблата углядели Вену, где он робко постучался в дверь к Зингеру. У Зингера тоже была фирма, и тоже “Торговля бельем”, — совсем недавно он числился конкурентом Розенблата. Зингер обнял стоявшего на пороге нищего, бездомного сотоварища и взял к себе работать. Розенблат уже знал то, чего пока не ведал Зингер: он убеждал вчерашнего конкурента и нынешнего патрона быстро ликвидировать дело и перебраться в более безопасное место. Но теперь Зингер не мог заставить себя отдать за бесценок нажитое: он, в свою очередь, отправил семью куда-то на запад, а сам стал тянуть до последнего. Розенблат, преисполненный дурных предчувствий, не покидал его из солидарности. Они дотянули до аншлюса и видели из окна, как по улице в открытой машине, под восторженный рев густо толпившихся на тротуарах горожан, время от времени поднимая в приветствии руку, проехал фюрер. Прихватив, вопреки запрету (еврейское имущество национализировалось), кое-какие ценности, Розенблат и Зингер метались в поисках лазейки в обступавшем их все теснее кольце. Когда им удалось пробраться в Румынию, потайные карманы брюк, поначалу отягощенные прихваченными ценностями, стали не нужны. Хотя антиеврейские акции в стране еще не проводились, предусмотрительные люди посоветовали беглецам укрыться где-нибудь в глухи. В поисках прибежища и куска хлеба они забрели в бессарабскую деревню и нанялись батрачить к богатому крестьянину. Спустя некоторое время их освободила Красная Армия, присоединившая Бессарабию, а заодно Розенблата и Зингера, к Советскому Союзу. Бывшие владельцы фирм превратились к тому времени в такие ничтожества, что даже не вызвали интереса весьма любознательных органов: их не арестовали, не отправили в лагерь — после проверки выслали, правда (и этим, по прихоти Истории, уберегли от печей Освенцима, который они, наверно, называли бы на немецкий лад Аушвицем), но и выслали как-то невинно — просто в Среднюю Азию, где они после некоторых поисков обрели кров и должность, в какой я их и застал.

В моих беседах с погонщиками поневоле возникала еврейская тема.

Для Розенблата и Зингера еврейство уже определило их судьбу, в моем отеческом сердце тоже успели поднакопиться горестные заметы — болячки не заживали: улица, школа, толпа на базаре, очередь в магазине нет-нет да и сдирили струпья. Именно тогда, в эвакуационном тылу, рождались ладные, легко вбираемые сознанием поговорки-представления: «Иван в окопе, Абрам в райкоопе», и наш дворник, чахоточный узбек Кучкар, вооруженный метлой, ругал «ибреем» ишака, когда тот, гуляя по двору, забредал на территорию, для его прогулок не предназначенному.

Я тосковал: еще недавно я часто слышал от близких, что у нас, в Советском Союзе, мы позабыли, что мы евреи, в школе мы учили наизусть про «без Российской, без Латвий» и про «единое общечеловеческое общеживание», и эти стихи мне нравились.

— Мальчик, — Розенблат смотрел на меня с сожалением; его веки были докрасна выжжены чужим азиатским солнцем. — Мальчик, — повторил он, — забыть есть взаимное дело. Мы тоже забыли когда-то, что мы евреи. По воскресеньям Розенблат надевал черный фрак, цилиндр на голову, садился в коляску и ехал в кирху. Немцы улыбались мне и говорили: “Гутен таг”. И я улыбался немцам, приподнимал цилиндр и говорил: “Гутен таг”. Но на другой день после прихода Гитлера оказалось: немцы не забывали, что я еврей. Они уже не говорили мне: “Гутен таг”. Нельзя забывать, мальчик, что ты еврей, раньше, чем это забудут другие.

Он замолчал, ладонью закинул назад свои тяжелые седые волосы.

Зингер слегка кивал головой, печально улыбался и всматривался во что-то над моей головой...

В коридоре общежития, в двух шагах от входной двери обитал на топчане Исаак Наумович, — по имени старика, впрочем, никто не величал, все называли просто “дядя”. Его вывезла в эвакуацию племянница Геня, одинокая женщина, архивист, — по приезде она получила работу в том самом архиве, на первом этаже которого теперь разместилось общежитие. Многие ей завидовали: не нужно тащиться на работу через весь город, пешком или в набитом до невообразимого трамвае, — влезть в вагон и выбраться из него обычно удавалось с трудом, в самом же вагоне, в такой тесноте, что пальцем не пошевелить, воры умудрялись разрезать сумки и очищать карманы. Геня постоянно мерзла, натягивала одну на другую две вязаных кофты, ее худое, покрытое крупными блекло-желтыми веснушками лицо было бледным и будто застывшим от холода. Геня очень заботилась о дяде и всегда на него сердилась: “Дядя, вы заболеете, кто будет за вами ухаживать?” Но через несколько месяцев в конце неверной ташкентской зимы простудилась сама Геня и быстро умерла в больнице, куда ее пристроил по знакомству заведующий архивом. Комендант общежития Тамара, толстая русская женщина, по-азиатски красившая волосы хной и дозелена сурьмившая брови, выставила дядин топчан в коридор, а на половине комнаты, где он жил с Геней, поселила семью из трех человек; на другой половине, отгороженной шкафом, набитым архивными карточками, жили мы с мамой.

Дядя покорно перебрался в коридор, рюкзак с вещами, а всех вещей у него и было только этот рюкзак, он, чтобы не украли посетители, проходившие мимо его топчана на второй этаж, в архив, оставил у нас. — Там, в рюкзаке, у меня еще одни брюки, — сказал он мне. — Когда я умру, возьми их себе, они тебе как раз впору.

Весной солнышко славно пригревало, дядя с утра выходил на крыльцо и сидел на ступеньке, покуривая, если был табак, — его серые усы вокруг губы были бурыми от табачного дыма. Возле крыльца женщины готовили на мангалах немудреную пищу. Я получал для дяди продукты по карточкам, кто-нибудь варил ему затираху из темной муки с водой, сдобренную для вкуса красным перцем, запекал ломтик сахарной свеклы, которой щедро отоваривали наши продовольственные талоны.

— Ты раньше-то кем был? — спросила его однажды Тамара: она поднималась на крыльце и вдруг задержалась, точно увидела дядю впервые. Ее толстая нога стояла на ступеньке, где устроился дядя, дымя тощей, свернутой из газеты цигаркой.

— Кем я только ни был, — отозвался он. — Сперва был мальчиком, потом молодым человеком, потом неведомо кем и, надо же, вдруг оказался стариком. А ко всему я еще был евреем.

Его черные глаза смеялись как-то по-особенному. Взгляд старика светился обаянием, перед которым трудно устоять женщине.

— Я говорю, занимался-то чем, дядя? — переспросила Тамара, показывая в улыбке сплошь золотые зубы.

— Многими интересными делами. Одно время, например, я очень любил играть в биллиард. Женщин я тоже любил.

— Ну народ! — расхохоталась Тамара. — Ну не поймешь вас, чертей!

И, грузно проминая доски ступеней, вошла в здание.

— В конечном счете вам повезло, — сказал дядя Зингеру, который сидел на карточках у мангала и помешивал алюминиевой ложкой в котелке. — Вы погоняете ослов. Со мной всю жизнь получалось наоборот.

Дядя умер в начале лета. Он ничем не болел — просто не проснулся однажды. Было уже позднее утро, когда солнце выбралось из-за густой кроны стоявшего

посреди двора громадного орехового дерева и хлынуло сквозь отворенную дверь здания, разгоняя полумрак в коридоре. Местный человек в сером френче и черной тюбетейке, спускавшийся с полученными справками в руках по скрипучей лестнице со второго этажа, вдруг испуганно закричал пронзительным тонким голосом.

— Молодец дядя, красиво убрался, — одобрительно сказала комендант Тамара, склонив пальцем слезинку. — Нам бы так.

И отправилась добывать гроб.

Дядя, укрытый с головой серым байковым одеялом, неподвижно лежал, слегка возвышаясь на своем топчане возле лестницы, — ходить мимо него было не страшно.

В дядином рюкзаке, кроме не слишком ношенных коричневых брюк, двух ветхих рубах и убогого нижнего белья, я обнаружил белый с широкой черной каймой кусок шерстяной материи, аккуратно упрятанный в темно-синий бархатный мешочек. Мама объяснила мне, что это талес — евреи надевают его, когда молятся. Розенблат развернул талес, вытянув руки, держал перед собою, внимательно разглядывал, будто, как и я, видел впервые. Зингер сказал: «Старик хотел, чтобы его похоронили по обряду».

Назавтра Тамара доставила гроб из некрашеных, слегка обструганных досок и вручила погонщикам квитанцию об оплате похорон — отдать на кладбище. Розенблат и Зингер переложили в деревянный ящик завернутое в талес тело. Гроб поставили на двухколесную повозку, Зингер взял ишака под уздцы, Розенблат шел рядом с Зингером, я позади повозки, присматривая, чтобы не развязался узел на веревке, которой был привязан гроб. На мне были дядины брюки; я засучил их до колен, чтобы не пачкались.

Мы двигались по каким-то дальним улицам, немощеным, тележка заваливалась то на один бок, то на другой, по обеим сторонам улицы тянулись глинобитные заборы и стены, в арыках под деревьями с добела запыленными снизу листвами ровно журчала вода.

— Я стал вчера спрашивать евреев: где здесь синагога, как найти раввина, можно ли похоронить по обряду, — никто не хотел отвечать. Один сказал: «Глупости», другой сказал: «Бога нет», третий вообще отвел меня в сторону и предупредил, что могут быть неприятности.

Зингер волновался, говорил по-немецки, быстро, — я напряженно вслушивался, чтобы понимать.

— Дома, в Берлине, я тоже избегал ритуальных еврейских похорон, — сказал Розенблат. — Даже на католической мессе я чувствовал себя как-то удобнее, увереннее. Мы не соблюдали никаких еврейских обрядов — я не хотел: все это было для меня чужое, осталось где-то в далеком детстве, вместе с бабушками и дедушками. Немецкие евреи говорили: дома можешь надевать ермолку, но на улицу выходи в цилиндре. Я и дома носил цилиндр. Перед Первой мировой войной тысячи евреев бросились бежать в Америку — откуда-то из Польши, из Галиции, с Волыни. Они толпами проезжали через Берлин — в долгополых сюртуках, каких-то диких меховых шапках, с пейсами до плеч. Перепуганные, но притом суетливые, шумные; походка, жесты, язык, который слышался мне исковерканным до безобразия немецким...

Я смотрел на них с ужасом: «Это я? Нет, это не я. Я что-то совсем другое...»

— Ханна, моя жена, зажигала по пятницам свечи и, наверно, похоронила бы меня как положено, — сказал Зингер. — Хотя она никогда не молилась и не знала ни одного слова по-еврейски. Она была из хорошей семьи, училась в пансионе и любила читать старых немецких поэтов: Гете, Шиллера, еще каких-то. Не помню их имена, мне было некогда читать что-нибудь, кроме газеты...

Вдоль кладбищенской стены, сложенной из серых неровных камней, стояли штабелями, один на другом, гробы, простые, непокрашенные, точь-в-точь такие, как наш. Из конторки у ворот выбежал нам навстречу тощий служащий в белой фуражке: выхватил из рук Зингера квитанцию, закричал:

— Кладите покойника в очередь. При первой возможности похороним.

Я развязал веревку. Розенблат и Зингер подняли гроб, перенесли к стене и поставили на крайний от ворот штабель.

Потом мы, все трое, уселись на повозку, свесив ноги почти до земли; осел повернул голову и недовольно посмотрел на нас, но Зингер хлестнул его прутиком, и мы отправились в обратный путь.

Недели через две отец, оказавшись в Москве, прислал нам вызов, и я навсегда расстался с моими друзьями, погонщиками ослов, бельевыми торговцами, доживавшими век на ворохе соломы без простины и подушки.

СКРИПАЧИ НА КРЫШЕ

Теплой апрельской ночью 1943 года я сидел со знакомой девочкой на крыше нашего семиэтажного дома. Налетов на Москву уже почти не было, лишь изредка расширяющиеся кверху лучи прожекторов начинали метаться по небу, перекрещиваясь на черном просторе серебристыми римскими десятками, тогда с крыши девятиэтажного дома напротив установленный там зенитный пулемет давал несколько очередей, красные и зеленые огоньки трассирующих пуль ровными цепочками уносились куда-то ввысь.

Мы устроились, свесив ноги, на краю покрашенного в красный цвет дощатого помоста. На помосте находились бочка с водой и ящик с песком; тут же имелись наготове большие железные щипцы — ими надлежало захватывать упавшую на крышу зажигалку и затем окунать ее в бочку. На дежурство нам выдавали каждому презентовые рукавицы.

Мальчики и девочки моего поколения вступили тогда в беспокойную пору юности, и этиочные часы над темным, с потушеными огнями и плотно занавешенными окнами, городом одаривали нас первой влюбленностью, нечаянными прикосновениями, от которых сладко сжималось сердце, нежданными разговорами, на которые нипочем не решился бы внизу, на земле, да еще при дневном свете.

Девочку, которая сидела рядом со мной, звали редким именем — Руфь. Я мало что знал о ней: она появилась в нашем дворе недавно, уже во время войны, и поселилась у мужа и жены Гринтухов, живших на третьем этаже; говорили, будто она приходится им дальней родственницей. Гринтухи были пожилые люди, мне тогдашнему они казались и вовсе старыми. Детей у них не было. Сам Гринтух, известный врач-терапевт, пользовал влиятельную клиентуру, его жена, несмотря на возраст, очень красивая и всегда изысканно одетая, имела какое-то отношение к театральному миру. Иногда к Гринтухам приходили известные артисты, и как мы бывали счастливы встретить кого-нибудь из них на дорожке, ведущей к подъезду. Чаще других появлялась миловидная, золотоволосая солистка эстрады Людмила Геоли, мы повторяли с ее голоса и с ее интонациями арии из оперетт — «Карамболину-Карамболету» или «Идет домой красотка, очень кротка, а вслед за ней бежит толпа» — и почти причислили ее к жильцам нашего дома; а однажды я сам видел, как через двор, в черном кожаном пальто, шел, опустив голову, показавшийся мне почему-то очень одиноким и печальным, великий Хмелеев.

Старики баловали Руфь. Ни одна из девочек нашего двора не была так красиво одета (мое поколение вообще не привыкло к хорошей одежде, в военные годы тем более). Даже на дежурство она явилась в клетчатом пальто с высокими

подложенными плечами. Баба Саша, уборщица, досконально осведомленная обо всем, что делается в любой из квартир на всех семи этажах (моя мама именовала ее «Пате-журнал» — так называлась старинная кинохроника), итожила степенно: «Подвезло девице — сыта, одета, обута, и, гляди, какое богачество, все ей достанется».

Во время дежурства — так у нас повелось — мы устраивали маленькую трапезу: каждый приносил с собой что-нибудь из еды, и на подстеленной на помосте газете сервировался общий ужин. Продукты выдавали по карточкам, всякий кусок хлеба в доме был на учете, раздобыть что-нибудь сверху куска хлеба было и вовсе непросто, но, готовясь на дежурство, что-то припасали заранее, а что-то и мама подбрасывала, войдя в положение. Я снял брезентовые рукавицы и выудил из внутреннего кармана телогрейки завернутый в бумагу бутерброд, теплый от долгого прикосновения к моей груди, — два куска серого хлеба, накрытых тонко отрезанными прямоугольными ломтиками американской колбасы. Такую колбасу в консервных банках — они открывались специальным ключиком, на который наматывалась тонкая полоска жести, — мы получали по талонам вместо мяса. Руфь тоже достала из висевшей у нее через плечо сумочки на тонком ремешке изрядный сверток: две французских булки (через несколько лет, борясь с космополитизмом, их станут именовать «городскими»), одна с сыром, другая с щедро разделенными напополам крутыми яйцами, и два апельсина. Я сразу понял, что все эти редкости куплены в так называемом «коммерческом» магазине, где без карточек, но очень дорого продавали хорошие продукты. Мы были юны и постоянно голодны: чтобы не уничтожать враз выложенное угощение, мы обычно резали всё на маленькие кусочки и, беседуя, мучительно удерживали руку, так и норовившую схватить один кусочек вслед за другим.

«Ты ешь, — сказала Руфь, когда я, старательно разместив припасы на газетном листе, обтер большой складной нож о рукав телогрейки. — Ты ешь, мне не хочется, я поужинала перед дежурством, вот только апельсин — ладно? — чтобы тебе скучно не было одному». Она взяла дольку апельсина и положила в рот. Я почувствовал себя уязвленным: в том, что произошло, обнаружилось оскорбившее меня неравенство; к тому же я уже заранее мечтал, как весело будем мы уплетать наш роскошный ужин, — съесть всё самому под взглядом этой малознакомой девочки было просто невозможно. Оживление мое исчезло, я пожал плечами, взял крошечный кубик подсохшего серого хлеба с американской колбасой, хотел было подольше его жевать, но не удержался и тотчас проглотил.

«Не обижайся, — сказала Руфь и положила мне на руку свою узкую теплую ладонь.
— Сейчас у евреев Пасха, в Песах я не ем хлеба».

«А что же ты ешь?» — ошелев от неожиданности услышанного, спросил я.

«Разве ты не знаешь, что евреи едят в Песах?» — ответила она вопросом.

«Это мацу, что ли?»

«Мацы здесь нет. Поэтому просто не ем хлеба».

«А ты что — в Бога веришь?»

«Не знаю».

Я видел ее узкое лицо, в лунном свете оноказалось совсем белым, блестящие глаза, две небольшие, жесткие, как палочки, косы, торчащие из-под беретки.

«Ты ведь комсомолка, наверно?»

«Но это же совсем другое, неужели ты не понимаешь. Да ты ешь! Так красиво все нарезал...»

Той весной душа моя впервые потянулась к Богу. Я не сознавал этого: для меня настала пора смятенной, ищущей души, — трудно было угадать подлинное в ее сумятице, отделить от тревожащей мельтеши. Но именно тогда я сочинил несколько наивных фраз, в которых просил Кого-то, не называя Его, о чем-то дорогом и важном — эти фразы я неотступно повторял, прежде чем заснуть,

каждый вечер, улегшись на свой диван и укрывшись с головой одеялом. Как-то раз у меня даже завязался с одним школьным приятелем разговор о вере. Приятель, отчаянный атеист, говорил так убежденно, что я, сам пугаясь того, что делаю, предложил ему написать на листке из тетради: "Бога нет" и поставить внизу свое имя. Мой собеседник, не задумываясь, выполнил мое пожелание, я не показал виду, что его смелость меня поразила – сам бы я вряд ли на такое решился.

«У вас дома не спрывают Песах?» – спросила Руфь.

«Ты что! Мои родители в Бога не верят. И потом, если узнает кто-нибудь...»

«Дядя тоже не спрывает. Говорит: безвозвратное прошлое. А у нас дома всегда спрывают, не боялись. Мой дедушка был очень верующий. По субботам ходил в синагогу пешком. Ведь евреям по субботам нельзя ездить ни в трамвае, ни в автобусе. Вообще нельзя. А синагога на другом конце города. Дедушка возвращался поздно, бабушка спрашивала: «Ты там все двери запер?»

«А ты из какого города?»

«Из В. Там сейчас немцы».

«А где же дедушка?»

«Не знаю. Меня перед самой войной отправили в санаторий, и нас успели эвакуировать. Говорят, немцы всех евреев в городе убили. Значит, и дедушку с бабушкой, и маму тоже. Я не верю. Ты ешь».

Я не удержался и взял кусок французской булки с сыром.

«Потом мне помогли узнать адрес дяди, они первую военную зиму были в Куйбышеве, он за мной приехал, и я стала у них жить. На самом деле он мне не дядя, он брат дедушки, но «дедушкой» я его не могу называть. И тетя такая красивая, губы красит, ресницы – совсем не похожа на «бабушку». Они меня любят. Теперь дядя папу моего ищет. Папа у меня военный инженер, его никогда дома не было. А как война началась, о нем ни слуху ни духу».

Руфь говорила ровным, негромким голосом, ее бледное лицо было спокойно, большие, ярко блестевшие глаза смотрели куда-то поверх моей головы, руки в презентовых рукавицах лежали на коленях.

«Ну ладно, не нужно об этом».

«Ты сама начала», – сказал я грубо.

Пока она говорила, я незаметно съел всю булку с сыром.

Луч прожектора, вдруг возникнув где-то внизу, за домами, быстро взбирался ввысь, пока не упирался в какую-то нужную ему точку, и неравномерно, покачиваясь и блуждая, начинал бродить по небу, налево, направо, вдали и обратно, ближе к источнику света, и это его движение явственно очерчивало сферическую чашу опрокинутого над городом неба. Луч то будто рассеивался в вышине, то скользил по серым с яркими подсвеченными краями облачкам, то выхватывал висевшее в воздухе продолговатое серебристое тело аэростата воздушного заграждения.

Эти аэростаты располагались по Бульварному кольцу, весь день, до наступления темноты, подтянутые тросами, они томились на земле, как выброшенные на берег морские чудовища. Возле них стояли деревянные баляганды и брезентовые палатки подразделений обслуживания, в палатках жили девушки-аэростатчицы, страшно соблазнительные в своих обтянутых гимнастерках и подчеркивавших крепкие икры сапогах. Проходя мимо, мы весело их окликали, заговаривали с ними, и, хотя, как я теперь понимаю, виделись им наивными мальчиками, они охотно отзывались на наши приветствия и подмигивания и не прочь были завести недолгую шутливую беседу.

«На Песах все такое особенное, необычное, – сказала Руфь. – Во-первых, весна. И у всех особенное хорошее настроение. И на столе все особенное, не такое, как всегда. И всем весело. Дедушка читает молитвы, а мы песни поем, стихи, считалки. Про кота какого-то злобного, как он козлика слопал».

«Ты умеешь по-еврейски?»

«Нет. У дедушки книжка есть – там по-русски тоже написано. А потом Рувик, мой младший братик, мы с ним Руфь и Рувим, задавал дедушке вопросы: почему мы в этот день едим горькое, почему мацу, а не хлеб? Это он по-еврейски. Его дедушка заставлял выучивать. Всегда самый маленький спрашивает – так полагается».

– А где он сейчас, этот Рувик?

– Там. С нашими. В В.

Вообще-то я немного «косил», делая вид, что вовсе незнаком с обрядами праздника. Раза два-три родители ходили на Песах к одному дальнему нашему родственнику-старичку и брали меня с собой. Старичок, крошечного роста, с большой белой бородой, в черной шелковой шапочке и старинном черном сюртуке сидел во главе стола на обитом зеленым повытершимся бархатом кресле с высокой спинкой и высокими подлокотниками, возле него на белой скатерти лежали несколько листков мацы, покрытые накрахмаленной салфеткой, на странном блюде, разделенном на несколько частей, были разложены необходимые яства; жена старичка, тоже маленькая, круглая, с короткими пухлыми руками, суетилась, подкладывая на тарелки гостям то мучные шарики, то кусочек фаршированной рыбы, и какой-то мальчик в белой рубашке и, что меня поразило, черном бархатном галстуке-бабочке, какой носят только артисты (больше я этого мальчика никогда нигде не видел), в самом деле задавал вопросы на непонятном языке, а старичок важно отвечал на них, и, по его команде, все за столом отпивали из стаканчиков красное вино, но все это я наблюдал урывками, без всякого интереса, как что-то «взрослое» и чужое, к чему принудили меня, взяв с собой в гости, папа и мама, которым, по моему разумению и ощущению, все это тоже было и неинтересно, и не нужно, они просто отдавали долг вежливости родственнику-старичку, с которым их связывало что-то: то ли он приютил папу в Перову мировую войну, когда он на пару недель приехал в Москву в отпуск с передовой, то ли еще что-то. Самое же привлекательное на этих праздниках Пасхи, и не только для меня, происходило в соседней комнате большой, захламленной коммунальной квартиры, где обитал старичок: там, в соседней комнате, жил его младший сын Лазарь, еще недавно довольно известный футболист в московской команде «Спартак», а теперь какой-то видный деятель этого общества, друг великих футболистов братьев Старостиных и других, чьи имена мы произносили с неизмеримо большим почтением и интересом, нежели слова застольного ритуала. Лазарь этот был красивый веселый человек, я был по-мальчишески влюблен в него, он, между прочим, умел водить автомобиль, что в ту пору умели немногие, однажды он пригласил меня и папу на матч «Спартак» – «Металлург», мы ехали на стадион в открытой машине, «газике», Лазарь в большой клетчатой кепке небрежно, привалившись к борту машины, крутил барабанку руля, а рядом с ним сидела высокая женщина с белыми волосами и накрашенными губами, невероятной, как мне казалось, красоты, – соперничать с ней могла разве лишь Любовь Орлова. Во время пасхального ужина мужчины, особенно те, что помоложе, потихоньку перебирались из-за праздничного стола в комнату к Лазарю, где на столе стоял графин желтой, настоящей на лимоне водки и лежали на больших тарелках обычновенные бутерброды, ржаной и белый хлеб, а не скучная маца, и шел оживленный разговор о футболе, потому что весна, как раз только начался первый круг первенства, и все про футбол было невероятно увлекательно, в командах произошли перемены, и только недавно приезжали знаменитые баски, и наши победили, а теперь ждали болгар. Там, в комнате у Лазаря, я видел знаменитого спартаковского полузащитника Станислава Леуту, приглашенного, конечно же, не благочестивым старичком, и вообще, скорей всего, не ведавшего, по какому

слушаю какие-то люди торжественно сидят за столом в соседней комнате. Леута, посмеиваясь и поблескивая стальными коронками, рассказывал что-то про последнюю игру, мужчины, сидевшие вокруг со стопками в руках, восторженно ему внимали. Потом Леута арестовали, кажется, вместе с братьями Старостиними. Я, конечно, тоже удирал на большую часть вечера к Лазарю, тихий, задумчивый мальчик в белой рубашке и галстуке-бабочке за столом у старичка, посаженный хозяином по левую руку, казался мне чем-то неправдоподобно давним, как какая-нибудь фотография из бабушкиного альбома на сером картонном паспарту с позолоченной тисненой печаткой «Фотографы П. и Л. Пеньковы, преемники Коркина. Город Томск»...

«А под конец говорят: «В будущем году в Иерусалиме». Это чтобы всем евреям встречать там следующую Пасху. Ты бы хотел вдруг попасть в Иерусалим?»

«В Иерусалим?..»

Мне в ту пору как-то и в голову не приходило, что он где-то все еще в самом деле существует, этот Иерусалим. Имя города безвозвратно увязло в глубинах страниц учебника древней истории для пятого класса: царь Давид, царь Соломон, Израильское и Иудейское царство. Ах да, еще и средние века – что-то про крестовые походы, Готфрид Бульонский...

– Знаешь, у нас в классе была до войны одна девочка, Надя Анисимова, так она вместо Готфрида Бульонского сказала Бульон Барбаросса. Она в изложении вместо «Лев Толстой» написала «толстый лев». Представляешь? Учительница прочитала: «Однажды Лев Толстой шел по полю...» – это про репейник. А она пишет: «Однажды толстый лев шел по полю...» Такая дура!..

– А мне хочется в Иерусалим, – сказала Руфь и положила в рот дольку апельсина. – Ну, может быть, не по-настоящему, понимаешь, – как будто во сне. У дедушки была открытка – такая круглая гора и на ней дома, много-много, освещенные солнцем. И весь этот Иерусалим такой круглый и светится. Как огромный апельсин. Понимаешь?

Руфь засмеялась.

– Нет, я бы лучше поехал в Нью-Йорк, – сказал я. – У меня есть фотография – Эмпайр Стэйт Билдинг, самое высокое здание в мире, триста восемьдесят один метр. Представляешь: лифт на сто второй этаж. И потом, американцы теперь наши союзники. Но вообще-то я из Москвы никуда не хочу. Мы год в эвакуации были – я еле выдержал...

– И все-таки давай, – сказала Руфь и протянула мне апельсиновую дольку. – Ну не в следующем году, когда-нибудь в этот день – в Иерусалиме.

– Давай, – сказал я. – Я буду Герцог Бульонский, а ты Любовь к Трем Апельсинам.

– Когда-нибудь в Иерусалиме!

Мы одновременно, точно осушая бокалы, проглотили по ароматному кисленькому ломтику. Кажется, это был первый кусочек апельсина, который я попробовал с тех пор, как началась война.

– Вы там не целуетесь? Не помешаем?

Мой сосед и одноклассник Петя Миглав с трудом протиснул в треугольное слуховое оконце свои могучие плечи, обтянутые черным матросским бушлатом. Петя занимался тяжелой атлетикой. Следом на крыше появилась Алка Петухова, которую он выдернул из оконца легким движением руки. У Алки были красивые ноги – она носила короткую юбку и даже дежурить на крышу являлась в туфлях на высоких каблуках. Петя с Алкой крутили любовь, все это знали.

– Час ночи, смена, – объявил Петя. – Сдавайте рукавицы.

Я завернул в газету нарезанную булку с яйцом и положил в сумочку Руфи. Она быстро взглянула на меня, но не возражала. Мы по очереди пролезли в слуховое оконце. Я держал в руке теплую тонкую руку Руфи и, слегка подсвечивая себе

фонариком с синим стеклом на лампе, вел ее среди балок и стропил к чердачной двери. Мы неслышно ступали по мягкой пыли, толстым слоем покрывавшей пол чердака...

Скоро Руфь исчезла из нашего дома, так же незаметно, как незадолго перед тем появилась в нем. Баба Саша, «Пате-журнал», говорила, будто старик Гринтух разыскал отца девочки, но это мало кого интересовало. Было военное время, люди появлялись, исчезали, а Руфь слишком недолго прожила в доме, держалась несколько особняком и плохо смешивалась с остальными мальчиками и девочками в своем клетчатом пальто с подложенными плечами и сумочкой на длинном ремешке через плечо, – ее быстро забыли. Я, впрочем, иногда вдруг остро и коротко вспоминал, как вспоминают нечто дорогое, неясное и неслучившееся, эти несколькоочных часов на крыше, над затемненным городом, белое узкое лицо девочки, ее жесткие, как палочки, косы, торчащие из-под берета, теплую тонкую руку.

И лишь сорок пять лет спустя, в канун праздника Пасхи, когда слева за окном тель-авивского автобуса на круглом склоне горы зазолотились освещенные заходящим солнцем дома, я, впервые въезжая в Иерусалим, подумал о зароненной в ту военную ночь в мою душу мечте об этом городе, похожем на солнце и на огромный апельсин, мечте, то надолго засыпавшей во мне, то вдруг начинавшей остро и невнятно меня тревожить, которой одарила меня девочка с именем библейской моавитянки, прабабушки царя Давида, о чем в ту военную теплую ночь 1943-го года я, конечно, не имел ни малейшего понятия.

ДУНАЙСКИЕ ВОЛНЫ

Капитан третьего ранга Алексей Захаров встретил май 1945 года в должности исполняющего обязанности начальника Особого отдела Дунайской флотилии.

До конца войны оставались считанные дни, а здесь, в районе Вены, она уже фактически завершилась. Но по-прежнему начальство грозно предупреждало, что Вена – все-таки немецкий город, что австрийцы – те же немцы, а их любовь к музыке Штрауса и Моцарта не в счет, и черт их знает, что они могут выкинуть... Многие фашисты тоже были заядлыми меломанами. Но, вопреки всем приказам и разносам, умиротворенное настроение все чаще овладевало военными людьми: и солдатами, и матросами, и офицерами, и, кажется, даже кое-кем повыше. Наверное, сказывалось все: и многолетняя усталость, и бесконечное нервное напряжение почти четырех лет, и невольная, сумасшедшая радость, что, кажется, пронесло... И в таком, неподконтрольном уставам и дисциплине, благодушном настроении Алексей вышел на палубу корабля, где размещался его отдел.

Стояла майская теплынь, но жара еще не чувствовалась. До полудня было далеко, и солнце еще не добралось до зенита, и к тому же ветерок приносил освежающую речную прохладу. А иногда он менял направление и дул с берега – тогда явственно ощущался ароматный запах кофе, который Вена умудрилась сохранить даже во время войны.

Время войны... До чего же оно было зловещим, это время! Хотя война, в общем-то, пощадила Алексея Захарова, оставив на память только несколько зарубок на теле, не вечно же он, боевой офицер, в Особом отделе служил. Наоборот, особистом, да и то временно, Алексей стал после ранения, полученного под завязку боев за Вену. Да, телу, можно сказать, повезло. А вот душе... Здесь все было сложнее. Потому что в душе жило такое, о чем нельзя было думать и невозможно забыть. Силой воли оно загонялось в дремучие глубины подсознания, где, притаившись, ждало своего часа. Этот час обычно приходил во сне, и Алексею снова и снова виделись огонь и кровь, слышались грохот разрывов и крики умирающих, и он страдал, вспоминая гибель боевых товарищей и кораблей... Но одно видение мучило его чаще других, и с этим ничего нельзя было поделать ...

... Дело было осенью 1941 года. Катер, на котором служил Алексей, получил задание: под защитой Красного Креста отбуксировать три баржи с больными, по большей части полностью или частично парализованными детьми, из Евпатории в Севастополь. Командир корабля, пожилой капитан-лейтенант, скептически пожал плечами: катер – маленький и слабосильный, и было неясно, как он справится с поставленной задачей. Но специального буксира под рукой не оказалось, а море штилевое, немцев не видно, выполняйте приказ, каплей, ничего, прорветесь, не в первый раз...

И действительно, когда на горизонте уже замаячили контуры Севастополя, подумали, что все обошлось, до порта полчаса ходу, не больше. И вдруг в небе появились три немецких самолета. Будто привлеченные белыми флагами с красными крестами, они сбросили бомбы и сразу же подожгли баржу, последнюю в караване. Взглянув на черное облако дыма, окутавшую ее, капитан-лейтенант, смертельно побледнев, приказал рубить буксировочный трос. Это бесчеловечное

решение было единственно возможным. Потому что ложиться в дрейф и пытаться спасти погибающих в огне детей значило погубить катер и две другие, пока еще уцелевшие баржи. Да и была третья, пылающая, все равно обречена на гибель. А немецкие самолеты продолжали бомбежку, делая заход за заходом. И столбы воды взметались совсем рядом то с катером, то с невредимыми пока еще баржами. Рано или поздно кончилось бы это трагически, но внезапно из облаков вынырнул неизвестно как оказавшийся здесь краснозвездный истребитель, который вступил в безнадежный бой с тремя фашистскими машинами. Ему удалось подбить одну из них, но две другие занялись им вплотную. Через несколько минут советский самолет взорвался, летчик погиб, но время было выиграно, и, казалось бы, обреченный караван сумел приблизиться к севастопольскому берегу. А немцы, оказавшись в зоне огня береговых зенитных батарей, поспешили убраться прочь. Две уцелевшие баржи с детьми и катер были спасены.

А потом командир катера выдал команде весь запас спирта. И экипаж напился мертвецки, потому что иначе можно было сойти с ума. Назавтра капитан-лейтенанта вызвали к адмиралу. За коллективную пьянку в боевых условиях ее инициатору-командиру грозили трибуналом, разжалованием, штрафными ротами и другими суровыми караами. Но он не оправдывался, а молча смотрел такими остановившимися, мертвыми глазами, что командующий понял: для этого человека с пораженной смертельно и пожизненно совестью сейчас самым большим благодеянием был бы расстрел. А если здесь же, в кабинете, без суда и следствия, – так еще лучше. Потому что для него было бы страшнее самой лютой пытки вспоминать и рассказывать трибунальцам о пережитом им кошмаре. Кончилось тем, что капитан-лейтенанта перевели на Северный флот, без понижения в звании и даже без выговора.

Но сейчас Захаров думал не об этом. Через несколько дней, ну пусть недель, закончится война, и его, кадрового морского офицера, раненого, награжденного, с безупречной репутацией, ожидало прекрасное будущее. Уже было твердо обещано производство в чин «кап-два» и направление в Военно-морскую академию. А потом... А потом и до адмиральских «беспростанных» погон недалеко! Ну размечтался! И чего ему спешить? Двадцать восемь лет для таких перспектив – не возраст, время есть. Если честно, не будь войны, он бы до сих пор в старших лейтенантах трепыхался. Хотя, конечно, лучше бы ее, проклятой не было, сколько народу погибло, да и сам он чудом уцелел, как – непонятно. И сейчас хорошо, что после всего пережитого можно спокойно постоять у борта, наслаждаясь тишиной. Благо, выдалась спокойная минута, ими и особисты не богаты...

Например, всего час назад Алексей получил из штаба фронта пакет с секретным предписанием насчет режима мероприятий в случае неожиданной активности притаившихся местных фашистских организаций. Захаров был уверен, что это – никому не нужная перестраховка: австрийцы ненавидели нацистов, они не простили немцам аншлюса, а во время войны натерпелись от них немало горя и теперь всеми силами стремились вытравить все, что связано с Германией. Однако спорить не приходилось, начальству видней. И Захаров расписался в получении пакета, зарегистрировал его в специальном журнале и положил в сейф, который тщательно опечатал. И пошел на палубу, держа в руках тяжелый ключ с хитрой бородкой. Здесь Алексей зачем-то надел колечко ключа на указательный палец и начал вращать его, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Это занятие бесконечно веселило будущего адмирала Захарова.

И вдруг... Этот миг он вспоминал всю жизнь, как тот самый рейд из Евпатории в Севастополь или бой на Балтике, когда немцы потопили его миноносец, и Алексей и еще несколько человек барахтались в ледяной воде, а мессершмитты рубили из пулеметов по головам тонущих людей, и было похоже, что все, конец. А вокруг на волнах покачивались бескозырки, бескозырки... И, намокнув, тонули, тонули...

И вдруг – ключ сорвался с пальца, перелетел за борт и бесследно исчез в мутной дунайской волне.

Алексей помертвел. Вместе с ключом кануло на дно его будущее. Но почему? Подумаешь, ключ от сейфа утонул... У коменданта штаба флотилии имелись дубликаты всех ключей. Но случившееся станет известным командованию: комендант этот Алексея терпеть не мог, неизвестно за что. И рапорт подаст обязательно. И пойдет писать губерния! В Захарова вцепятся следователи из фронтовой прокуратуры и проныры из Смерша, и поди докажи, что ключ утонул, а не потерян или, тем более, не передан в чужие руки, и что секретный план никому не нужных мероприятий не читался врагом. Ведь война еще не закончена, действуют беспощадные законы военного времени, и пустяковый проступок Алексея может расцениваться как угодно, вплоть до... Как обидно, до чего нелепо, особенно сейчас, когда все беды, казалось, остались позади. И теперь все надежды на мертвое перечеркнуты дурацкой мальчишеской выходкой капитана третьего ранга! Поиграться ему, видите ли, захотелось, расслабиться... Вот и расслабился... Ну хоть бы кто-нибудь стоял рядом и мог подтвердить: да, вертел он ключ на пальце, как последний придурок, а ключ соскользнул – и в Дунай, и с концами. Может, и обошлось бы, выругали бы, конечно, или наказали и простили. Так ведь ни одного свидетеля, как на грех, не было, и значит, некому подтвердить смехотворные показания капитана третьего ранга Захарова, и, стало быть, прощения ему не будет. И не будет нового звания и направления в Академию, и не будет адмиральских звезд в недалеком будущем. А будет арест, сорванные погоны и орденские ленточки, а потом нудное расследование, трибунал и приговор, еще неизвестно какой.

Алексей, конечно, подаст рапорт по команде, все равно скрыть не удастся, и не в его натуре хитрить и изворачиваться, а поэтому будь что будет. Но только не сегодня, на это нет ни сил, ни решительности, пусть хоть завтра.

Захаров спустился на берег и, почти не разбирая дороги, поплелся к маленькому уютному домику, где остановился на постой. Его хозяином был старый венец, отставной альтист местного симфонического оркестра. Он был в плену во время Первой мировой войны и немного помнил русский язык. Захаров тоже знал сотню-другую немецких слов, так что австрийский музыкант и советский офицер научились неплохо понимать друг друга, и порой они засиживались за разговорами или игрой в шахматы до поздней ночи. А иногда старик играл Алексею то печальную, то гневную, то радостную или веселую музыку, смотря по настроению. Нередко у них возникали споры, уж очень разными людьми они были, представители победившей и побежденной страны, и все же хозяин и его постоялец чувствовали доверие друг к другу. И альтист Петер Краузе совсем не боялся «русского майора» и не прятал от него ни бесценный инструмент работы старинных кремонских мастеров, ни фамильное серебро, чудом уцелевшее во время войны, ни своих красивых внучек... А Захаров помогал семье своего хозяина чем мог, в основном, продуктами.

... Подходя к дому он услышал какую-то величественную мелодию, но в эти минуты ему было не до музыки. Нервы выходили из-под контроля, и Алексей готов был заплакать от сознания нелепости и непоправимости происшедшего. Ладно, сейчас он выпьет стакан водки, а может, для верности два, бухнется в постель и забудется до утра, пропади оно все пропадом!

Петер Краузе, взглянув на своего постояльца, всполошился:

– Что случилось, герр майор? Вы заболели? На вас отсутствует лицо...

Неизвестно почему, Алексей рассказал старику о случившемся. Это, конечно, тоже было нарушением, но одним больше, одним меньше, какая разница... Сейчас уже никакой. Помолчав, музыкант спросил:

– И что теперь будет? Вас ожидают неприятности?

— Что будет? Ничего хорошего. Трибунал будет. Расстрелять, думаю, не расстреляют, а лет десять-пятнадцать, наверное, получу.

— Это значит — в Сибирь?

— Да, скорее всего...

— Что ж, я провел в Сибири почти два года. Там тоже люди живут.

Наступило молчание. Краузе курил кривую трубку с обгрызенным за долгие годы мундштуком и тяжело вздохнул. Казалось, он никак не мог решить какую-то тяжелейшую задачу. На его лысом черепе вздувались и опадали толстые вены, будто в них вместе с кровью пульсировали какие-то мучительные мысли. Несколько раз он порывался что-то сказать Алексею, но обрывал себя и вновь вздохнул, и курил, и думал... Иногда он вскидывал руки, словно пытаясь привлечь к себе внимание, и тут же бессильно ронял их на дубовую столешницу. Наконец, он вздохнул особенно глубоко и, окончательно приняв какое-то решение, спросил:

— Герр майор, вы никому не говорили о вашей беде?

— Нет. Никому. Завтра скажу. У нас говорят: утро вечера мудренее.

— Герр майор, — продолжал Краузе, — я знаю, вы, русские, не верите в Бога, хотя Он почему-то всегда помогает вам. Но если даже у Бога есть свои пристрастия, то что говорить о старом Краузе... Так вот, поклянитесь мне спасением души и ранами Христовыми, что никогда и никому не проговоритесь, и я попробую помочь вам.

— Чем вы можете мне помочь? Учтите, дезертировать я не собираюсь. И стреляться тоже.

— Нет, нет. Я знаю: вы — честный офицер.

— Ну ладно. Клянусь.

— Я вам верю. Посидите в доме и ожидайте меня. Я скоро вернусь.

Захаров сидел и ждал неизвестно чего, находясь в состоянии полного отупения, сквозь которое иногда прорывались отрывочные мысли: эх, не стоило тянуть до завтра, лучше было бы сразу пойти и доложить... Хотя бы уже знал, что его ждет. Но он и так знал, и, выходит, нечего спешить. От судьбы не уйдешь, от ареста тоже, так лучше еще один день провести на воле. А пока нужно дождаться хозяина, раз уж обещал...

Наконец Петер Краузе вернулся в сопровождении какого-то невзрачного старика, похоже, своего сверстника, а может, и постарше.

— Макс, — торжественно обратился к нему музыкант, — это русский офицер, о котором я тебе говорил. Он достойный человек, а если не верит в Бога, то скоро, думаю, начнет. Ему нужно помочь.

Макс посмотрел на Алексея пронзительным взглядом маленьких мышиных глаз и тихо произнес:

— Рекомендация маэстро Краузе стоит дорого. Пойдемте, герр майор. Время не ждет.

Вскоре Алексей и этот странный Макс были на корабле. Вахтенный офицер удивился:

— Кто это с вами, товарищ капитан третьего ранга?

— Это? Часовых дел мастер. Пол-Вены обежал, пока нашел. У меня в служебной каюте часы испортились. А они старинные, жалко...

Вахтенный пожал плечами. Посещение постороннего не укладывалось в распорядок боевого корабля, но спорить с офицером из Особого отдела и тем более заглядывать в его служебную каюту не приходилось: это их забота — следить за режимом, а лезть в чужие дела — себе дороже.

Очнувшись в каюте, где стоял злополучный сейф, Макс попросил:

— Закройте дверь на ключ.

После этого он начал осматривать сейф, как ветеринар больную лошадь. И что-то бормотал себе под нос, недовольно фыркая и пожимая плечами. Затем Макс вынул из коробочки шесть обыкновенных спичек и тихо сказал:

— Пожалуйста, герр майор, отвернитесь. Моя работа не терпит посторонних глаз.

Алексей послушно отвернулся, думая, что попал, кажется, из огня да в полымя. Ему было понятно, что он опрометчиво связался с матерым преступником и превратился из легкомысленного разгильдяя в соучастника настоящего преступления: взлома сейфа, где находятся секретные материалы! И что у него нет иного выхода, поскольку это преступление — последний шанс спасти свою честь и жизнь. И этот невзрачный медвежатник Макс — его единственный спаситель. Сам черт не смог бы выдумать такое! И что если их кто-нибудь застукает сейчас, то расстрела обоим не избежать — как совершающим групповое преступление... И что...

Додумать он не успел, потому что раздался странный щелчок, и Макс сказал:

— Можете повернуться, герр майор. Суп сварен. Не понимаю, как вы с такими сейфами выиграли войну...

Захаров обернулся и не поверил своим глазам и своему счастью. Сейф был широко раскрыт, и на его верхней полке одиноко лежал засургученный секретный пакет. А Макс аккуратно укладывал в коробочку дефицитные спички. Он казался разочарованным: из-за такой чепухи столько шума... Он-то ожидал увидеть в сейфе что-нибудь ценное. А впрочем, кто поймет этих русских...

Алексей мгновенно переложил все содержимое в запасной сейф, тщательно закрыл его и опечатал, а ключ спрятал во внутренний карман кителя и, не доверяя пуговице, застегнул его еще и английской булавкой. Макс наблюдал за действиями молодого офицера и одобрительно кивал головой, как бы говоря про себя: «Правильно, правильно, герр майор. Если эти бумажки представляют для вас такую ценность, то берегите их как следует. А на мою помощь больше не рассчитывайте». А вслух сказал:

— Наверное, маэстро Краузе прав: Бог всегда на вашей стороне, хотел бы я знать, почему... Может быть, Ему безбожники больше нравятся: они, по крайней мере, не лицемерят...

Вскоре они спустились на берег. Макс тащил мешок с консервами и шнапсом, скособочившись от тяжести.

— Давайте я помогу вам, — предложил Алексей. На радостях он был готов тащить не только мешок, но и нести на руках своего тщедушного благодетеля-рецидиста.

— Ах, что вы... Мне не хватало только огласки, что русский офицер работал носильщиком у старого Макса. Прощайте, герр майор, и забудьте обо мне навсегда.

Алексей Захаров вернулся на корабль. По-прежнему светило яркое, но уже по-летнему жаркое солнце. И по-прежнему ветерок приносил то речную прохладу и свежесть, то сложные городские запахи. Величественно устремляя свои воды прозванный голубым Дунай. Та самая огромная река, которая еще недавно казалась роковой, похоронившей на своем илистом дне все надежды Алексея. А сейчас Дунай олицетворял покой и уверенность, что теперь уж точно все будет хорошо.

Безоблачное небо, которое, казалось, не знало, что такое воздушные бои и разрывы зенитных снарядов, безмятежно отражалось в воде. Солнечные зайчики скользили по волнам, то сходились, то расходились, образуя сложный и подвижный калейдоскопический узор.

И вдруг Алексей подумал, что, может быть, действительно есть Бог, а если не Бог, так судьба или еще что-то неведомое, подвергшее его жестокому испытанию, а потом пришедшее на помощь. «Страшен сон, да милостив Бог!» — любила говорить его бабушка. А впрочем, после такой передряги можно было во что угодно поверить. И значит, нужно забыть о случившемся сегодня, как о многих военных кошмарах, а то и до мира не доживешь. Забыть, забыть, забыть, навсегда вычеркнуть из памяти.

Если, конечно, получится...

МНЕ ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ...

ШЕРЕМЕТЬЕВО

Так широка страна моя родная,
что залегла тревога в сердце мглистом,
транзитна, многолика и легка.

Тверская вспыхивает и погасает,
такая разная: военная, морская;
и истекает в мерзлые поля.
Там, где скелет немецкого мотоциклиста
лежит, как экспонат ВДНХ.

За ним молчит ничейная земля,
в аэродромной гари светят бары,
печальных сел огни, КамАЗов фары,
плывущие по грани февраля
туда, где нас уж нет.

И слава Богу. Пройдя рентген,
я выпью на дорогу
с британским бизнесменом молодым.
В последний раз взгляну на вечный дым
нагого пограничного пейзажа,
где к черно-белой утренней гуашь
рассвет уже подмешивает синь.

* * *

Аллея длинная вдоль холма,
слева ферма, скала –
осколок окаменевшего века.
Река не видна, но едва слышна.
Почти до лета следы усталого снега.

Эту дорогу я когда-то узнал:
каждый куст и ствол.
Вижу тебя за глухим поворотом,
там, где к дороге подходит бунинский суходол.
Где только кажется,
что ждет тебя кто-то.

В легком небе холм, но города на нем нет.
Все как в России: дол, чащи, веси и кущи.

Мой нос в табаке, душа тончает в вине.
И в просторном моем картонном шатре
десять женщин пекут
предназначенный хлеб насущный.

* * *

Химчистка, девки, кот уставший
Бредет на цепи в городской окрестности.
Здесь, в государстве орла и решки,
Я занимаюсь подпольной деятельностью.

Виртуальная жизнь, ветра от гавани
На излете зимы к сетям астении.
Уплывает облако в дальнее плавание
И оседает на дальнем сервере.

Имперский путь за кордоном тянется,
Пылит дорога навстречу Аппиевой.
Вряд ли судьба до поры изменится,
Но пора уже выдавливать каплю

За каплей, что на лето задано.
Ветер гудит в проводах разлуки.
Скрипит турникет райского сада,
Чужая жена заломит руки.

А я привык. Вот, билет уже выписан.
Рожа на визе хоть в барак транзитом.
В метели мерцают бледные лица
На отмороженном том граните.

Метет поземка в полях безвременья,
Виза ветшает в столе одноразовая.
На будущий год – говорят евреи.
И последнее слово еще не сказано.

* * *

Цепь сигнальных огней над долиной Эйн-Керем –
Дальнобойным полетам к незримым деревьям
В бесконечную жизнь многослойных олив,
В заминированный халцедонный залив.

Крепок мрамор холодный, расколотый воздух,
Где застыл истребитель, летящий на отдых.
Мы внизу, у ручья, в ожидании чуда,
Что пророки проснутся безоблачным утром,
Что вернется в скалу подземельная кровь
И погаснут огни поминальных костров.

Мимо древнего рва и арабских окопов
Старцы двинутся вниз по колючему склону

МНЕ ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ...

В нашу зыбкую жизнь, в евразийскую даль,
В ледяную молочную пыль и печаль.

Но останется облако пыли над станом,
Над глядящим налево живым караваном.
И когда я, устало коснувшись виска,
Двинусь, сзади возникнет Москва.

Я взгляну – и земля поплынет на прощанье
В дымном облаке дня, и погаснет свеченье.
Я останусь один и закрою глаза,
И сквозь веки я увижу фигуру отца.

Это знак возвращенья к забытым пенатам,
К временным прямоугольным пеналам.
Там, где запах за завтраком кофе по-польски,
Где друг друга прощаем, но все еще просим,

Чтоб навстречу летело гортанное слово,
Чтобы эхом долины откликнулось снова
И разбилось беззвучно о скалы в Эйн-Керем,
Растекаясь листвой по масличным деревьям.

* * *

Так и болтаешься между ТВ и компьютером:
Хоть шаром покати, хоть Шароном.
С полуночи знаешь, что случится утром.
Вчерашний вечер прошел бескровно.

Только солнце село в пустыню сухой крови.
Мертвое море спокойно, как в провинции «Лебединое озеро».
Тени, как патрули, тают по двое.
И вся земля – это точка зоро.

Расстегни ворот, загори, помолодей, умойся.
Прохладны холмы Иерусалима утром.
Там сквозные, резкие, быстрые грозы
Обмоют красные черепичные крыши и
Без тебя обойдутся.
Кому там нужны твоя карма и сутра?

К вечеру маятник ужаса застынет в стекле безразличия.
Заботы затоном затягивают под надкостницу.
Жизнь-то одна, и она – неизбежная.
Вот она жизнь твоя – места имение личное.
Только крики чужих детей висят гроздью на переносице.

* * *

На самом деле они хотят,
чтобы я ходил по домам
от двери к двери,

разносил домашнее печенье на продажу
и всё равно оставался неопознанным.

Моя ошибка заключается в том,
что я всерьёз верю,
что они станут наблюдать за мной
из-за штор, как я ухожу вдоль квартала,
исчезая среди вязов в конце улицы.

* * *

Облако, озеро, только нету башни.
Дышу в пронизанном солнечном срубе.
Сосед Тургенев пройдет на охоту с ягдташем.
Зайдет, присядет за стол, Earl Gray пригубит.

Головой покачает: постмодернисты!
А потом вздохнет: Бедная Лиза.
Перед нами обоими лист стелется чистый,
Посидит, уйдет, вспомнив свою Полину.

Он уйдет, и стих его тает белый,
Как следы января в холодящей чаще.
Незримый джип затихает слева.
Слава Богу, Сергеич заходит все чаще.

Слава Богу, вокруг гудит заповедник,
И здесь, в глубине, нету отстрела.
Пусть это будет полустанок последний,
Где душу ждет небесное тело.

Летит оно, скорей всего, мимо.
Висишь среди крон в деревянном кресле,
Вокруг леса шелестят верлибром,
Да ветер гудит индейскую песню.

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ РАДАШКЕВИЧУ ИЗ РУССКОГО МАГАЗИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ

«А вам накатать или писиком?»
Слова летят быстрее мысли
К тебе, прекрасный Александр.

Здесь никогда вас не обвесят.
Глазами пробегаю весело:
Перцовка попадает в кадр.

А там уже киндзмауали
И саперави, и чхавери.
Вот экзистенция, вот – Сартр.

Икорка, как зернистый уголь,
Игривый, маслянистый угорь.
Из морозилки крепкий пар.

А там пельмени и вареники,
В корзинах и лукум, и финики,
А в рыбном карп, как Ихтиандр.

На эмигрантской фене ботают
Две одесситки (обе толстые),
Их губ негаснущий пожар.

О Александр, в газетах здешних
Так много объявлений грешных:
Виагра, девки и массаж.

Но в Бруклин редко водит леший.
Уйду к колбасам я, безгрешный,
Которых больше нету в США.

А водок сколько разноцветных,
То ярко-красных, нежно-бледных,
С акцизной маркой нежный воск.

И связки рыбин безответных,
У кассы дамы полусвета
И «блади мэри» кровный сок.
(кассирши долгий коготок)

На самом деле, Саша, грустно,
Что без тебя мне здесь так вкусно.
Все есть, но где же Солнцедар?!

И захватив грибков, капусты,
Грушу я о тебе и Пruste,
О Радашкевич Александр.

ДОМАШНЕЕ ЯЗЫЧЕСТВО

Моя дочь празднует Пейсах в “Хилел“,
сын встречает пасху с подружкой.
Они шатаются по кварталу,
меняются пасхальными яйцами
и, набегавшись, сооружают огромный
яичный салат.

Я – вишу на телефоне, матерюсь,
грешу и стараюсь заработать
на мацу и яйца, на страховку
всей моей жизни, обогнать время
и, как всегда, произвести впечатление
на ту, из далекого прошлого,
хотя она того и не стоит.

Господь, превратившись в нашего кота,
дремлет в углу,
не обращая на нас никакого внимания,

думая свою думу,
ожидая следующего жертвоприношения.

* * *

Вечером пытался привести в порядок
мысли, книги на столе, две подушки,
тени, к окну прильнувшие со стороны сада,
три шариковые ручки и бессмертную душу.

В полночь была еще слабая надежда.
На рассвете готовился к встрече с Хароном.
На крюке безжизненно висела одежда.
Для полноты сюжета не хватало вороны.

Странные мысли лезут в голову после насущного хлеба:
о вещем смысле и о себе, неповторимо бедном.
Птица летит в черном непеленгуюмом небе –
ни для кого не доступна.
Поэтому никому не обидно.

НОЧЬ

Часа в четыре,
когда уснули мысли о налогах,
о подвигах, о доблестях, о сексе,
возникнут в предрассветных городах
и в отдаленных веснях
и поплынут невидимые волны.
Они пройдут по сумрачным хайвэям и разобьются,
как школьникамибитые бутылки,
только бесшумно.

Бомжи зашевелятся
и захрипят на рваных одеялах.
Патруль очнется в дремлющей машине,
коснется рации и кобуры.

В «колониальном» доме, третьем с краю,
постройки девятнадцатого года,
она во сне вздохнет и улыбнется,
протянет руку: три часа,

а через три часа, когда
Pink Floyd взорвет эфир
на середине длинного аккорда –
она проснется и подарит день
еще двум-трем привычным подопечным,
озябшим за ночь.

* * *

Мне хотелось узнать, почем треска,
и хотелось узнать, почему тоска.
А в ушах гудит: «Говорит Москва,
и в судьбе твоей не видать ни зги».
Так в тумане невидим нам мыс Трески.

Мне хотелось узнать, почем коньяк,
а внутренний голос говорит: «Дурак,
пей коньяк, водяру ли, «Абсолют»,
вечерами, по барам ли, поутру —
все равно превратишься потом в золу».
Я ему отвечаю: «Ты сам дурак,
рыбой в небе летит судьба!
И я знаю, что выхода не найти,
так хоть с другом выпить нам по пути
и, простишись, надеть пальто и уйти».

«Не уйдешь далеко через редкий лес,
где начало, там тебе и конец.
Так нечистая сила ведет в лесу,
словно нас по Садовому по кольцу,
и под ребра толкает носатый бес».

Там, я вижу, повсюду горят огни,
по сугробам текут голубые дни,
и вдали у палатки стоит она.
И мы с ней остаемся совсем одни,
то есть я один и она одна.

ДЖЕЙМС БОЛДУИН

КОМНАТА ДЖОВАННИ

Перевод с английского Александра Радашкевича

Выдающийся американский негритянский писатель, публицист и общественный деятель Джеймс Артур Болдуин (*Baldwin*) родился в Нью-Йорке 2 августа 1924 года. Он был старшим из девяти братьев и сестёр и воспитывался в доме своего отчима-пастора.

Никогда не скрывавшаяся Болдуином приверженность к одноголовой любви стоила ему на родине враждебности и неприятия как со стороны чернокожих братьев, так и со стороны белого пуританского большинства. Поэтому большую часть своей жизни писатель провёл во Франции, куда впервые попал в 1948 году. В 1986 году президент Миттеран произвел его в командоры ордена Почётного легиона. 1 декабря 1987 года Джеймс Болдуин скончался от рака в небольшом южном городке Сен-Поль-де-Ванс.

Первый же, повествующий о религиозном обращении подростка роман — «Поведай с горы» (1953) — принёс известность молодому автору на родине. Среди других произведений писателя — «Другая страна» (1962), «Скажи, когда ушёл поезд» (1968), «Если Байл-стрит могла бы заговорить» (1975), «Прямо у меня над головой» (1979), «Гарлемский квартет» (1987). В США приобрела известность и острые художественные публицистика Дж.Болдуина, объединенная в сборники «Заметки родного сына» (1955), «Никто не знает моего имени» (1960) и в особенности — «В следующий раз — пожар» (1963).

Но подобно тому, как Сент-Экзюпери, несмотря на другие замечательные произведения, остаётся в сознании читателя прежде всего создателем «Маленького принца», Джеймс Болдуин навсегда останется автором «Комната Джованни» (1956) — небольшого шедевра, принесшего ему мировую славу. Это трагическая, разворачивающаяся на фоне Парижа 50-х годов история любви двух молодых людей, американца Дэвида и итальянца Джованни — современных автору Ромео и Ромео, нашедших в своём чувстве и в капкане комнаты Джованни эфемерное спасение из «ада существования» и превративших её в сущий ад.

Первый перевод романа был сделан переводчиком и культурологом Геннадием Шмаковым в 60-х годах прошлого века, когда он не был ещё достаточно подготовлен к такой сложной работе и даже не знал ещё английского. В силу чего перевод изобиловал ошибками и неточностями. Новый перевод, выполненный замечательным поэтом и переводчиком Александром Радашкевичем, свободен от этих недостатков и обладает множеством литературных достоинств, вытекающих из масштаба и характера дарования переводчика, в совершенстве владеющего английским и французским языками, не говоря — блестательным русским.

Мы горды выпавшей нам честью впервые познакомить читателя со знаменитым романом в новом переводе.

Редакция

Люсьену

Я — человек; я страдал, я там был.
Уолт Уитмен

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**1**

Я стою у окна в этом большом доме на юге Франции, пока наступает ночь. Ночь, ведущая меня к самому страшному утру моей жизни. В руке у меня стакан, а у локтя — бутылка. Я смотрю на своё отражение в темнеющих оконных стёклах. Это удлинённое отражение, похожее скорее на стрелу; светлые волосы мерцают в темноте. Лицо у меня вроде тех, что вы видели много раз. Мои предки завоевали этот континент, пересекая омертвельные равнины, пока не достигли океана, отвернувшегося от Европы к более тёмному прошлому.

Я, должно быть, напьюсь к утру, но от этого мне не станет легче. Всё равно я поеду в Париж. Поезд будет тем же, и люди, пытающиеся устроиться поудобнее и даже сохранить достойный вид на деревянных сидениях третьего класса с прямыми спинками, будут те же, и я буду тот же. Мы поедем сквозь мелькающие деревенские пейзажи на север, оставляя за собой оливковые деревья и море, и всё величие бурлящего южного неба, — в парижский туман и дождь. Кто-то предложит поделиться со мной бутербродом, кто-то захочет угостить глотком вина, кто-то попросит спички. Люди будут бродить взад-вперёд по коридору, выглядывая в окна, заглядывая к нам. На каждой станции новобранцы, в своей мешковатой коричневой форме и красочных головных уборах, будут соваться в дверь купе и спрашивать: «*Complet?*¹». И мы все, как заговорщики, станем утвердительно кивать головой, чуть заметно улыбаясь друг другу, пока те протискиваются сквозь вагон. Двое или трое из них останутся стоять перед нашим купе, громко переговариваясь своими низкими похабными голосами и раскуривая вонючие армейские сигареты. Напротив меня будет сидеть девушка, удивляющаяся тому, что я с ней не заигрываю, и вся в напряжении от присутствия этих новобранцев. Всё будет тоже самое, только я буду неподвижнее обычного.

Как неподвижен сегодня вечером деревенский пейзаж, просвечивающий сквозь моё отражение в окне. Этот дом расположен на окраине маленького летнего курорта, пустующего до начала сезона. Он построен на невысоком холме, откуда видны огни городка и где слышен шум моря. Мы с Хеллой, моей девушкой, сняли его несколько месяцев назад в Париже, по фотографиям. Уже неделя, как она уехала. Сейчас она где-то в открытом море, на пути обратно в Америку.

Я могу её себе представить: очень элегантная, напряжённая и неотразимая в заливающем салон океанского лайнера свете; пьющая немного быстрее, чем следует, смеющаяся и наблюдающая за мужчинами. Именно такой увидел я её впервые в баре у Сен-Жермен-де-Пре: она пила и наблюдала, и поэтому понравилась мне. Я подумал, что с такой будет забавно позабавиться. Так это началось, не имея для меня никакого другого значения; и я не уверен, несмотря ни на что, что когда-либо это значило для меня больше. Не думаю, что это значило нечто большее и для неё; по крайней мере до поездки в Испанию, когда она, оказавшись одна, начала задумываться, наверно, о том, что провести всю жизнь,

¹ «Занято?» (фр.)

наблюдая со стаканом в руке за мужчинами, вряд ли было пределом её желаний. Но тогда было уже поздно. И я уже был с Джованни. Я предлагал ей выйти за меня замуж до её отъезда в Испанию; она засмеялась, засмеялся и я, но от этого, как ни странно, всё это стало для меня ещё серьёзнее, и я начал настаивать; тогда она ответила, что должна уехать и подумать об этом. Она была здесь в самую последнюю ночь, когда я видел её в последний раз; она укладывала вещи в чемодан, и я сказал ей, что любил её, и заставил сам себя в это поверить. Не знаю, так ли это было. Я думал тогда скорее всего о наших ночных в постели, о той особой целомудренности и доверии, которые никогда не вернутся и в которых была вся прелест этих ночей, ничем не связанных ни с прошлым, ни с настоящим, ни с тем, что ещё будет, ни вообще с моей жизнью, поскольку я не нёс за них никакой ответственности, кроме чисто механической. Всё, что совершалось в эти ночи, совершалось под чужим небом, без свидетелей и безнаказанно; это и стало причиной развязки, поскольку нет ничего невыносимее, чем свобода, когда вы её наконец получите. Думаю, именно поэтому я предложил ей выйти за меня замуж, чтобы за что-то зацепиться. Возможно, именно поэтому она решила в Испании, что хочет стать моей женой. Но, к несчастью, люди могут выдумывать себе свои причалы, любимых и друзей не более, чем выбирать себе родителей. Жизнь сама дарует всё это и сама же всего лишает, и самое трудное — это сказать жизни «да».

Сказав Хелле, что любил её, я думал и о тех днях, что протекали до того, как что-то ужасное, непоправимое случилось со мной, когда наша с ней связь была лишь связью. Теперь, начиная с этой ночи, с этого приближающегося утра, — неважно, в скольких и чьих кроватях мне предстоит оказаться между сегодняшним и моим последним ложем, — у меня уже никогда не будет таких, по-мальчишески острых связей, которые, если хорошенько подумать, являются не чем иным, как более совершенным или, во всяком случае, более претенциозным способом онанизма. Люди слишком многообразны для того, чтобы в них легко разобраться. Я слишком многообразен, чтобы мне доверять. Если бы это было не так, я бы не стоял один в этом доме сегодня ночью. Хелла не пересекала бы сейчас океан. А Джованни не ожидала бы — в любое мгновение между этим вечером и этим утром — смерть на гильотине.

Теперь я каюсь (чтобы хоть этим облегчить душу) особенно в одной лжи — среди всех неправд, которые я сказал, которыми жил и в которые верил. Я согнал Джованни, хоть он в это так и не поверил, что никогда раньше не спал с парнем. Я спал. И решил, что это никогда не повторится. Есть что-то невероятное в том сценарии, который я прожил: бежать так далеко, с таким трудом, даже пересечь океан — только для того, чтобы понять, где зарыта собака. А зарыта она была во дворе, у меня за домом. Только дворик за это время стал меньше, а собака — куда больше.

Джой. Я не вспоминал об этом мальчике уже столько времени; но в эту ночь он снова у меня перед глазами. Это случилось несколько лет назад. Я был ещё подростком, а он — на год старше или младше меня. И был это очень хороший мальчик, живой и черноволосый, вечно смеющийся. Какое-то время он был моим лучшим другом. Позднее мысль о том, что именно такой мальчик мог стать моим лучшим другом, стала для меня доказательством скрытого во мне ужасного порока. Поэтому я забыл о нём. Но теперь он снова стоит у меня перед глазами.

Это было летом, во время каникул. Его родители уехали куда-то на выходные, и я остался на эти дни у них в доме, который находился возле Кони-Айленда, в Бруклине. Мы тоже жили тогда в Бруклине, но в более богатом районе, чем Джой. Кажется, мы валялись тогда на пляже, немного купались и наблюдали проходящих

мимо полуоголых девочек, сопровождая их появление свистом и хохотом. Уверен, что если бы хоть одна из них как-то отреагировала на этот свист, то даже океан не был бы достаточно глубок, чтобы утопить наш стыд и ужас. Но девушки, несомненно, как-то это понимали, возможно — по характеру нашего свиста, и игнорировали нас. Когда солнце стало садиться, мы побрали вдоль берега к его дому, натянув брюки поверх мокрых плавок.

Думаю, всё началось, когда мы мылись под душем. Знаю, что почувствовал что-то в себе, когда мы скакали в тесной, наполненной паром ванной, хлеща друг друга мокрыми полотенцами, — что-то такое, чего не чувствовал раньше и что каким-то таинственным и нечаянным образом касалось его. Помню своё явное нежелание одеваться: я сваливал это на жару. Но мы всё-таки что-то накинули на себя и принялись хватать еду прямо из холодильника и наливаться пивом. Потом, должно быть, пошли в кино. Не могу представить, зачем бы ещё мы вышли из дома. Помню, что мы шли тёмными, раскалёнными, как в тропиках, бруклинскими улицами, и жар поднимался от асфальта и шёл от стен с такой силой, что мог убить человека; казалось, что все на свете взрослые, растрёпанные и недовольные, сидели на порогах своих домов, а все на свете дети высыпали на тротуар или сидели на пожарных лестницах; и рука моя лежала у Джоя на плечах. Думаю, я был горд тем, что ростом он доходил мне только до уха. Так мы шли, Джой отпускал похабные шуточки, и мы покатывались от смеха. Странно вспомнить впервые за столько времени, как хорошо мне было в тот вечер и как мне нравился Джой.

Когда мы наконец дошли до дома, всё было тихо, и мы тоже притихли. Мы вели себя очень смирно, сонно разделись в комнате Джоя и легли в кровать. Думаю, я сразу уснул и проспал довольно долго. Проснулся от включённого света. Джой внимательно и яростно выискивал что-то на подушке.

- Ты что?
- Кажется, меня клопы кусают. — Дурак. У вас что — клопы?
- Вроде, кто-то меня укусил.
- Тебя кусали когда-нибудь клопы?
- Нет.
- Давай лучше спать. Тебе приснилось.

Он посмотрел на меня с открытым ртом и широко раскрытыми глазами. Как будто он открыл, что я специалист по клопам. Я рассмеялся и схватил его за голову, как это уже бывало бог знает сколько раз, когда мы дурачились или когда он мне надоедал. Но на этот раз, когда я дотронулся до него, с ним и со мной произошло что-то такое, что сделало это прикосновение не похожим ни на какое другое, когда-либо нами испытанное. А он не стал отбиваться, как поступал обычно, а лёг туда, куда я его тянул, — мне на грудь. Я почувствовал, что у меня страшно заколотилось сердце, что Джой дрожит на мне и что свет в комнате слепящий и жаркий. Я попытался отодвинуться и сострить что-нибудь; но Джой что-то пробормотал, и я нагнулся к нему голову. В этот момент Джой приподнял свою, и мы поцеловались так, будто это вышло случайно. И тогда, впервые в жизни, я понастоящему ощутил чьё-то тело и чей-то запах. Мы держали друг друга в объятиях. Это было так, будто я держал в руке некую редкую, измученную, почти обречённую птицу, которую мне каким-то чудом удалось найти. Мне было очень страшно, как и ему, я уверен, и мы оба зажмурили глаза. То, что я вспомнил об этом сегодня так ярко и так болезненно, значит лишь, что на самом деле я ни на мгновение об этом не забывал. Сейчас я чувствую в себе глухой, жутковатый отклик того, что так сокрушающее бурлило во мне тогда: страшный иссушающий жар и дрожь, и такая острые нежность, что, казалось, у меня разорвётся сердце. Но из этой потрясающей и невыносимой боли родилась радость — радость, которую мы подарили друг другу в ту ночь. Тогда казалось, что всего отпущенного мне века будет мало, чтобы завершить с Джоем это свершение любви.

Но этот век оказался коротким, он измерялся той ночью и — завершился к утру. Когда я проснулся, Джой ещё спал — свернувшись калачиком, как ребёнок, ко мне лицом. Он был похож на малыша: рот приоткрыт, порозовевшие щёки; кудрявые волосы темнели на подушке и наполовину скрывали влажный округлый лоб, а длинные ресницы чуть поблескивали в летнем солнце. Мы оба были голыми, потому что укрывавшая нас простыня сползла и обмоталась у нас вокруг ног. Тело у Джоя было смуглым, потным; это было прекраснейшее создание из всего, когда-либо мною виденного. Я уже хотел дотронуться до него, чтобы разбудить, но что-то остановило меня. Я вдруг испугался. Возможно, потому, что он раскинулся рядом так невинно, с таким совершенным доверием; возможно, потому, что он был намного меньше меня. Собственное тело показалось мне вдруг большим и тяжеловесным, а снова поднимающееся во мне желание — чудовищным. Но прежде всего мне было страшно. Я услышал в себе: «*а ведь Джой — это мальчик*». Я вдруг увидел силу, заключённую в его бёдрах, в плечах, в расслабленно лежащих запястьях. И эта сила, обещание и тайна этого тела внезапно испугали меня. Всё это тело неожиданно показалось мне входом в тёмную пещеру, где меня будут пытать до потери рассудка и где я утрачу свою мужественность. Но так оно и было: я желал познать эту тайну, почувствовать эту силу и осуществить это обещание через себя. У меня похолодел пот на спине. Мне было стыдно. Сама эта кровать со сбитым ласками бельём свидетельствовала о падении. Что скажет мать Джоя, подумал я, когда увидит эти простыни. Потом я подумал о своём отце, у которого никого не осталось на свете, кроме меня, после смерти моей матери, забравшей её, когда я был ещё маленьким. В уме у меня открылась пещера — чёрная, полная сплетен, намёков, недосказанных, полуза�отых и недопонятых историй, полная грязных слов. Я увидел своё будущее в этой пещере. Мне стало страшно. Я почти плакал, плакал от стыда и ужаса, плакал, потому что не понимал, как могло это случиться со мной и как могло это случиться *во мне*. И я принял решение. Встал, помылся в ванной и оделся. Когда Джой проснулся, завтрак был на столе.

Я не сказал ему о своём решении, потому что это могло сломить мою решимость. И не стал дожидаться, пока он позавтракает; только выпил кофе и придумал какой-то предлог, чтобы уйти домой. Я знал, что этот предлог не обманет Джоя, но он не умел ни спорить, ни настаивать и не понял, что именно это и следовало тогда сделать.

Потом я перестал у него бывать, хотя всё лето мы виделись почти каждый день. А он не приходил ко мне. Я был бы страшно рад, если бы он пришёл, но то, как я покинул его, сковывало нас всё больше, и ни он, ни я не знали, что с этим делать. Когда более или менее случайно мы наконец встретились уже на исходе лета, я рассказал ему длинную и совершенно неправдоподобную историю о девчонке, с которой провожу время; а когда начались занятия в школе, я выбрал компанию ребят постарше и погрубее и повёл себя нагло по отношению к Джою. И чем грустнее он от этого становился, тем наглее делался я. В конце концов он переехал в другой район, подальше от нашей школы, и больше я никогда его не видел.

Наверно, в то лето я начал чувствовать себя одиноко, и в то же лето начался тот полёт, что принёс меня к этому темнеющему окну.

И всё-таки когда начинаешь искать главное, тот решающий момент, что повлиял на всё остальное, то, причиняя себе страшную боль, пробираешься сквозь лабиринт ложных сигналов и с треском захлопывающихся дверей. Мой полёт в самом деле мог начаться тем летом, но это отнюдь не объясняет, из чего родилась сама дилемма, которая этим полётом тогда и разрешилась. Конечно, разгадка — прямо передо мной, заключена в то отражение, что я наблюдаю в окне, пока опускается ночь. Она попала вместе со мной в капкан этой комнаты;

так это было всегда и всегда будет, и всё-таки это более чуждо мне, чем те чужеземные холмы за окном.

Мы жили тогда в Бруклине, как я сказал; а до этого — в Сан-Франциско, где я родился и где лежит в земле моя мать; короткое время мы жили в Сиэтле, потом в Нью-Йорке (для меня Нью-Йорк — это Манхэттен). Позднее переехали из Бруклина обратно в Нью-Йорк, а когда я уехал во Францию, отец со своей новой женой перебрался уже в Коннектикут. К тому времени я, конечно, уже давно жил сам по себе, снимая квартиру на востоке 60-х улиц.

Я вырос в одном доме с отцом и его незамужней сестрой. Маму отнесли на кладбище, когда мне было пять лет. Я почти не помню её, но она являлась мне в кошмарах с кишащими червями пустыми глазницами, с сухими, как проволока, и ломкими, как прутья, волосами, стараясь прижать меня к себе, к своему телу, такому разложившемуся, такому тошнотворно мягкому, что — пока я изо всех сил вырывался и кричал, — в нём открывалась такая огромная дыра, что могла бы поглотить меня живьём. Но когда отец и тётка вбегали узнавать, что меня так напугало, я не смел пересказать им свой сон, потому что это было бы оскорбительно по отношению к моей матери. Я говорил, что мне приснилось кладбище. Из этого они заключали, что мамина смерть повлияла на моё воображение и, должно быть, думали, что я горюю по ней. Может, так оно и было, но если это так, то я горюю о ней и по сей день.

Между отцом и тёткой были ужасные отношения, и, не зная откуда и почему мне это известно, я знал, что их затянувшаяся вражда прямо связана с моей мёртвой матерью. Помню, что, когда я был маленьким, её фотография, стоявшая как-то отдельно от всего на камине в большой гостиной нашего дома в Сан-Франциско, казалось, правила этой комнатой. Эта фотография будто доказывала, что дух её обитает в воздухе и контролирует нас. Я помню тени, сгущавшиеся по углам этой комнаты, в которой я никогда не чувствовал себя дома, и отца — в потоке золотистого света, льющегося на него из высокого торшера, стоявшего рядом с его удобным креслом. Он читал развернутую газету, скрывавшую его от меня; иногда, тщетно пытаясь привлечь его внимание, я так надоедал ему, что в конце концов меня в слезах выносили из комнаты. И ещё я помню, как он сидел, наклонившись вперёд, уперев локти в колени и уставившись в большое окно, сдерживающее напор чёрной, как тушь, ночи. Я пытался догадаться, о чём он думает. Перед глазами моей памяти он стоит в сером вязаном жилете, с ослабленным галстуком и пепельными волосами, падающими на квадратное красноватое лицо. Он принадлежит к той породе людей, которых легко рассмешить и трудно рассердить. Но гнев таких людей, когда его удается разбудить, тем страшнее: он будто вырывается из какой-то незаметной щели, как пламя, которое грозит поглотить весь дом.

Элин, сестра отца, была немного старше его, немного темнее, всегда слишком разодетая, слишком ухоженная, с лицом и фигурой, начинавшими отвердевать, обвшеннная украшениями, позвякивающими и поблескивающими на свету, сидящая на диване, читающая; она много читала, все новинки, и очень часто ходила в кино. И ещё она вязала. Кажется, она всегда была с большим мешком, полным опасных вязальных спиц, или с книгой, или с тем и другим одновременно. Не знаю, что она вязала, но думаю, что хотя бы время от времени это было предназначено отцу или мне. Я не помню этих вещей, равно как не помню тех книг, что она читала. Это могла быть одна и та же книга, как она могла вязать всё тот же шарф или свитер, или бог знает что — все эти годы, что я знал её. Иногда они с отцом играли в карты, но это случалось редко; иногда они вели разговор в дружески подтрунивающем тоне, но это было опасно. Эти пересмешки всегда заканчивались склокой. Иногда у нас бывали гости, и мне часто разрешали наблюдать, как они пьют коктейли. Отец бывал тогда в своём лучшем настроении; ребяч-

ливый и заводной, он обходил наполненную приглашёнными гостиную со стаканом в руке, подливая всем что-то, часто смеясь, по-братьски общаясь с мужчинами и приударяя за женщинами. Элин всегда следила за ним, будто боялась, что он может сделать что-то ужасное; следила и за ним, и за женщинами, хотя сама флиртовала с мужчинами, но как-то странно и нервожно. Она являлась, как говорит-ся, убийственно разодетой, с помадой — алеё всякой крови, в платье, которое было либо неподходящего цвета, либо слишком облегающим, либо не соответствующим её возрасту; сжимая стакан в руке так, что он мог треснуть и разлететься на тысячи осколков; повышая голос всё больше и больше — до звука ножа по стеклу. Когда я был маленьким и наблюдал за ней в компании, она пугала меня.

Но что бы ни происходило в гостиной, моя мать наблюдала за этим. Она смотрела из рамки — бледная, со светлыми волосами, изящная, темноглазая, с прямыми бровями и нервным мягким ртом. Но от того, как были посажены глаза и как широко раскрыты, от какой-то неуловимой язвительности и искушённости рта чувствовалось, что за этой напряжённой хрупкостью крылась сила, столь же неощутимая, сколько неодолимая, и, в силу своей полной непредсказуемости, такая же опасная, как ярость отца. Отец редко говорил о ней, а когда делал это, то, по какой-то таинственной причине, закрывал лицо руками. И говорил он о ней лишь как о моей матери, так что на самом деле, наверно, он говорил о самом себе. Элин же говорила о матери часто, подчёркивая, что это была замечательная женщина, но мне от этого становилось неловко. Я чувствовал, что не имею права быть сыном такой матери.

Намного позднее, уже став взрослым, я пытался подтолкнуть отца рассказать о ней. Но Элин уже умерла к тому времени, а он собирался снова жениться. И говорил о матери так, как говорила Элин; так что скорее всего он говорил, наверно, об Элин.

Однажды ночью, когда мне было лет тринадцать, между ними вспыхнула ссора. Конечно, они очень часто ругались, но, должно быть, я помню об этой ссоре так ясно потому, что она касалась меня.

Я уже спал наверху. Было довольно поздно. Меня неожиданно разбудили шаги отца под моим окном. По звуку и по ритму этих шагов я мог заключить, что отец был выпивши, и в тот же момент какая-то горечь и небывалая грусть наполнили меня. Я видел его пьяным много раз, но никогда не чувствовал такого (наоборот, отец бывал очень милым во хмелю), но в ту ночь я вдруг ощутил в этом и в нём самом что-то такое, что вызывало презрение.

Я слышал, как он вошёл. И тут же раздался голос Элин.

— Ты ещё не в постели? — спросил отец. Он старался быть ласковым и избежать сцены, но в голосе у него не было никакой сердечности, а лишь напряжённость и раздражение.

— Я подумала, — сказала Элин холодно, — что кто-то должен тебе сказать о том, что ты делаешь со своим сыном.

— Что я делаю с сыном?

Он готов был добавить что-то, что-то ужасное, но сдержался и лишь проговорил с отрешённым, пьяным и безнадёжным спокойствием:

— О чём ты говоришь, Элин?

— Ты действительно думаешь, — начала она (я был уверен, что она стояла посреди комнаты со скрещёнными на груди руками, совершенно прямая и недвижимая), — что он должен стать таким же, как ты, когда повзрослеет?

Поскольку отец ничего не ответил, она продолжала:

— Он уже становится взрослым, понимаешь?

И затем, злорадно:

— Больше этого мне нечего тебе сказать.

— Иди спать, Элин, — проговорил отец очень устало.

Я подумал, что, поскольку они говорят обо мне, мне бы следовало спуститься и сказать Элин, что свои отношения с отцом мы можем уладить и без её участия. И ещё, как ни странно, я почувствовал, что всё это неуважительно по отношению ко мне. Ведь я же ни разу не сказал ей и слова об отце.

Я прислушивался к его тяжёлым, неровным шагам, пока он пересекал комнату по направлению к лестнице.

— Не думай, — сказала Элин, — что я не знаю, где ты был.

— Я ходил чего-нибудь выпить, — ответил отец, — а теперь мне бы хотелось немного поспать. Ты не возражаешь?

— Ты был с этой девицей, с Беатрис, — сказала Элин. — Где и всегда, и где пропадают все твои деньги, всё, что делает тебя мужчиной, и всякое уважение к себе.

Ей удалось взбесить его. Он начал заикаться от гнева.

— Если ты считаешь... если считаешь, что я буду стоять... стоять... стоять тут... и обсуждать с тобой свою личную жизнь... свою личную жизнь!.. если ты думаешь, что я собираюсь обсуждать это с тобой, ты, наверно, просто рехнулась.

— Мне наплевать, — сказала Элин, — что тытворишь с собой. Меня заботишь не ты. Просто ты единственный человек, который имеет какое-то влияние на Дэвида. У меня его нет. Он лишён матери. И слушает меня только тогда, когда думает, что тебе это приятно. Ты действительно думаешь, что Дэвиду полезно видеть, как ты вваливаешься домой каждый день вдребезги пьяным? И не воображай, — добавила она грудным от волнения голосом, — не воображай, что он не знает, откуда ты являешься. Не думай, что он ничего не знает от твоих бабах!

Это была неправда. Не думаю, что я знал об этом или даже задумывался. Но, начиная с той ночи, я думал о них всё время. Я не мог увидеть почти никакую женщину, не гадая о том, не «замешан» ли, как выражалась Элин, с ней мой отец.

— Думаю, что у Дэвида мысли вряд ли намного чище твоих, — сказал отец.

Наступившее молчание, в котором отец поднимался по лестнице, было, безусловно, самым страшным молчанием в моей жизни. Я старался догадаться, о чём они думают — каждый из них. Догадаться, как они выглядят. Понять, в каком виде увижу я их утром.

— И потом, знаешь, — произнёс вдруг отец посередине лестницы таким голосом, что мне стало жутко, — всё, что я желаю Дэвиду, это чтобы он вырос мужчиной. И если я говорю «мужчиной», я не имею в виду учителя воскресной школы.

— Быть мужчиной, — сказала Элин, — не значит быть жеребцом. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — отозвался отец после паузы.

И я услышал, как он, шатаясь, миновал мою дверь.

С того самого момента — со всей тайной, коварной и дикой страстью юности — я презирал своего отца и ненавидел Элин. Трудно сказать почему. Я сам не знаю. Но это позволило сбыться всем предсказаниям Элин насчёт меня. Она сказала, что наступит такое время, когда никто и никто не будет иметь надо мной власти, включая отца. И такое время, конечно, настало.

Это было уже после Джоя. То, что произошло между нами, глубоко потрясло и сделало меня скрытым и жестоким. Я не мог ни с кем обсуждать случившееся и даже себе не мог в этом признаться; и хотя я никогда не думал о нём, это событие лежало на самой глубине души так неподвижно и страшно, как разлагающийся труп. Он менялся на глазах, распухал и отправлял мне душу. И скоро уже я сам возвращался домой, шатаясь и поздно ночью, уже меня поджидала теперь Элин и со мной скандалила ночь за ночью.

Отношение моего отца к происходившему сводилось к тому, что это неизбежная болезнь роста, и он старался относиться ко всему спокойно. Но за шутливостью и видимостью компанейского заговора он прятал свою растерянность и испуг.

Наверно, он предполагал, что с возрастом я стану к нему ближе; но теперь, когда он пытался что-то во мне понять, я был от него уже за тридевять земель. Я не хотел, чтобы он меня знал. Не хотел, чтобы меня знал кто бы то ни было. Кроме того, я начал тогда делать то, что неизбежно случается с повзрослевшими детьми по отношению к старшим: я начал судить его. Но сама безжалостность этого суда, которая разрывала мне сердце, выявила (хоть я и не понимал этого тогда), что я очень любил его и что эта любовь умирает вместе с моей невинностью.

Мой бедный отец был напуган и сбит с толку. Он не мог поверить, что между нами что-то действительно неладно. И это не было только потому, что он не знал тогда, как поступить; но, главным образом, потому, что боялся поверить, что где-то и что-то он недосмотрел, и это что-то было огромной важности. Но поскольку мы оба не понимали, в чём заключалось это столь важное упущение, и поскольку мы должны были оставаться в негласном союзе против Элин, мы нашли выход из положения в том, что стали сердечнее относиться друг к другу. Мы, как горделиво замечал иногда отец, скорее походили не на отца с сыном, а на за-кадычных друзей. Думаю, что иногда отец в это действительно верил. Я же никогда. Я хотел быть не его приятелем, а его сыном. Эта мужская откровенность, установившаяся между нами, измучила и отвратила меня от него. Отцы должны избегать показываться своим сыновьям совершенно нагими. Я не хотел знать (во всяком случае не из его уст), что тело у него так же бездуховно, как моё собственное. От этого знания я не почувствовал себя его сыном — или приятелем — в большей степени; я лишь ощущил, что подглядываю что-то такое, от чего мне страшно. Он полагал, что мы похожи друг на друга. Я не хотел в это верить. Не хотел верить, что моя жизнь будет похожа на его, что мой разум когда-нибудь станет таким же бесцветным, таким же рыхлым, без ярких и неожиданных вспышек. Он стремился, чтобы ничто не стояло между нами, чтобы я смотрел на него, как мужчина на мужчину. А мне не хватало щадящей дистанции между отцом и сыном, которая позволила бы мне любить его.

Однажды ночью, напившись где-то за городом и возвращаясь домой с приятелями, я разбил машину. Это произошло полностью по моей вине. Я едва держался на ногах и был совершенно не в состоянии сидеть за рулём; но остальные не видели этого, поскольку я принадлежу к той породе людей, которые на вид и по голосу похожи на трезвых, в то время как на самом деле готовы рухнуть замертво. На прямом и ровном участке дороги что-то странное произошло с моей способностью реагировать на окружающее, и машина вдруг вышла у меня из-под контроля. И тогда телефонная будка, белая, как морская пена, вырвалась мне навстречу из кромешной тьмы; я услышал крики, а затем — тяжёлый, ревущий скрежет. Потом всё стало алым, потом — ярким, как солнечный свет, и я погрузился в неведомый мне до тех пор мрак.

Наверно, я начал приходить в себя, когда нас везли в больницу. Смутно припоминается движение и голоса, но всё казалось таким далёким и не имеющим ко мне никакого отношения. Потом, уже позднее, я очнулся в каком-то месте, которое показалось мне самым сердцем зимы: высокий белый потолок, белые стены и тяжёлое ледяное окно, которое,казалось, нависло надо мной. Должно быть, я попытался подняться, поскольку мне запомнился страшный гул в голове, а потом — давление на грудь и огромное лицо надо мной. И когда это давление и это лицо начали толкать меня назад, я закричал, зовя на помощь маму. Потом снова стало темно.

Когда я окончательно пришёл в себя, у кровати стоял отец. Я знал, что он здесь, до того, как увидел его, до того, как сфокусировал взгляд и осторожно повернул голову. Увидев, что я очнулся, он тихонько приблизился к кровати, показывая руками, чтобы я не двигался. Он выглядел очень старым. Мне хотелось плакать. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга.

— Как ты себя чувствуешь? — прошептал он наконец.

Попытавшись заговорить, я впервые почувствовал боль и сразу испугался. Он должен был увидеть это по моим глазам, поскольку сразу заговорил с болезненной и чудесной силой в голосе:

— Не беспокойся, Дэвид. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо.

Я ничего не мог произнести и только смотрел на его лицо.

— Вам, ребята, страшно повезло, — сказал он, стараясь улыбнуться. — Тебя покорёжило больше других.

— Я был пьян, — вымолвил я наконец. Мне хотелось всё ему рассказать, но говорить было настоящей пыткой.

— А тебе не может, — спросил он совершенно растерянно, поскольку именно в этом вопросе он имел полное право растеряться, — не может прийти в голову что-нибудь поумнее, чем пьяным садиться за руль? Ведь может! — сказал он строго и прикусил губу. — Вы все могли погибнуть.

У него дрогнул голос.

— Прости меня, — сказал я неожиданно для себя. — Прости.

Я не знал, как сказать, за что я прошу прощения.

— Ничего, — сказал он. — Просто будь осторожнее следующий раз.

Он мял в руках носовой платок. Потом развернул его, наклонился и отёр мне лоб.

— У меня только ты на свете, — сказал он со смущённой и горькой ухмылкой. — Береги себя.

— Папа.., — произнёс я и заплакал. И хотя это было ещё большей пыткой, чем говорить, я не мог остановиться.

Лицо у него вдруг исказилось. Оно стало страшно старым, но в то же время совершенно и беспомощно молодым. Помню, что я — в недвижном и холодном центре закипавшей во мне бури — был потрясён тем, что отцу больно, всё ещё больно.

— Не плачь, — сказал он. — Не плачь.

Он водил мне по лбу этим дурацким носовым платком, будто в нём заключалась какая-то целительная сила.

— Не о чём плакать. Всё будет хорошо.

Сам он почти плакал.

— Всё ведь в порядке, а? Разве я сделал что-нибудь не так?

И он продолжал водить мне по лицу носовым платком, лишая меня воздуха.

— Мы напились... Напились, — твердил я, будто это могло каким-то образом всё объяснить.

— Твоя тётка Элин говорит, что это моя вина, — сказал он. — Она говорит, что я плохо тебя воспитывал.

Он убрал, слава богу, свой платок и слабо пожал плечами.

— У тебя что-то есть против меня, а? Скажи мне.

Слёзы начали сохнуть у меня на лице и в груди.

— Нет, — сказал я. — Нет. Ничего. Честно.

— Я делал всё, что мог, — сказал он. — Действительно всё, что мог.

Я взглянул на него. Тогда он в конце концов разулыбался и сказал:

— Ты должен пролежать здесь какое-то время, но когда тебя привезут домой и пока ты будешь оставаться в постели, мы обо всём поговорим, ага? И постараитесь подумать о том, что нам с тобой делать, когда ты поднимешься на ноги. Идёт?

— Идёт, — ответил я.

Потому что понимал в глубине души, что мы никогда толком не разговаривали и теперь уже никогда не будем. И понимал, что он никогда не должен об этом знать. Когда я вернулся домой, он рассуждал со мной о моём будущем, но я уже принял решение. Я не собирался поступать в колледж. Не собирался оставаться

с ним и с Элин в этом доме. И мне удалось повернуть дело так, что он поверил, будто моё решение искать работу и устроиться жить одному было прямым следствием его советов, а также плодом его воспитательной работы со мной. Когда я ушёл из дома, отношения с ним стали, конечно, ещё легче, и он никогда не чувствовал себя исключённым из моей жизни, поскольку мне всегда удавалось, когда заходила об этом речь, сказать именно то, что ему хотелось услышать. Потом всё так и продолжалось, потому что образ моей жизни, который я рисовал отцу, был именно тем, в который я сам отчаянно пытался поверить.

Ведь я принадлежу — или принадлежал — к тому сорту людей, кто гордится силой своей воли, способностью принять решение и добиться его осуществления. Но достоинство это, как и большинство достоинств, само по себе двусмысленно. Те, кто верит в силу своей воли и свою власть над судьбой, могут укрепляться в этой вере лишь посредством умелого самообмана. Их решения не имеют ничего общего с настоящими решениями (подлинное решение делает человека смиренным, поскольку он знает, что оно находится в зависимости от бесчисленного множества вещей), но являются изощрённой системой увёрток и иллюзий, сотканной для того, чтобы они сами и мир казались именно тем, чем ни они, ни мир отнюдь не являются. Таковым, разумеется, было и мое, принятое так давно — в кровати Джоя — решение. А решил я исключить из своей вселенной всё, чего стыдился и что меня пугало. И у меня это здорово получалось, поскольку я не взглядался ни во вселенную, ни в себя самого, пребывая в состоянии постоянного движения. Но даже беспрерывное движение не исключает, конечно, таинственных случайных остановок и падений, подобных падению самолёта в воздушную яму. И таких падений приключилось немало, и все они были пьяными, все грязными, а одно из них, когда я был в армии, — очень страшным, поскольку связано было с педиком, и парень этот пошёл потом под военный трибунал и вылетел из армии. Панический страх, вызванный во мне этим наказанием, более всего походил на тот ужас, который я видел иногда в потемневшем взгляде другого человека.

А следствием было то, что всё подсознательно связанное с этим страхом, я изнашивал в движении, в безрадостных морях алкоголя, в грубой, пошловатой, искренней и не имеющей ровно никакого значения дружбе, изнашивал пробирающим сквозь лес отчаявшихся женщин, изнашивал в работе, которая лишь кормила меня в самом прямом и буквальном смысле слова. Возможно, что, как мы говорим в Америке, мне хотелось найти себя. Это любопытное выражение, мало употребляемое, насколько мне известно, в языках других народов, вовсе не означает то, что пытается означать, а лишь выдаёт тоскливо подозрение, что что-то оказалось не на своём месте. Теперь я думаю, что если бы имел малейшее представление о том, что та моя сущность, которую мне предстояло открыть, была всего лишь той, от которой я пытался спрятаться столько времени, я остался бы дома. И всё-таки мне кажется, что в самой глубине души я прекрасно знал, что делал, когда поднялся на борт корабля, отплывавшего во Францию.

2

Я встретил Джованни на второй год моей жизни в Париже, когда остался без денег. В то утро, предшествовавшее вечеру нашей встречи, меня выставили из отеля. Я задолжал не так уж много — всего около шести тысяч франков, но у владельцев парижских отелей особый нюх на бедность, а уюхав её, они делают то, что и любой другой, почувствовавший дурной запах: они выбрасывают источник зловония.

На счету у моего отца были деньги, принадлежавшие мне, но ему не хотелось их посыпать, поскольку он надеялся, что я вернусь — вернусь домой и, как он говорил, осяду; и всякий раз, когда он повторял это, я представлял себе какую-то тину на дне стоячего пруда. Тогда я был мало с кем знаком в Париже, а Хелла была в Испании. Большинство моих знакомых принадлежали, как иногда выражаются парижане, к *le milieu*², и хотя это *milieu* принимало меня, конечно, с распространёнными объятиями, я старался доказать и им, и себе, что не принадлежу их кругу. А достигал я этого тем, что проводил с ними много времени и проявлял по отношению ко всем такую терпимость, которая, думаю, ставила меня вне подозрений. Я написал друзьям, разумеется, прося у них денег, но Атлантический океан глубок и широк, а деньги совсем не рвутся к нам с другого берега.

Тогда, сидя за чашкой остывшего кофе в одном из кафе на бульваре, я перелистал всю записную книжку и решил обратиться к старому знакомому, который всегда просил позвонить ему, к стареющему американскому бизнесмену бельгийского происхождения по имени Жак. У него была большая, удобная квартира, много всякой выпивки и много денег. Он был, как я и предполагал, удивлён, услышав мой голос, и — пока неожиданность и приятное удивление не уступили место настороженности — успел пригласить меня на ужин. Может, он и проклинал себя, повесив трубку и протянув руку за бумажником, но было слишком поздно. Вообще-то Жак не такой плохой. Пусть он и дурак, и трус, но ведь любой из нас либо то, либо другое, а большинство — и то, и другое вместе. Чем-то он мне даже нравился. Был он глупым, но таким одиноким. Так или иначе, но теперь я понимаю, что презрение, которое я испытывал по отношению к нему, было связано с презрением к самому себе. Он мог быть и невероятно щедрым, и невыносимо скаредным. И хотя он стремился доверять всем, на самом деле он не верил ни одной живой душе; и чтобы скрыть это, он расшивировал деньги на кого попало, и этим, разумеется, умели пользоваться. Тогда он застёгивал свой бумажник, запирал дверь и находил убежище в той неизбывной жалости к себе, которая была, пожалуй, единственным, что ему по-настоящему принадлежало. Долгое время я считал, что он со своей просторной квартирой, благожелательными обещаниями, со своим виски, марихуаной и со своими оргиями помог убить Джованни. Возможно, так оно и было. Но на руках Жака, конечно, не больше крови, чем на моих.

Я видел, между прочим, Жака сразу после вынесения приговора Джованни. Закутанный в длинное пальто, он сидел на открытой веранде кафе, попивая *vin chaud*³. Он был один на террасе. Он окликнул меня, когда я проходил.

Выглядел он неважно: лицо было в красных пятнах, а глаза за очками были глазами умирающего, который хватается за любую надежду исцеления.

— Ты слышал, — пролепетал он, когда я подсел, — насчёт Джованни?

Я кивнул утвердительно. Помню, что зимнее солнце слепило глаза и что я чувствовал себя таким же холодным и далёким, как это солнце.

— Это ужасно, ужасно, ужасно, — стонал Жак. — Ужасно.

— Да.

Я не мог выдавить из себя ничего другого.

— Я всё думаю о том, почему он это сделал, — продолжал Жак. — Почему не обратился за помощью к друзьям.

Он взглянул на меня. Мы оба знали, что, когда Джованни попросил денег в последний раз, Жак отказал ему. Я ничего не ответил.

— Говорят, что он начал курить опиум, — сказал Жак. — Что деньги ему были нужны именно на это. Ты что-нибудь слышал?

Я слышал. Это была газетная сплетня, но у меня были основания этому верить, поскольку я знал о глубине отчаяния Джованни, которое, в силу своей бездон-

² среде, людям определённого круга (фр.)

³ горячее вино (фр.)

ности, превратилось просто в пустоту, управлявшую его поступками. «Я хочу вырваться из этого, — говорил он мне, — je veux m'évader⁴ из этого грязного мира, из этого грязного тела. Я больше не хочу отдавать любви ничего, кроме тела».

Жак ждал моего ответа. А я уставился глазами на улицу перед нами. Я начинал думать о смерти Джованни: то, чем был Джованни, станет ничем, ничем навеки.

— Я надеюсь, это не по моей вине, — сказал наконец Жак. — Я не дал ему денег. Если бы я знал, я бы отдал ему всё, что у меня есть.

Мы оба понимали, что это неправда.

— А может, вы не были счастливы вместе? — предположил Жак.

— Нет.

Я встал.

— Было бы лучше, если бы он оставался там, в своей деревне в Италии, сажал свои оливковые деревья, наплодил бы кучу детей и лупил свою жену. Он любил петь, — вспомнил я вдруг. — Оставшись там, он мог бы, наверно, пропеть свою жизнь и умереть в своей кровати.

Тут Жак произнёс нечто, что меня удивило. Люди полны неожиданностей — даже для себя самих, стоит их только хорошенъко встряхнуть.

— Никто не в силах оставаться в садах Эдема, — сказал он. И продолжил: — Не знаю почему.

Я ничего не ответил, простился и ушёл. Хелла к тому времени уже давно вернулась из Испании, мы уже собирались снять этот дом и договорились о встрече в городе.

С тех пор мне вспоминался этот вопрос Жака. Банальный вопрос, но что действительно ужасно в жизни, это то, что она так банальна. В конце концов, все идут той же тёмной дорогой — и весь фокус в том, что она наиболее темна и опасна именно тогда, когда выглядит такой ясной, — и правда, что никто не задерживается в райских кущах. Конечно, у Жака был не тот рай, что у Джованни. Рай Жака был населён регбистами, а у Джованни — молоденькими девушками, но это не такая уж большая разница. Наверно, у каждого есть свой райский сад, не знаю. Не успеют его оглядеть, как блеснёт пламенеющий меч. Потом жизнь предлагает на выбор либо вспоминать этот рай, либо забыть о нём. Или же так: нужно иметь силу, чтобы помнить о нём, иметь другого рода силу, чтобы забыть, и нужно быть героем, чтобы совмещать и то, и другое. Помнящие ублажают безумие болью — болью бесконечного напоминания о гибели их невинности; забывшие услаждают иное безумие — безумие отрицания боли и ненависти по отношению к невинности. И мир по большей части разделён на тех безумцев, что помнят, и тех, что позабыли. Герои встречаются редко.

Жак не хотел устраивать ужин у себя, поскольку его повар сбежал. Повара всегда сбегали от него. Он всегда нанимал молодых парней из провинции, один бог знает как, чтобы они приходили и готовили, а те, разумеется, едва успев разобраться в столичной жизни, сразу решали, что им меньше всего на свете хочется возиться на кухне. Обычно они возвращались в конце концов к себе в провинцию — по крайней мере те из них, кто не заканчивал тротуаром, тюрьмой или отъездом в индокитайские колонии.

Мы встретились во вполне приличном ресторане на улице Гренель и договорились, что он одолжит мне десять тысяч франков ещё до того, как допили аперитивы. Он был в хорошем расположении духа, что определило и моё настроение, конечно, и что означало, что вечер закончится попойкой в любимом баре Жака, шумном, многолюдном, похожем на слабо освещённый тоннель, с сомнительной (скорее даже не сомнительной, а слишком откровенной) репутацией. Время от времени полиция устраивала там облавы — судя по всему, с согласия Гийома,

⁴ я хочу бежать (фр.)

бывшего патроном заведения и всегда ухитрявшегося предупредить своих любимых клиентов о том, что если у них нет при себе документов, то лучше перейти в другое заведение.

Помню, что в тот вечер в баре было необычайно шумно и тесно. Собрались все *habitués*⁵, но было и много новых лиц; одни высматривали кого-то, другие просто глазели. Три или четыре шикарные парижские дамы сидели за столиками со своими альфонсами или любовниками, или просто племянниками из деревни, бог знает; дамы были сильно возбуждены, а их компаньоны скорее скованы; дамы пили гораздо больше. Были там, как обычно, и джентльмены, уже с брюшком, в очках, с алчным, иногда безнадёжным выражением глаз; ну и как обычно, со стройным, подобным лезвию ножа телом, затянутые в облегающие брюки юноши. Что касается последних, никогда нельзя быть уверенным, чего они хотят: денег, крови или любви. Они непрерывно сновали по бару, прося угостить сигаретой или выпивая за чужой счёт, и было в их взгляде что-то одновременно страшно ранимое и страшно жестокое. Это были, конечно, *les folles*⁶, сочетающие всегда в своей одежде самые невероятные вещи, визжащие, как попугаи, об интимных подробностях своих последних романов — романов, которые всегда представляются весёлыми до безумия. Время от времени, уже довольно поздно, один из них вбегал в бар, чтобы объявить, что он (хотя они всегда говорят друг о друге «она») только что был в объятиях знаменитого актёра-кинозвезды или боксёра. Тогда все остальные толпились вокруг новоприбывшего, образуя собой что-то вроде павлиньего вольера, и кудахтали, как целый курятник. Мне всегда было трудно поверить, что они бывают с кем-либо в постели, ибо мужчина, который хочет женщину, всё-таки выберет скорее всего настоящую, а мужчина, который хочет мужчину, вряд ли позарится на таких. Может, именно поэтому они и визжали так пронзительно. Был там парень, который, как говорили, работал на почте, а поздним вечером приходил в бар накрашенный, с серьгами в ушах, со взбитыми в высокую причёску густыми русыми волосами. Иногда он появлялся в юбке и в туфлях на высоких каблуках. Обычно он стоял один, если Гийом не подходил его подразнить. Говорили, что он добрый парень, но, признаться, от этой карикатурности его облика мне всегда становилось не по себе. Возможно, то же самое испытывают люди, которых начинает выворачивать наизнанку при виде обезьян, поedaющих собственные экскременты. Они бы, может, и не так это переживали, если бы обезьяны не были — так утрировано — похожи на людей.

Этот бар находился почти в моём quartier⁷, и я много раз завтракал в близлежащем кафе для работяг, куда перебирались все этиочные птицы, когда закрывались другие бары. Иногда я бывал там с Хеллой, иногда один. В баре Гийома я тоже был два или три раза, однажды — в стельку пьяный. Меня обвинили потом, что я произвёл некоторую сенсацию тем, что заигрывал с каким-то солдатом. К счастью, воспоминания мои об этом вечере были весьма туманными, и я стал считать, что как бы пьян я ни был тогда, я ни в коем случае не позволил бы себе подобное. Но меня там уже знали, и я подозревал, что некоторые заключали пари по поводу меня, как если бы они были старшими членами некого странного и сурового религиозного ордена и наблюдали за мной с тем, чтобы с помощью определённых, понятных лишь им признаков сделать вывод о том, насколько истинно было моё призвание.

Жак уже знал, знал и я, когда мы протискивались внутрь бара, будто входя в магнитное поле или приближаясь к маленькому раскалённому кругу, что там был новый бармен. Высокомерный, темноволосый, по-львиному гибкий, он стоял,

⁵ завсегдатаи (фр.)

⁶ дурочки (фр.)

⁷ квартале (фр.)

облокотившись на кассу и поглаживая пальцами подбородок, разглядывал посетителей. Казалось, стойка была ему мысом, а мы все — морем.

Жака сразу потянуло к нему. Я чувствовал, что он готовится, так сказать, к штурму. Я понимал, что следует быть терпимым.

— Уверен, — сказал я, — что ты захочешь узнать бармена поближе. Поэтому я исчезну, когда пожелаешь.

В этой моей терпимости была доля — и немалая — холодного расчёта: я рассчитывал на подобное, когда позвонил ему, чтобы занять денег. Я знал, что Жак может надеяться заполучить стоящего перед нами парня только в том случае, если парень продаётся и покупается. Но уж коли он стоял с такой самонадеянностью на этом аукционе, то значит мог рассчитывать на покупателей побогаче и помиловиднее Жака. Знал я, что и Жак понимал это. Но я знал и другое. То, что показное расположение Жака ко мне связано на самом деле с одним желанием — желанием со мной разделаться и вскоре начать меня презирать, как он презирал теперь целую армию молодых людей, шедших — без любви — к нему в постель. Я противился этому желанию тем, что прикидывался будто мы с ним друзья, и тем, что заставлял Жака — под страхом унижения — делать то же самое. Я притворялся, будто не замечаю (хоть и пользовался ею) недремлющую похоть в его блестевших, упрекающих глазах, и с помощью грубой мужской прямоты, дававшей понять, что он должен оставить всякую надежду, без конца заставлял его надеяться. И наконец я знал, что в подобного рода баре я был для Жака чем-то вроде защиты. Пока я был там, все могли видеть (а сам он мог поверить), что Жак пришёл со мной, своим другом, что он был там не из отчаяния, что не находился в полной зависимости от какого-то везения, жестокости или всего того, что душевное и физическое ничтожество ему уготовило.

— Никуда ты не пойдёшь, — сказал Жак. — Я буду поглядывать на него время от времени, а разговаривать буду с тобой. Так я и деньги сэкономлю, и удовольствие какое-то получу.

— Интересно, где Гийом его отыскал, — ответил я, поскольку парень был до такой степени тем типом, о котором Гийом всегда мечтал, что с трудом верилось в то, что ему могло так повезти.

— Чего желаете? — спросил он нас.

По тону было ясно, что, хотя он и не говорил по-английски, он знал, что мы говорили о нём и надеялся, что мы уже закончили.

— Une fine à l'eau⁸, — ответил я.

— Un cognac sec⁹, — сказал Жак.

Оба мы проговорили это слишком быстро, так что я покраснел и, пока он нас обслуживал, по лёгкой усмешке Джованни понял, что он заметил это.

Жак, делая вид, что не понял значения улыбки Джованни, сразу воспользовался ею.

— Вы здесь новенький? — спросил он по-английски.

Джованни почти наверняка понял вопрос, но его больше устраивало недоумённо перевести взгляд с Жака на меня, потом снова на Жака. Жак перевёл. Джованни пожал плечами.

— Уже месяц, — сказал он.

Зная, к чему ведёт этот разговор, я, опустив глаза, попивал свой коньяк.

— Вам должно быть здесь, — продолжал Жак, утяжеляя лёгкий намёк, — очень странно.

— Странно? — откликнулся Джованни. — Почему же?

Жак захихикал. Мне вдруг стало стыдно за то, что я был с ним.

⁸ Лучший коньяк с ледяной крошкой (фр.)

⁹ Чистый коньяк (фр.)

— Здесь столько мужчин, — произнёс он со вздохом (я знал этот голос — без дыхания, вкрадчивый, выше, чем у любой девицы, горячий, намекающий, но в то же время абсолютно недвижимый, полный смертоносного жара, нависающего над болотистой почвой в июле), — столько мужчин и почти нет женщин. Вам не кажется это странным?

— А..., — сказал Джованни и отвернулся, чтобы обслужить другого клиента, — женщины, без сомнения, ждут их дома.

— Уверен, что одна из них ждёт вас, — продолжал настаивать Жак, но Джованни ничего на это не ответил.

— Ну вот. Это не было слишком долго, — заключил Жак, обращаясь наполовину ко мне, наполовину к тому пространству, которое только что заключало в себе Джованни. — Доволен, что остался? Теперь я весь твой.

— Ты всё делаешь не так, — сказал я. — Он без ума от тебя. Просто не хочет выдать своё волнение. Скажи, пусть нальёт ещё. Поинтересуйся, где он любит покупать себе одежду. Поведай ему о той чудесной маленькой «Альфа-Ромео», которую тебе до смерти хочется подарить какому-нибудь стоящему бармену.

— Очень смешно, — сказал Жак.

— Что поделаешь? Хилое сердце никогда не завоюет прекрасного атлета, это уж точно.

— Всё равно я уверен, что он спит с девицами. Все они такие, сам знаешь.

— Я слышал о парнях, которые этим занимаются. Маленькие противные чудовища.

Некоторое время мы стояли молча.

— А почему бы тебе не пригласить его выпить с нами? — предложил Жак.

Я взглянул на него.

— Почему? Знаешь, тебе, может, трудно в это поверить, но я и сам приволакиваюсь за девицами. Если бы здесь была его сестра, такая же смазливая, её я бы пригласил с нами выпить. Я не трачу денег на мужчин.

Я видел, что Жак еле сдерживается, чтобы не сказать, что на себя я позволяю мужчинам тратить деньги. Я наблюдал за этой борьбой, едва улыбаясь, поскольку был уверен, что он ничего не скажет. Затем он произнёс со своей бравурной бодрящей улыбкой:

— Я и не предполагал, что ты подвергнешь опасности хотя бы на мгновение свою... — он сделал паузу, — свою незапятнанную мужественность, составляющую всю твою гордость и счастье. Я всего лишь подумал, что будет лучше, если ты его пригласишь, поскольку мне он почти наверняка откажет.

— Но прикинь всё-таки, — сказал я с ухмылкой, — какая это будет двусмысленность. Он посчитает, что это я жажду его плоти. А что будет потом?

— Если возникнет какая-либо двусмысленность, — ответил Жак с достоинством, — я буду счастлив её развеять.

Мы смирили друг друга взглядом. Затем я рассмеялся.

— Подожди, пока он вернётся. Надеюсь, он выберет магnum¹⁰ самого дорогого шампанского во Франции.

Я отвернулся, навалившись на стойку. В душе я ощущал какое-то ликование. Жак стоял рядом со мной очень тихо, вдруг став немощным и старым, и я испытал быстрое, острое и пугающее чувство жалости к нему. Джованни обслуживал в зале сидящих за столиками, потом вернулся за стойку, улыбаясь чуть мрачновато и неся нагруженный поднос.

— Может, — сказал я, — будет естественнее, если у нас будут пустые рюмки.

Мы допили. Я поставил свою рюмку.

— Бармен! — позвал я.

¹⁰ Большая бутылка примерно в 2,5 литра (здесь и далее примеч. переводчика).

— Повторить?

— Да...

Он уже собирался отойти.

— Бармен, — выпалил я, — мы хотели бы предложить вам выпить с нами, если вы не против.

— Eh bien! — воскликнул голос позади нас. — C'est fort ça!¹¹ Ты не только наконец (и слава богу!) совратил этого прекрасного американского регбиста, но ещё и пользуешься им, чтобы растлить моего бармена. Vraiment, Jacques!¹² В твоём-то возрасте!

У нас за спиной стоял Гийом, скалящий зубы, как кинодива, и размахивающий длинной белой салфеткой, без которой его никогда не видели в баре. Жак повернулся, страшно довольный тем, что его обвинили в такой незаурядной соблазнительности, и они с Гийомом бросились друг другу в объятия, как две старые экзальтированные девицы.

— Eh bien, ma chérie, comment vas-tu?¹³ Давно я тебя не видел.

— Я был ужасно занят, — сказал Жак.

— Не сомневаюсь! И не стыдно тебе, vieille folle?¹⁴

— Et toi?¹⁵ Ты уж, конечно, не терял времени даром.

И Жак бросил восторженный взгляд в сторону Джованни, как если бы он был скакуном редкой породы или редкостной частью фарфорового сервиса. Гийом проследил за взглядом Жака и сказал упавшим голосом:

— Ah, ça, mon cher, c'est strictement du business, comprends-tu?¹⁶

Они немного отошли. И меня вдруг окружило страшное молчание. В конце концов я поднял глаза и посмотрел на Джованни, который наблюдал за мной.

— Кажется, вы хотели угостить меня, — сказал он.

— Да. Возьмите себе что-нибудь.

— Я не пью спиртного на работе, поэтому налью себе кока-колы.

Он взял мою рюмку.

— А вам? То же самое?

— Да, то же.

Я ощутил, что мне приятно с ним разговаривать, и это чувство испугало меня. Я ощущал какую-то угрозу, поскольку Жака уже не было рядом. Потом я понял, что мне придётся платить — хотя бы за эту рюмку: не мог же я дёрнуть Жака за рукав, будто я у него на содержании. Я кашлянул и положил на стойку купюру в десять тысяч франков.

— Так богаты, — сказал Джованни, ставя передо мной рюмку.

— Нет, вовсе нет. Просто у меня нет мелких денег.

Он улыбнулся. Не могу сказать, улыбнулся ли он, думая, что я лгу, или потому что понял, что я говорю правду. Он молча взял деньги, пробил чек и аккуратно выложил передо мной сдачу. Потом наполнил свой стакан и встал, как прежде, облокотившись на кассу. Я почувствовал, как что-то сжалось у меня в груди.

— A la vôtre!¹⁷ — сказал он.

— A la vôtre.

Мы выпили.

— Вы американец? — спросил он наконец.

¹¹ Ну вот! (...) Так оно и есть! (фр.)

¹² В самом деле, Жак! (фр.)

¹³ Ну что, моя милочка, как поживаешь? (фр.)

¹⁴ Старая дурочка? (фр.)

¹⁵ А ты? (фр.)

¹⁶ А, ты об этом, дорогой? Это связано лишь с работой, понимаешь? (фр.)

¹⁷ Ваше здоровье (фр.)

— Да, из Нью-Йорка.

— О! Мне говорили, что это очень красивый город. Красивее Парижа?

— Ну нет, — сказал я. — *Нет* города красивее Парижа.

— Кажется, что одно предположение, что другой город может быть красивее, способно вас рассердить, — сказал Джованни с улыбкой. — Простите меня. Я не хотел показаться еретиком.

Затем добавил более серьёзно и так, будто желал успокоить меня:

— Вы, должно быть, очень любите Париж.

— Я и Нью-Йорк люблю, — сказал я, чувствуя с беспокойством, что у меня в голосе зазвучали нотки самообороны, — но Нью-Йорк очень хорош совершенно в ином духе.

Он сдвинул брови.

— В каком?

— Его невозможно себе представить, не увидев ни разу. Он весь — высота, новизна, неон. Он будоражит...

Я помолчал.

— Трудно это описать. Это просто двадцатый век.

— Вы находитите, что Париж *не* из этого века? — спросил он с улыбкой.

От этой улыбки я чувствовал себя как-то глуповато.

— Ну Париж ведь *старый* город, в нём вереница столетий. Здесь чувствуешь всё то время, которое ушло. Это не то, что *ощущаешь* в Нью-Йорке...

Он улыбался. Я умолк.

— А что вы чувствуете в Нью-Йорке? — спросил он.

— Пожалуй, чувствую всё то время, которое *ещё* придёт. Там во всём какая-то сила и всё в движении. Невозможно не задуматься (*мне* невозможно), каким всё это будет через много лет.

— Через много лет? Когда нас не будет, а Нью-Йорк станет старым?

— Да, — ответил я. — Когда все устанут. Когда мир — для американцев — станет не таким новым.

— Не понимаю, почему мир такой новый для американцев, — сказал Джованни.

— В конце концов, почти все вы эмигранты. И вы покинули Европу не так давно.

— Океан очень велик. Мы вели не ту жизнь, что вы, и с нами случалось то, что никогда не случалось здесь с вами. Вы понимаете, конечно, что это должно было сделать нас другими людьми?

— Ах, если бы это сделало вас всего лишь другими людьми! — сказал он со смехом. — Но вы, кажется, превратились в другой вид двуногих. Не обитаете ли вы на другой планете, а? Это могло бы, мне кажется, всё объяснить.

— Должен сказать, — сказал я немного запальчиво, поскольку не люблю, когда надо мной смеются, — что иногда похоже, будто именно так мы о себе и думаем. Но мы *всё-таки* не инопланетяне, нет. Так же, как вы, мой друг.

Он снова улыбнулся.

— Не буду оспаривать этот досадный факт.

Мы немного помолчали. Джованни отошёл обслуживать посетителей в разных концах бара. Гийом и Жак всё *ещё* разговаривали. Похоже было, что Гийом завёл один из своих нескончаемых анекдотов — тех, что неизменно вертятся вокруг опасностей, подстерегающих в любви и в бизнесе, — поскольку рот Жака был растянут в слегка болезненной улыбке. Я видел, что ему до смерти хочется вернуться к стойке.

Джованни снова появился передо мной и принялся протирать стойку влажной тряпкой.

— Американцы смешные. У вас странное восприятие времени — или, пожалуй, вы не воспринимаете его вообще, не знаю. *Chez vous*¹⁸ время всегда похоже на

¹⁸ У вас (фр.)

парад — на триумфальный парад, как будто армия с развевающимися знамёнами входит в город. Как будто времени так много, что американцам оно и не очень-то нужно, *n'est-ce pas?*¹⁹

Он посмотрел на меня насмешливо и улыбнулся, но я ничего не ответил.

— Так вот, — продолжал он, — кажется, что при наличии достаточного времени, при всей устрашающей энергии и всех ваших достоинствах, всё будет устроено, разрешено и поставлено на своё место. И когда я говорю «всё», — добавил он мрачно, — я имею в виду такие серьёзные и страшные вещи, как боль, смерть и любовь, в которые вы, американцы, не верите.

— Почему вы думаете, что мы не верим? А во что верите вы?

— Я не верю в эту чушь по поводу времени. Время у всех общее, как вода для рыб. Все в той же воде, а если кто и попытается оказаться вне её, с ним случится то же, что с рыбой, — он погибнет. А знаете ли вы, что происходит в этой воде, во времени? Большие рыбы поедают маленьких. Вот и всё. Большие рыбы жрут маленьких, а океану наплевать.

— Бросьте, пожалуйста, — сказал я. — В это я не верю. Время — не вода, мы — не рыбы, и у вас есть выбор: быть съеденным или не быть самому. Не есть, — добавил я поспешно, немного покраснев от его довольной сарднической улыбки, — маленьких рыб, разумеется.

— Выбор! — возмутился Джованни, отвернув от меня лицо и, казалось, обращаясь к невидимому союзнику, давно подслушивающему весь разговор.

— Выбор!

Он снова повернулся ко мне.

— Да, вы настоящий американец. *J'adore votre enthousiasme!*²⁰

— А я обожаю ваш, — заметил я вежливо, — хотя он и помрачнее моего оттенка.

— Так или иначе, — сказал он мягко, — я не знаю, что ещё можно делать с маленькими рыбками, кроме как поедать их. На что ещё они годны?

— В нашей стране, — начал я не вполне уверенно, — мелкие рыбёшки вроде бы объединились и покусывают кита.

— От этого они не станут китами, — возразил Джованни. — Единственным результатом этого покусывания будет то, что величие перестанет существовать где-либо в мире, даже на дне морском.

— Именно это вы имеете против нас? Что у нас нет величия?

Он улыбнулся — улыбнулся так, как улыбаются неравному по силе противнику, готовясь отказаться от противоборства.

— *Peut-être*²¹.

— Да вы здесь просто невыносимы, — сказал я. — Это вы убили величие прямо здесь, в этом городе — камнями ваших мостовых. А ещё толкуете о маленьких рыбках!..

Он продолжал усмехаться. Я замолчал.

— Не останавливайтесь, — сказал он всё с той же улыбкой. — Я слушаю.

Я допил коньяк.

— Это вы свалили на нас всё своё *merde*²², — проговорил я угрюмо, — а теперь говорите, что мы варвары, потому что от нас воняет.

Он пришёл в восторг от моей угрюмости.

— Вы очаровательны, — сказал он. — Вы всегда так разговариваете?

— Нет, — ответил я и опустил глаза. — Почти никогда.

¹⁹ Не так ли? (фр.)

²⁰ Обожаю ваш энтузиазм! (фр.)

²¹ Может быть (фр.)

²² Дерьмо (фр.)

В нём появилась какая-то кокетливость.

— Тогда я польщён, — сказал он с внезапной, приводящей в замешательство серьёзностью, таившей в себе, тем не менее, тончайший привкус насмешки.

— А вы, — выговорил я наконец, — вы уже давно здесь? Вам нравится Париж?

Он колебался одно мгновение, потом разулыбался, вдруг став по-мальчишески робким.

— Зимой здесь холодно. Мне это не нравится. А парижане — мне кажется, что они не слишком дружелюбны. А вам?

Он не стал ждать ответа.

— Они не похожи на тех, кого я знал, когда был моложе. В Италии мы сердечнее, мы танцуем, поём и любим. А эти, — и он посмотрел в зал, потом на меня, потом допил кока-колу, — они холодные. Я не понимаю их.

— А французы говорят, — стал я язвить, — что итальянцы слишком расплывчаты, слишком изменчивы, что у них нет чувства меры...

— Меры! — вскрикнул Джованни. — Ох уж эти мне обладатели чувства меры! Они считают каждый грамм, отмеривают сантиметр, эти люди; они складывают сэкономленные крохи в пачку, бумажка за бумажкой, год за годом — в чулок или под матрас. И что им остаётся от этой меры? Страна, которая разваливается на части, очень размеренно, у них на глазах. Мера... Мне не хочется оскорблять ваш слух наименованием всего, что, я уверен, эти люди отмеривают, прежде чем решиться хоть на что-то. Могу я теперь вас угостить, — спросил он неожиданно, — пока старик не вернулся? Кто он? Ваш дядя?

Я не знал, используется ли «дядя» в качестве эвфемизма. И почувствовал острое желание объяснить своё положение, но не мог придумать, как это повернуть. Я засмеялся.

— Нет, не дядя. Просто знакомый.

Джованни посмотрел на меня. И от этого взгляда я понял, что ещё никто за всю жизнь не смотрел мне по-настоящему в глаза.

— Надеюсь, он вам не очень дорог, — сказал он с улыбкой, — потому что он кажется мне глуповатым. Неплохой человек, понимаете, просто глуповатый.

— Пожалуй, — сказал я и сразу почувствовал себя предателем. — Он вообще ничего, — поспешил я добавить, — добрый малый. («Это тоже неправда, — думал я. — Он далёк от того, чтобы быть добрым».) — Во всяком случае он, разумеется, мне вовсе не дорог.

Я снова вдруг почувствовал это странное стеснение в груди и удивился звуку своего голоса.

Джованни осторожно наполнил мою рюмку.

— Vive l'Amérique²³, — сказал он.

— Спасибо.

Я поднял рюмку.

Vive le vieux continent²⁴.

Мы помолчали немного.

— Вы часто здесь бываете? — спросил Джованни неожиданно.

— Нет, не слишком часто.

— Но будете приходить, — поддразнивал он с чудесным насмешливым светом во взгляде, — чаще теперь?

Я запнулся:

— Почему?

— Ох! — вскрикнул он. — Вы что не понимаете, что приобрели только что друга?

²³ Да здравствует Америка (фр.)

²⁴ Да здравствует старый континент (фр.)

Я понимал, что выглядел глупо и что вопрос мой был глупым:

— Так быстро?

— Почему бы и нет, — возразил он с резонным видом и взглянул на свои часы.

— Мы можем подождать ещё час, если хотите. И тогда уже точно станем друзьями. Или подождать до закрытия и стать друзьями тогда. Или же подождать до завтра, только это означало бы, что вам придётся вернуться сюда завтра, а у вас, возможно, есть другие дела.

Он убрал часы и облокотился обеими руками на стойку.

— Объясните мне, что это за странная штука — времяя? Почему лучше позже, чем раньше? Всегда говорят: нужно подождать, нужно подождать. Чего все ждут?

— Ну я думаю, — ответил я, чувствуя, что Джованни заводит меня в глубокие и опасные воды, — ждут, пока уверятся в своих чувствах.

— Пока уверятся?

Он снова повернулся к невидимому единомышленнику и опять засмеялся. Этот его фантом уже, кажется, начал действовать мне на нервы, но смех Джованни в этом удушливом туннеле прозвучал совершенно невероятно.

— Ясно, что вы настоящий философ.

Он указал пальцем на моё сердце.

— А если вы уже подождали, делает ли это вас уверенным?

На это я просто не мог составить никакого ответа. Из тёмного, битком набитого народом центра бара кто-то крикнул: «Garçon!»²⁵, и он с улыбкой пошёл на этот голос.

— Теперь вы можете подождать. А когда я вернусь, скажете, насколько вы стали уверены.

Он подхватил свой круглый металлический поднос и ушёл в толпу. А я наблюдал лица, наблюдавшие за ним. И тогда мне стало страшно. Я понял, что они следили, всё время следили за нами. Они знали, что были свидетелями пролога, и теперь не успокоятся, пока не увидят финал. Это происходило постепенно, но теперь за столиками уже повернулись: я оказался в клетке, а они наблюдали.

Я оставался у стойки довольно долго в одиночестве, поскольку Жак, избавившись от Гийома, оказался, бедняга, в плена двух лезвиеподобных молодых людей. Джованни вернулся на мгновение и подмигнул мне.

— Уже уверены?

— Ваша взяла. Это вы — философ.

— О, вы должны подождать ещё немного. Вы недостаточно хорошо меня знаете, чтобы прийти к такому выводу.

Он нагрузил свой поднос и снова исчез.

И тогда кто-то, кого я прежде никогда не видел, вышел на меня из мрака. Это напоминало мумию или зомби — таково было первое непреодолимое впечатление — или нечто, что продолжало ходить после того, как было умерщвлено. Это создание действительно передвигалось, как лунатик или фигуры на экране в замедленной съёмке. Держа в руке стакан, оно перемещалось на цыпочках, отчего его плоские бёдра колыхались с ужасающей загробной похотливостью. Оно скользило бесшумно из-за стоящего в баре гула, который напоминал отдалённый шум ночного моря. Оно поблескивало в полумраке. Редкие чёрные волосы были густо смазаны фиксатуаром и зачёсаны чёлкой на лоб, ресницы посверкивали от туши, рот алел помадой. Лицо было белым, совершенно бескровным от какого-то крема. От него несло пудрой и напоминающими гардению духами. Рубашка, кокетливо расстёгнутая до пупа, открывала безволосую грудь с серебряным крестом. Эта рубашка была отделана тонкими, как папиросная бумага, фестонами красного, зелёного, оранжевого, жёлтого и голубого цветов, горевшими на свету и создавав-

²⁵ Официант! (фр.)

шими впечатление, что мумия может вот-вот сгинуть в их пламени. Талия была затянута красным поясом, но облегающие брюки были на удивление тусклого серого цвета. На туфлях сверкали пряжки.

Я не был уверен, что он направляется ко мне, но не мог отвести от него глаз. Он остановился передо мной, уперев руку в бедро, смерил меня взглядом с ног до головы и улыбнулся. Пахнуло чесноком. Зубы были гнилые. С содроганием я заметил, что руки у него большие и сильные.

— Eh bien, — сказал он, — il te plaît?²⁶

— Comment?²⁷ — переспросил я.

Я действительно не был уверен, что понял правильно, хотя его дико сверкающие глаза, казалось, разглядывавшие что-то занятное внутри моего черепа, не оставляли сомнения в сказанном.

— Он тебе нравится, бармен?

Я не понимал, что отвечать и что делать. Было немыслимо ни ударить его, ни рассердиться. Всё было нереально, и он был нереален. Кроме того, что бы я ни ответил, эти глаза высмеяли бы это. Я произнёс так грубо, как мог:

— А какое вам до этого дело?

— Мне, милый, нет до этого дела. Je m'en fou²⁸.

— Тогда, пожалуйста, идите отсюда ко всем чертям.

Он не двинулся с места и снова улыбнулся мне.

— Il est dangereux, tu sais²⁹. А для такого, как ты, он очень опасен.

Я посмотрел на него и чуть не спросил, что он имеет в виду.

— Отправляйтесь к чёрту в пекло, — огрызнулся я и повернулся к нему спиной.

— Как бы не так, — сказал он.

Я снова посмотрел на него. Он хохотал, обнажив все свои зубы, а оставалось их не так уж много.

— Нет-нет, я не пойду в пекло, — сказал он, ударив широкой ладонью по кресту на груди. — Но ты, мой милый, будешь, я боюсь, корчиться в очень жарком пламени.

Он опять захохотал.

— В таком огне!..

Он тронул свой лоб.

— Вот здесь.

И он скорчился, словно под пыткой.

— Везде.

Он положил руку себе на сердце.

— И здесь.

В его взгляде сверкали злоба, издёвка и ещё что-то. Он смотрел так, будто я находился очень далеко от него.

— О мой бедный друг, такой молодой, такой крепкий, такой миловидный, не возьмёшь ли мне чего-нибудь выпить?

— Va te faire foutre³⁰.

Его лицо исказилось гримасой скорби младенцев и древних старцев — скорби некоторых стареющих актрис, прославившихся в своей юности хрупкой, почти детской красотой. Тёмные глаза сузились от злобы и бешенства, а углы кровавого рта опустились вниз, как у трагической маски.

— T'auras du chagrin³¹, — сказал он. — Ты ещё хлебнёшь горя. Помни, что я тебе сказал.

²⁶ Ну что, он тебе нравится? (фр.)

²⁷ Что? (фр.)

²⁸ Мне наплевать (фр.)

²⁹ Знаешь, он опасный (фр.)

³⁰ Да пошёл ты... (фр.)

³¹ Тебя ждёт несчастье (фр.)

Он выпрямился, словно принцесса, и отошёл в толпу, пылая рубахой.

Голос Жака неожиданно прозвучал рядом:

— В баре говорят лишь о том, как жарко закрутилось у вас с барменом.

Он улыбнулся мне сияющей и мстительной улыбкой.

— Никакой двусмысленности, конечно, не было?

Я взглянул на него. Мне хотелось что-то сотворить с его радостным, отвратным, порочным лицом, чтобы оно никогда уже не улыбалось никому так, как улыбалось мне. Мне захотелось вырваться из этого бара, вздохнуть на воздухе, может быть, найти Хеллу, мою девушку, оказавшуюся вдруг в большой беде.

— Никакой двусмысленности не было, — отрезал я. — Может, это у тебя что-то помутилось в голове?

— Могу с уверенностью сказать, — ответил Жак, — что у меня в голове ещё никогда не было так ясно.

Он перестал улыбаться и посмотрел на меня холодно, с горечью и безразлично.

— Но несмотря на риск потерять навсегда твою столь невероятно искреннюю дружбу, позволь мне заметить тебе следующее. Двусмысленность — это роскошь, которую могут себе позволить только очень-очень молодые, а ты не так уж и юн.

— Не понимаю, о чём ты говоришь, — сказал я. — Давай лучше выпьем.

Я чувствовал, что мне лучше напиться. Джованни снова вернулся за стойку и подмигнул мне. Взгляд Жака не покидал моего лица. Я резко отвернулся от него лицом к стойке. Он сделал то же.

— Повторите, — сказал Жак.

— Ну вот, — откликнулся Джованни, — так держать.

Он наполнил наши рюмки. Жак расплатился. Думаю, что я не выглядел слишком хорошо, потому что Джованни бросил мне игриво:

— Эй! Вы уже набрались?

Я поднял голову и улыбнулся ему.

— Знаете, как пьют американцы? Я даже ещё не начинал.

— Дэвид ещё далеко не пьян, — сказал Жак. — Он лишь горестно размышляет о том, что ему понадобятся новые подтяжки.

Я готов был убить Жака. И, тем не менее, с трудом удержался от смеха. Я дал понять Джованни гримасой, что старик отпустил скабрезную шутку, и он снова исчез. Наступило то время, когда посетители уходили целыми стаями, и новые занимали их место. Все они так или иначе встречаются позже в последнем открытом баре — все, кто достаточно несчастен для того, чтобы ещё искать чего-то в такой поздний час.

Я не мог смотреть на Жака, и он это понимал. Стоя рядом и улыбаясь неизвестно чему, он мурлыкал какую-то мелодию себе под нос. Мне нечего было сказать. Я не смел упоминать Хеллу. Даже себе я не мог лгать, что мне жаль, что она сейчас в Испании. Я был рад этому. Чрезмерно, безнадёжно, ужасно рад. Я знал, что ничем не смогу усмирить то дикое возбуждение, что ворвалось в меня, как шквал. Я мог лишь пить, слабо надеясь, что буря порастратит таким образом свой напор и остановит разорение моих владений. Но мне было радостно. Я жалел лишь о том, что Жак был свидетелем всего этого. Мне было стыдно из-за него. И я его ненавидел за то, что он дождался всего, чего желал, на что смутно надеялся долгие месяцы. На самом деле мы играли в смертельно опасную игру, и он выиграл. Выиграл — несмотря на всю мою нечистую игру.

Стоя в этом баре, я всё ещё надеялся, что найду в себе силы повернуться и выйти, добраться хотя бы до Монпарнаса и взять девушку. Любую девушку. Но я не мог этого сделать. Я рассказывал себе всякие басни, стоя там, в баре, но оставался пригвождённым к месту. Так было отчасти потому, что я знал, что всё это уже не имеет значения, как не имело значения то, буду ли я ещё когда-нибудь говорить с Джованни. Потому что они стали очевидными, столь же очевид-

ными, как фестоны на рубашке пламенеющей принцессы, они бушевали во мне — мои проснувшиеся, мои настойчивые возможности.

Так я встретил Джованни. Думаю, мы соединились в первый же момент нашей встречи. Мы и сейчас слиты воедино, несмотря на последующее *séparation de corps*³², несмотря на то, что Джованни скоро начнёт разлагаться в неосвящённой земле где-то под Парижем. И до самой смерти пребудут со мной эти мгновения, мгновения, которые, кажется, встают из земли, как ведьмы в «Макбете», — пока его лицо не всплыёт передо мной во всех оттенках его выражения, пока тот самый тембр его голоса и любимые словечки почти не разорвут мне уши, пока его запах не переполнит мне ноздри. Когда-нибудь, в тех грядущих днях, — Бог пошлёт мне милость прожить их, — в сиянии серого утра, с пересохшим ртом, с воспалёнными красными веками, со спутанными и слипшимися от пота после бурной ночи волосами, сидя над чашкой кофе с сигаретой в руке напротив непроницаемого, ничего не значащего юноши минувшей ночи, который сейчас встанет и растворится, как дым, я снова увижу Джованни таким, каким он был в ту ночь, таким живым, таким всепобеждающим, возникшим из света того тёмного туннеля, в чью ловушку угодила его голова.

3

В пять часов утра Гийом закрыл за нами двери бара. Улицы были пустынными и серыми. На углу, рядом с баром, уже открыл свою лавку мясник. Его было видно внутри — уже забрызганного кровью, рубящего туши. Большой зелёный парижский автобус промыкал мимо, почти пустой, указывая бешено мигающим сигналом, что собирается повернуть. *Garçon de café*³³ выплеснул воду на тротуар перед своим заведением и согнал её в сточную канаву. В конце длинной, кривой улицы перед нами виднелись деревья бульвара, плетеные стулья, составленные друг на друга перед кафе, и высокий каменный шпиль Сен-Жермен-де-Пре — самый великолепный, как считали мы с Хеллой, шпиль в городе. Улица, пересекавшая *place*³⁴, тянулась с одной стороны до самой Сены, а с другой — извивалась до Монпарнаса. Она носит имя одного авантюриста, посевшего в Европе то, что пожинают по сей день³⁵. Я часто бродил вдоль этой улицы, иногда с Хеллой, по направлению к реке, но чаще без неё — по направлению к девицам Монпарнаса. Было это не так давно, но в то утро казалось, что совсем в другой жизни.

Мы направлялись к *Les Halles*³⁶, чтобы позавтракать. Все четверо мы сели в такси, с неприязнью прижавшись друг к другу, что не преминуло вызвать целый поток непристойных шуточек со стороны Жака и Гийома. Их вульгарность была неприятна тем, что острот не получалось и что была она выражением презрения к себе и к другим; она выплескивалась из них, как гнилая вода. Было очевидно, что они испытывали танталовы муки по поводу меня и Джованни, и это выводило меня из себя. Джованни же откинулся к заднему стеклу и, легонько толкая меня рукой в плечо, давал понять, что скоро мы избавимся от этих стариков и что брызги этой мутной воды не должны нас беспокоить, поскольку мы всё это легко с себя смоем.

— Смотри, — сказал Джованни, когда мы пересекали реку по мосту, — этот старый блудник Париж так трогателен, когда ворочается в кровати.

³² Раздельное проживание супружеского (букв.: разделение тел) (фр., юридич.)

³³ Официант из кафе (фр.)

³⁴ Площадь (фр.)

³⁵ Имеется в виду улица Бонапарта.

³⁶ Главный рынок, т.н.чрево Парижа; разрушен в 70-х гг.

Я взглянул за его тяжёлый профиль, серый от усталости и цвета небес над нами. Река набухла и пожелтела. Ничто на ней не двигалось. Пришвартованные баржи стояли вдоль набережных. Остров Сите удалялся от нас, унося на себе тяжесть собора³⁷; за ним — призрачно из-за скорости и тумана — проступали крыши жилых домов, мириады крыш с низкими трубами, прекрасными и разноцветными от жемчужного неба. Туман прирос к реке, смягчая очертания этой армии деревьев, смягчая эти камни, пряча странные штопорообразные аллеи и тупиковые улочки, прирос, как проклятие, к этим людям, спящим под мостами; один из них промелькнул под нами — чёрный и одинокий, бредущий вдоль реки.

— Одни крысы спрятались, — сказал Джованни, — другие теперь выползают наружу.

Он вяло улыбнулся и посмотрел на меня. Неожиданно для меня он взял мою руку и оставил её в своей.

— Тебе не приходилось спать под мостом? — спросил он. — Но, возможно, в вашей стране под мостами мягкие постели и тёплые одеяла?

Я не знал, что делать с рукой. Казалось, лучше не шевелиться.

— Пока нет, — сказал я, — но скоро придётся. Меня хотят вышвырнуть из отеля.

Я сказал это мягко, с улыбкой, желая показать, что знаком с тёмной стороной жизни, что мы с ним равны. Но поскольку он держал мою руку в своей, эти слова прозвучали невыносимо беспомощно, нежно и стыдливо. Однако я не мог сказать уже ничего, чтобы изменить это впечатление: добавить что-то означало бы лишь усилить его. Я освободил свою руку как будто для того, чтобы достать сигарету.

Жак дал мне прикурить.

— Где вы живёте? — спросил он Джованни.

— О, далеко, очень далеко отсюда. Это почти уже не Париж.

— Он живёт на жуткой улице около Nation³⁸, — сказал Гийом, — среди всех этих жутких буржуа и их свиноподобных детей.

— Эти дети не попадались тебе в нужном возрасте, — сказал Жак. — У них бывает такой период, очень короткий, *hélás*³⁹, когда свинья — это, пожалуй, единственное животное, которое они не напоминают.

Он снова обратился к Джованни:

— В отеле?

— Нет, — ответил тот, и впервые за всё это время показался смущённым. — Я живу в комнате служанки.

— Со служанкой?

— Нет, — сказал Джованни и улыбнулся. — Я не знаю, где она. Если бы вы увидели мою комнату, то сразу бы поняли, что там и не пахнет служанкой.

— Мне бы очень хотелось, — сказал Жак.

— Тогда мы устроим для вас как-нибудь вечеринку, — сказал Джованни.

Это было сказано слишком вежливо и слишком в лоб для того, чтобы допустить дальнейшие вопросы, но в то же время чуть не вызвало вопрос с моей стороны. Гийом быстро взглянул на Джованни, а тот, не обращая на него внимания, гляделся в утро и что-то насвистывал. За последние шесть часов я только и делал, что принимал решения, и теперь пришёл ещё к одному: прояснить всю эту ситуацию с Джованни сразу же, как только мы останемся в Les Halles вдвоём. Я должен был ему сказать, что он ошибается на мой счёт, но что мы можем остаться друзьями. Но на самом деле я не был уверен, не ошибаюсь ли сам, слепо всё перевиная, и признаться в этом мне было ещё стыдно. Я был в ловушке: как бы я теперь ни изворачивался, час признания неотвратимо приближался, и

³⁷ Нотр-Дам, собор Парижской Богоматери.

³⁸ Площадь недалеко от кольцевой дороги, отделяющей Париж от пригородов.

³⁹ Увы (фр.)

его уже было не избежать, — разве что выпрыгнув на ходу из машины, что само по себе стало бы самым ужасным признанием.

Таксист спросил, куда нам дальше, поскольку мы доехали до запруженных машинами бульваров и боковых улочек с односторонним движением района Les Halles. Лук-порей и просто лук, кабачки, апельсины, яблоки, картошка, цветная капуста — всё это красочными горами громоздилось на тротуаре и на проезжей части перед широкими жестяными навесами. Навесы эти были длиною в квартал, и под ними было навалено ещё больше фруктов и ещё больше овощей; под одними навесами была рыба, под другими — сыры, под третьими — целые туши недавно забитых животных. Трудно было себе представить, что всё это может быть когда-нибудь съедено. Но через несколько часов всё это будет раскуплено, и новые грузовики прибудут со всех концов Франции, пробираясь сюда — к большой выгода улья торговцев средней руки — сквозь весь Париж, чтобы насытить рычащие толпы. Тем, кто рычал, одновременно лаская и раня ухо, впереди, сзади и с обеих сторон машины, наш таксист вместе с Джованни отвечали рычанием. Парижская толпа одета в синее, кажется, в любой день, кроме воскресенья, когда большинство одевается в необычайно праздничный чёрный цвет. Тут они все были в синем, споря за каждый сантиметр проезда и загораживая его своими тележками, ручными повозками, фургонами и неся на спинах доверху набитые корзины, будучи свято уверены в своей правоте. Краснолицая женщина, несущая фрукты, проорала — Джованни, таксисту и всему свету — особенно выразительное *cochonnerie*⁴⁰, на которое и таксист, и Джованни, предельно напрягая лёгкие, ответили, хотя фруктовая дама была уже вне поля нашего зрения и вряд ли помнила высказанную ей особенно неприличную догадку. Мы продолжали пробираться вперёд, поскольку никто ещё не сказал, где остановиться, и Джованни с шофером, которые, казалось, сразу после въезда в Les Halles стали братьями, обменивались впечатлениями, крайне нелестно отзываясь о чистоплотности, манере выражаться, некоторых частях тела и привычках обитателей Парижа. (Жак с Гийомом обменивались куда менее добродушными замечаниями по поводу каждого встречного мужского пола.) На тротуарах поблескивали отбросы, гнилая ботва, выброшенные цветы, фрукты и овощи, которые скапливались в груды естественно и постепенно или же разом. Вдоль стен и по углам выстроились *pissoirs*⁴¹, тускло горящие переносные жаровни, кафе, ресторанчики и жёлтые от дыма бистро, некоторые совершенно крошечные, чуть больше крытого угла в форме гранёного алмаза, заключающие в себе бутылки и оцинкованную стойку. Всё это было наполнено мужчинами — молодыми, старыми, средних лет, сохраняющими солидный вид, — солидный вопреки всем происходящим и происшедшем с ними катастрофам; и женщинами, более чем искусшёнными в искусстве хитрить и терпеть, оценивать и взвешивать, а также — визжать, если им почему-либо понадобится мужская помощь, хотя было очевидно, что они прекрасно обходились и без неё. Ничто здесь не напоминало мне родину, а Джованни всё узнавал и упивался.

— Я знаю, куда надо, — сказал он таксисту. — *Très bon marché*⁴².

Он объяснил ему, где это находится. Выяснилось, что это одно из самых любимых мест таксиста.

— Где это? — раздражённо спросил Жак. — А я думал, мы едем в...

Он назвал другое место.

— Шутишь? — презрительно откликнулся Джованни. — Там очень плохо и очень дорого, это только для туристов. А мы же не туристы.

⁴⁰ Ругательство (букв.: свинство) (фр.)

⁴¹ Писсуары (фр.)

⁴² Там совсем недорого (фр.)

Он повернулся ко мне.

— Когда я только приехал в Париж, я работал в *Les Halles*, и довольно долго. *Nom de Dieu, quel boulot!*⁴³ Я молюсь каждый день, чтобы не пришлось снова так работать.

Он посмотрел на улицы, которые мы проезжали, с грустью, подлинность которой не умаляло то, что она была немного театральной и самоироничной.

Гийом произнёс из своего угла:

— Скажи ему, кто тебя спас.

— О да! Вот мой спаситель и мой *patron*.

Он помолчал немного.

— А вы не жалеете об этом, а? Я не доставляю вам слишком много хлопот? Вы довольны моей работой?

— *Mais oui!*⁴⁴, — сказал Гийом.

Джованни вздохнул.

— *Bien sûr*⁴⁵.

Он снова уставился в окно и снова стал насвистывать. Мы подъехали к совершенно безлюдному месту.

— *Ici*⁴⁶, — сказал таксист.

— *Ici*, — как эхо, повторил Джованни.

Я потянулся за бумажником, но Джованни быстро схватил меня за руку, давая понять сердитым подмигиванием, что эти старые развратники должны по крайней мере платить. Он открыл дверь и вышел из машины. Гийом не двигался, поэтому платить пришлось Жаку.

— Ух, — произнёс Гийом, взглянув на дверь кафе, перед которой мы стояли, — я уверен, что тут полно всякой заразы. Хочешь нас отравить?

— Ты же не на улице будешь есть, — сказал Джованни. — Ты скорее отравишься в тех жутких шикарных заведениях, куда обычно ходишь и где у всех такие чистые лица, *mais, mon Dieu, les fesses!*⁴⁷

Он ухмыльнулся.

— *Fais-moi confiance!*⁴⁸. Зачем мне тебя травить? Я останусь тогда без работы, а я только что понял, как мне хочется жить.

Они обменялись с Гийомом (Джованни продолжал улыбаться) таким взглядом, который я бы не понял, даже если бы осмелился попробовать. Жак, подталкивая нас так, будто мы были его курами, сказал насмешливо:

— Мы не можем стоять на холоде и спорить. Даже если там нельзя есть, там можно пить. Алкоголь убивает микробы. — Гийом вдруг просиял. Это было так неожиданно, будто где-то на нём был спрятан шприц с витаминами, автоматически впрыскивающий их точно в нужный момент.

— *Il y a des jeunes dedans!*⁴⁹, — сказал он, и мы вошли.

Действительно, там было около десятка молодых людей, стоявших за оцинкованной стойкой перед рюмками с красным и белым вином рядом с другими посетителями, отнюдь не молодыми. Веснушчатый парень с весьма вульгарной девицей склонились над игральным автоматом у окна. За столиками в зале сидело несколько человек, и их обслуживал безукоризненно чисто выглядевший официант. В полумраке, на фоне грязных стен и посыпанного опилками пола, его

⁴³ Господи, что за каторга! (фр.)

⁴⁴ Ну да (фр.)

⁴⁵ Конечно (фр.)

⁴⁶ Здесь (фр.)

⁴⁷ Но, прости Господи, не задница! (фр.)

⁴⁸ Доверяйся мне (фр.)

⁴⁹ Там есть молодёжь (фр.)

белый пиджак сверкал, как снег. За столиками в приоткрытую дверь была видна кухня и, разумеется, пузатый повар. Он тяжело передвигался, наподобие одного из тех перегруженных грузовиков на улице. На голове у него был высокий белый колпак, в зубах — потухшая сигара.

За кассой сидела одна из тех совершенно неподражаемых и невыносимых дам, которые являются на свет исключительно в городе Париже (и являются в большом количестве) и которые были бы в любом другом месте такой же невообразимой дикостью, как русалка на вершине горы. По всему городу они восседают над своими кассами, как птицы в гнезде, и высиживают их, как яйца. Ничто из происходящего под тем кусочком неба, где они сидят, не ускользает от их всевидящего ока; и если что-либо их когда-то удивило, то это было во сне, а сны им давно не снятся. Они и не вредные, и не добрые, хотя в разные дни бывает по-разному; они знают, что все якобы чувствуют, когда им надо сходить в туалет, как знают абсолютно всё и обо всех, кто входит в их владения. И хотя одни из них блондинки, другие нет, одни толстые, другие худые, одни уже бабушки, а другие всё ещё старые девы, у них у всех тот же проницательно-отсутствующий всевидящий взгляд. Трудно поверить, что они когда-то со слезами просили грудь или видели солнце. Кажется, они явились на свет с жаждой хрустящих купюр, беспомощно косыми, не в силах сфокусировать свой взгляд, пока не уселись за кассу.

У этой были чёрные с проседью волосы и бретонский тип лица. Она, как почти все стоящие у бара, знала Джованни и по-своему была расположена к нему. У неё была большая вместительная грудь, к которой она и прижала Джованни, и громкий басовитый голос.

— Ah, mon pote!⁵⁰ — вскрикнула она. — Tu es revenu!⁵¹ Наконец-то вернулся! Salaud!⁵² Разбогател, отыскал себе богатых друзей и забыл нас! Canaille!⁵³

Тут она уставилась на нас, «богатых друзей», с чудесно сымитированной дружественной затуманенностью во взоре, и ей не составило бы малейшего труда проследить любой момент нашей биографии — с момента рождения до этого самого утра. Она точно знала, кто из нас богат и насколько, и понимала, что это не я. Возможно, поэтому у неё в глазах мелькнуло мгновенное сомнение, когда она взглянула на меня. Однако она не сомневалась, что сразу всех нас раскусит.

— Ты же знаешь, — сказал Джованни, высвобождаясь и откидывая волосы назад, — когда начинаешь работать и становишься серьёзным, развлекаться некогда.

— Tiens, — сказала она насмешливо. — Sans blague?⁵⁴

— Уверяю тебя. Даже если ты молод, как я, всё равно здорово устаёшь и рано идёшь спать. К тому же один, — сказал Джованни так, будто это всё объясняло, а она продолжала смеяться и прищёлкнула языком от удовольствия.

— А сейчас, — спросила она, — ты пришёл или уходишь? Пришёл позавтракать или выпить чего-нибудь перед сном? Nom de Dieu⁵⁵, выглядишь ты не так уж серьёзно. Думаю, тебе следует выпить.

— Bien sûr, — откликнулся кто-то за стойкой, — после такой тяжёлой работы ему срочно нужна бутылка белого вина и, пожалуй, не одна дюжина устриц.

Все засмеялись. И все незаметно принялись нас рассматривать, так что я почувствовал себя частью бродячего цирка. Казалось, что все очень рады за Джованни. Джованни повернулся на голос.

⁵⁰ Ба, приятель! (фр.)

⁵¹ Ты вернулся! (фр.)

⁵² Подлец! (фр.)

⁵³ Каналья! (фр.)

⁵⁴ Ну да. Шутишь что ли? (фр.)

⁵⁵ Чёрт побери (фр.)

— Прекрасная мысль, приятель. Именно этого мне не хватает.

Он повернулся к нам.

— Я не познакомил тебя с моими друзьями, — сказал он, посмотрев на меня и на кассиршу. — Это мосьё Гийом, — сказал он ей и добавил с тончайшей лестью в голосе: — мой patron. Он может подтвердить, что я стал серьёзен.

— Да, — начала она робко, — но я не знаю, серьёзен ли он.

И она покрыла смехом свою дерзость. Гийом, с трудом отрывая свой взгляд от молодых людей у стойки, протянул руку и улыбнулся.

— Вы правы, мадам, — сказал он. — Он настолько серьёзнее меня, что, боюсь, когда-нибудь станет хозяином моего бара.

«Станет, когда рак на горе свистнет», — подумала она, но изобразила на лице очарованность и энергично пожала ему руку.

— А это мосьё Жак, — продолжал Джованни, — один из наших лучших клиентов.

— Enchanté, madame⁵⁶, — сказал Жак, расплывшись в ослепительной улыбке, на которую она ответила, простодушно её спародировав.

— А это monsieur l'Américain, известный ещё как monsieur David, madame Clotilde⁵⁷, — представил меня Джованни и немного отступил назад. Что-то загорелось у него в глазах и осветило всё лицо радостью и гордостью.

— Je suis ravie, monsieur⁵⁸, — сказала она, посмотрела на меня, улыбнулась и пожала мне руку.

Я тоже улыбался, совершенно не зная почему; всё внутри у меня скакало, как маячик. Джованни беззаботно положил мне руку на плечо.

— А что у вас есть вкусного? — спросил он громко. — Мы голодны.

— Но сначала надо что-нибудь выпить, — откликнулся Жак также громко.

— Мы же можем пить за столиком, а? — спросил Джованни.

— Нет-нет, — сказал Гийом, для которого отойти от стойки в тот момент было, как покинуть землю обетованную. — Сначала выпьем здесь вместе с мадам.

Предложение Гийома возымело тот эффект (но неприметно, словно дуновение ветерка коснулось всего или незаметно усилился свет), что из стоявших в баре образовалась troupe⁵⁹, которая станет теперь разыгрывать разные роли в той пьесе, которую они знают наизусть. Мадам Клотильда должна была заколебаться, что она мгновенно и проделала, но очень ненадолго; затем она согласилась, но на что-то дорогое, и это было шампанское. И вот она потягивала из бокала, ведя какой-то ничтожный разговор с Гийомом, чтобы исчезнуть в ту же секунду, как только Гийому удастся завязать знакомство с одним из парней у стойки. Что же до молодых людей, то каждый из них невидимо прихорашивался, уже подсчитав про себя, сколько ему и его copain⁶⁰ понадобится на ближайшие дни, уже оценив Гийома с точностью до десятой и прикинув, на сколько его хватит как источника, но в то же время и то, как долго они смогут его терпеть. Оставался лишь один вопрос: как с ним поступать — vache или chic⁶¹, но они понимали, что, наверное, лучше vache. Был ещё Жак, который мог оказаться бонусом или же утешительным призом. Был, конечно, ещё и я — нечто совсем иное, не обещающий квартир, пуховых перин или обедов, но всё-таки кандидат в любовники, хотя и недостижимый в качестве môme⁶² Джованни. Практически единственным способом для них показать какую-то симпатию по отношению к нам с Джованни было избавить нас от этих стариков. Таким образом, к тем ролям, которые они подготовились

⁵⁶ Очень рад, мадам (фр.)

⁵⁷ Мосьё американец (...) мосьё Дэвид, мадам Клотильда (фр.)

⁵⁸ Я счастлива, мосьё (фр.)

⁵⁹ Труппа (фр.)

⁶⁰ Дружку (фр.)

⁶¹ по-скотски или прилично (фр.)

⁶² Малыша (фр.)

сыграть, добавилась определённая задорная аура убедительности, а к эгоистическим интересам — некоторый отблеск альтруизма.

Я заказал чёрный кофе и двойной коньяк. Джованни был далеко от меня и пил marc⁶³, стоя между пожилым человеком, сфокусировавшим в себе всю грязь и порочность мира, и рыжеволосым юношем, который когда-нибудь будет выглядеть также, если, конечно, удалось бы прочесть в его тупом взгляде что-то столь же реальное, как будущее. Теперь же в нём было что-то от жутковатой красоты лошади и что-то от солдата-штурмовика; он незаметно наблюдал за Гийомом; он знал, что и Гийом, и Жак наблюдают за ним. Гийом всё ещё болтал с мадам Клотильдой, соглашаясь, что дела идут из рук вон плохо, что всё измельчало с приходом nouveaux riches⁶⁴ и что страна нуждается в де Голле. К счастью, они уже столько раз говорили об этом, что речь струилась, так сказать, сама по себе, не требуя от них ни малейшей концентрации. Жак был уже готов предложить одному из парней выпить за его счёт, но пока предпочитал разыгрывать со мной доброго дядю.

— Как ты себя чувствуешь? — поинтересовался он. — Это очень важный день для тебя.

— Чувствую себя прекрасно. А как ты?
— Как человек, у которого было видение.
— Да? Расскажи мне об этом видении.

— Я не шучу, — сказал он. — Я говорю о тебе. Видением был ты. Видел бы ты себя со стороны этой ночью. Видел бы себя сейчас.

Я посмотрел на него и ничего не ответил.

— Тебе сколько лет? Двадцать шесть? Двадцать семь? Мне почти дважды столько, и позволь тебе сказать, что ты счастливчик. Потому что то, что происходит с тобой, происходит сейчас, а не когда тебе стукнет сорок или что-то в этом роде: тогда у тебя больше не было бы надежды и ты был бы просто уничтожен.

— Что же со мной происходит? — спросил я, стараясь быть ироничным, но никакой иронии в моём голосе не прозвучало.

Он не ответил. Только вздохнул, бегло взглянув на рыжеволосого. Потом повернулся ко мне.

— Ты напишешь Хелле?
— Я пишу ей очень часто. И собираюсь продолжать в том же духе.
— Ты не ответил на мой вопрос.
— Неужели? Мне казалось, ты спросил, собираешься ли я писать Хелле.
— Ладно. Попробуем по-другому. Собираешься ли ты написать Хелле об этой ночи и об этом утре?
— Не понимаю, что было такого, что об этом следует написать. И что тебе до того, напишу я или нет?

Он посмотрел на меня, и в его взгляде было какое-то отчаяние, о котором я не подозревал до сих пор. Оно испугало меня.

— Дело не в том, — начал он, — что мне до этого, а в том, что тебе. И что ей. И что этому бедному парню — вон тому, который не понимает, что когда он смотрит на тебя так, как он смотрит, он просто кладёт свою голову в львиную пасть. Собираешься ли ты обойтись с ним так, как обошёлся со мной?

— С тобой? Какое ты имеешь ко всему этому отношение? И как же я обошёлся с тобой?

— По отношению ко мне ты вёл себя бессовестно, — сказал он. — Ты был очень нечестен.

На этот раз в моём голосе прозвучала-таки ирония:

— Полагаю, ты хочешь сказать, что было бы совестливее с моей стороны, было бы честнее, если бы я... если бы...

⁶³ Коньяк из виноградных выжимок.

⁶⁴ Нуворишей (фр.)

— Я имею в виду, что было бы справедливее, если бы ты презирал меня чуть меньше.

— Прости. Но я думаю, уж коль скоро ты заговорил об этом, что большая часть твоей жизни *действительно* достойна презрения.

— То же можно сказать и о твоей, — сказал Жак. — В жизни так много достойного презрения, что голова идёт кругом. Но больше других заслуживает презрения тот, кто равнодушен к чужой боли. Ты должен всё-таки понимать, что человек, который стоит перед тобой, когда-то был даже моложе тебя и приобрёл свой нынешний жалкий вид совершенно незаметно.

На минуту воцарилось молчание, которое издалека нарушил своим смехом Джованни.

— Скажи, — промолвил я наконец, — ты действительно не можешь по-другому? Всегда должен стоять на коленях перед целой армией мальчишек ради каких-то пяти грязных минут в темноте?

— Подумай лучше, — ответил он, — о мужчинах, стоявших на коленях перед тобой, пока ты думал о чём-то другом и делал вид, что там, в темноте — у тебя между ног — ничего не происходит.

Я рассматривал янтарный коньк в рюмке и влажные круги от неё на металле стойки. И из глубины, утонувшее в этом металле, отражение моего лица беспомощно смотрело на меня.

— Ты считаешь, — настаивал он, — что моя жизнь так же постыдна, как мои связи. А они постыдны. Но спроси себя, почему это так.

— Почему они постыдны?

— Потому что в них нет никакой привязанности, никакой радости. Это всё равно, что вставлять вилку в розетку без тока. Прикосновение есть, но нет контакта. Одно прикосновение, но ни контакта, ни света.

— Почему? — спросил я.

— Об этом ты должен спросить себя. Тогда, возможно, это утро в один прекрасный день не станет пеплом у тебя во рту.

Я посмотрел на Джованни, обнимавшего в этот момент одной рукой пропащую девицу, которая когда-то была очень милой, но больше такой уже никогда не будет.

Жак проследил за моим взглядом.

— Он влюблён в тебя по уши. Но ты не горд этим и не счастлив, как должно было бы быть. Тебе от этого страшно и стыдно. А почему?

— Я не понимаю его, — выдавил я из себя. — Не знаю, что означает его дружба и что он понимает под дружбой.

Жак рассмеялся.

— Ты не знаешь, что он понимает под дружбой, но чувствуешь, что это небезопасно. Ты боишься, что она сделает тебя другим. А что за дружбы бывали у тебя раньше?

Я не ответил.

— Или, — продолжил он, — если на то пошло, что за любовные связи?

Я хранил молчание так долго, что он начал подтрунивать надо мной:

— Вернись, вернись, где бы ты ни витал!

Я ухмыльнулся, чувствуя внутренний холодок.

— Люби его, — сказал Жак горячо. — Люби его и позволь ему любить тебя. Думашь, хоть что-то другое под небом имеет какое-то значение? И как долго в лучшем случае эта история может продолжаться, учитывая, что вы оба мужчины и что жизнь ещё распахнута перед вами? Только пять минут, уверяю тебя, только пять минут, и из них большая часть — *hélas!* — в темноте. И если ты считаешь их грязными, они станут грязными, — грязными, потому что ты не отдашься им, потому что будешь брезговать своей и его плотью. Но вы ведь можете сделать из вашей

встречи что угодно, не обязательно грязь; вы можете дать друг другу нечто, что сделает вас лучше — навсегда, если тебе *не будет стыдно*, если ты *не будешь осторожничать*.

Он помолчал, рассматривая меня, затем уставился в свою рюмку.

— Ты уже так долго осторожничал, — сказал он другим тоном, — и закончишь в ловушке своего собственного грязного тела — на веки веков, как я.

Он допил свой коньяк и слегка звякнул рюмкой о стойку, привлекая внимание мадам Клотильды.

Она тут же подошла, сияя, и в тот же момент Гийом осмелился улыбнуться рыжеволосому. Мадам Клотильда наполнила рюмку Жака и вопросительно посмотрела на меня, задержав бутылку над недопитым коньяком. Я колебался.

— *Et pourquoi pas?*⁶⁵ — спросила она с улыбкой.

Я допил залпом, и она снова налила. Затем она бросила длившийся не более сотой секунды взгляд на Гийома, кричавшего:

— *Et le rouquin là!*⁶⁶ Что будет пить рыжий?

Мадам Клотильда повернула голову, как актриса, готовящаяся произнести последние, предельно лаконичные строки утомительного, но потрясающего монолога.

— *On t'offre, Pierre*⁶⁷, — промолвила она величественно. — Чего пожелаешь?

Она едва коснулась стоящей над баром бутылки самого дорогого коньяка в заведении.

— *Je prendrai un petit cognac*⁶⁸, — промямлил означенный Пьер после паузы и, как ни странно, покраснел, что — в свете бледного восходящего солнца — сделало его похожим на только что павшего ангела.

Мадам Клотильда налила ему рюмку и, прекрасно разрешив таким образом напряжение, сопровождающее медлительный рассвет, поставила бутылку обратно на полку и вернулась к кассе. Теперь она пребывала за кулисами, где приходила в себя, допивая остаток шампанского. Она вздохнула, отпила из бокала и удовлетворённо посмотрела в медленно светлеющее утро.

— *Je m'excuse un instant, madame*⁶⁹, — шепнул ей Гийом и прошёл у нас за спиной, направляясь к рыжему.

Я улыбнулся.

— Это то, о чём папа никогда не говорил мне.

— Чей-нибудь папа, — сказал Жак, — твой или мой, должен был нам сказать, что не так уж много людей умерло от любви. Но сколько погибло и сколько погибает каждую минуту — и в каких невероятных местах! — оттого, что им её не хватает... А вот и твой малыш. *Sois sage. Sois chic*⁷⁰.

Он немного отошёл и заговорил со стоявшим рядом юношей.

Тут действительно подошёл мой малыш. В потоке солнечных лучей его лицо светилось, волосы взлетали, а глаза чудесно мерцали, как утренние звёзды.

— Нехорошо, что я ушёл так надолго, — сказал он. — Надеюсь, ты не слишком скучал.

— Уж ты, конечно, совсем не скучал. Ты похож сейчас на пятилетнего мальчика, проснувшегося в утро Рождества.

Это сравнение пришлося ему по душе и даже польстило ему, что явствовало из того, как он шутливо прикусил губу.

⁶⁵ Почему бы и нет? (фр.)

⁶⁶ А что там этот рыжий? (фр.)

⁶⁷ Тебя угощают, Пьер (фр.)

⁶⁸ Я возьму маленький коньяк (фр.)

⁶⁹ Простите, мадам, я оставлю вас на минутку (фр.)

⁷⁰ Будь мудр. Будь великодушен. (фр.)

— Уверен, что это не так, — сказал он. — Я всегда бывал разочарован в рождественское утро.

— Ну я имел в виду самое раннее утро — до того, как ты увидел, что там лежит под ёлкой.

Но его взгляд придал моим словам *double sens*⁷¹, и мы оба расхохотались.

— Ты голоден? — спросил он.

— Наверно, был бы голоден, если бы был живым и трезвым. Не знаю. А ты?

— Думаю, нам надо поесть, — сказал он без всякой убеждённости в голосе, и мы снова расхохотались.

— Ладно, — сказал я. — Что будем есть?

— Не знаю, могу ли я осмелиться рекомендовать белое вино и устриц, — ответил Джованни, — но это действительно лучше всего после такой ночи.

— Хорошо, давай попробуем, пока мы ещё можем дойти до зала.

Я взглянул через его плечо на Гийома и рыжеволосого. Было похоже, что они нашли тему для разговора, хотя я не мог представить себе, какую. А Жак был глубоко увлечён общением с высоким пареньком, очень молодым и веснушчатым, одетым в чёрный свитер с высоким воротом под горло, от чего он казался ещё бледнее и тоныше, чем был на самом деле. Он стоял у игрового автомата, когда мы вошли, и звали его, как оказалось, Ив.

— А они будут есть сейчас? — спросил я Джованни.

— Может, не сейчас, но рано или поздно будут. Все очень голодны.

Я отнёс это замечание больше на счёт юношей, чем наших приятелей, и мы перешли в зал, уже опустевший. Официанта не было видно.

— Мадам Клотильда, — крикнул Джованни, — *on mange ici, non?*⁷²

Этот крик вызвал ответный крик мадам Клотильды, а также появление официанта, чей пиджак вблизи оказался менее белоснежным, чем выглядел издали. Это официально известило Жака и Гийома о нашем присутствии в обеденном зале и должно было решительно подогреть тигриную страсть во взоре юношей, с которыми они разговаривали.

— Мы быстро поедим и уйдём, — сказал Джованни. — Мне всё-таки на работу сегодня вечером.

— Вы здесь познакомились с Гийомом? — спросил я его.

Он поморщился, опустив глаза.

— Нет. Это долгая история, — ответил он и ухмыльнулся. — Нет, не здесь. Я встретил его, — начал он и засмеялся, — в кино.

Мы оба рассмеялись.

— *C'était un film du far west, avec Gary Cooper*⁷³.

Это тоже показалось безумно смешным, и мы заливались от смеха, пока официант не принёс бутылку белого вина.

— Так вот, — продолжал Джованни с увлажнёнными от смеха глазами, потягивая вино, — после того, как раздался последний выстрел и зазвучала бравурная музыка, венчая триумф добродетели, в проходе между рядами я натолкнулся на Гийома, извинился и пошёл в фойе. Тут он догнал меня и начал длинную историю о том, что оставил свой шарф на моём сидении, поскольку, как выяснилось, он сидел позади меня, понимаешь ли, положив пальто и шарф на спинку сидения перед собой, и когда я сел, то потянул его шарф под себя. Ну я ответил, что не работаю в кинотеатре, и доходчиво пояснил, что он может сделать со своим шарфом. Но я не рассердился по-настоящему, потому что он был мне смешон. Тогда он сказал, что все, кто работает в кино, воры и что он уверен, что шарф не

⁷¹ Двойной смысл (фр.)

⁷² Едят здесь или нет? (фр.)

⁷³ Это был вестерн с участием Гари Купера (фр.)

вернут, потому что он им приглянулся, и что это была очень дорогая вещь и к тому же подарок от мамочки... О, такой сцены, уверяю тебя, никогда не сыграть даже Грете Гарбо. Так что мне пришлось вернуться в зал, но шарфа, конечно, не было, и когда я сообщил ему об этом, казалось, что он упадёт замертво прямо там, в фойе. А к тому времени, понимаешь, все уже были уверены, что мы пришли вместе, и я уже не знал, ударить его или броситься на тех, кто глазел на нас. Но он-то был одет с иголочки, а я совсем наоборот, и я решил, что нам лучше убраться из этого фойе. Мы подошли к кафе и сели за столик на террасе. И когда он наконец превозмог своё горе по поводу шарфа и того, что скажет мамочка, когда узнает об этом, и так далее, и тому подобное, он пригласил меня поужинать с ним. Конечно, я отказался. К тому времени он уже сидел у меня в пачёнках, но единственным способом предотвратить новую сцену прямо там, на террасе, было пообещать поужинать с ним через несколько дней. Я не собирался идти, — сказал он со смущённой улыбкой, — но когда подошёл назначенный день, я не ел уже довольно долго и был страшно голоден.

Он посмотрел на меня, и я вновь увидел в его лице то, что не раз проскальзывало за эти часы: под красотой и бравадой угадывался страх и жгучее желание нравиться, и было это так невыносимо трогательно, что я с ужасом почувствовал желание потянуться к нему и приласкать.

Принесли устрицы, и мы начали есть. Джованни сидел в луче солнца, и по его чёрной шевелюре гуляли золотые блики от вина и блекло-перламутровые — от устриц.

— Так вот, — сказал он, покривив рот, — ужин был, конечно, кошмарным, поскольку он прекрасно может устраивать сцены и у себя дома. Но к тому времени я уже знал, что он владелец бара и что у него французское гражданство. А у меня его не было, как не было ни работы, ни *carte de travail*⁷⁴. И я знал, что он может мне очень пригодиться, если только я найду способ сделать так, чтобы он меня не лапал. Мне не удалось, надо признаться, — сказал он, взглянув на меня, — остаться вовсе нетронутым, поскольку у него больше рук, чем щупальца у осьминога, и нет никакого чувства собственного достоинства, но, — заключил он мрачно, отбрасывая очередную раковину и наполняя наши бокалы, — теперь у меня есть и *carte de travail*, и работа. Это хорошо и для него, — сказал он с улыбкой, — поскольку с моим появлением, кажется, дела пошли лучше. По этой причине он оставляет меня, в основном, в покое.

Он посмотрел в направлении бара.

— На самом деле он совсем не мужчина, — сказал он с горечью и смущением, одновременно ребячливо и по-взрослому устало. — Я не знаю, кто он, но он мерзкий. Всё-таки у меня останется *carte de travail*. Насчёт работы — это другой вопрос, но, — он постучал рукой по дереву, — уже три недели прошло, и пока всё в порядке.

— Но ты ждёшь неприятностей? — спросил я.

— Ну конечно, — ответил он, бросив на меня быстрый, испуганный взгляд, будто сомневался, понял ли я хоть слово из того, что он рассказывал, — скоро нас ждёт какая-то маленькая неприятность. Не сразу, разумеется, — это не его стиль. Но он придумает что-нибудь, чтобы на меня рассердиться.

Мы сидели какое-то время в молчании и курили, окружённые пустыми устричными раковинами, допивая вино. Внезапно я почувствовал, что очень устал. Я взглянул через стекло на узкую улицу, на странный кривой угол, где мы сидели, уже залитый солнцем и наполненный людьми — людьми, которых я никогда не пойму. Мне вдруг до боли захотелось домой — нет, не в отель на одной из парижских улиц, где консьержка с неоплаченным счётом в руках загородит мне

⁷⁴ Документ, дающий во Франции право на работу.

путь, но домой — туда, за океан, к тем вещам и людям, что знакомы мне и понятны; к тем вещам, в те места, к тем людям, которых я буду всегда и помимо своей воли, несмотря ни на какую душевную горечь, любить превыше всего на свете. Никогда раньше не подозревал я об этом чувстве в себе, и оно меня испугало. Вдруг я ясно увидел себя со стороны — бродягу, искателя приключений, неприкаянно слоняющегося по миру. Я взглянул на лицо Джованни, но это мало мне помогло. Он имел отношение к этому странному городу, который не имел отношения ко мне. Я начал понимать, что всё происходившее со мной было бы не так дико, если бы внушало какую-то веру в реальность происходящего, но всё было слишком странно для того, чтобы поверить. Это не было так странно или беспрецедентно (хотя какой-то голос гудел во мне: «Стыд! Позор!»), что я так неожиданно и так отвратительно спутался с парнем. Странно было то, что это был всего лишь крошечный узелок чудовищного человеческого клубка, плетущегося беспрерывно везде и всегда.

— Viens⁷⁵, — сказал Джованни.

Мы встали и вернулись к бару, где Гийом оплатил наш счёт. Уже была откупорена новая бутылка шампанского, и Жак с Гийомом теперь действительно начинали косеть. Это становилось всё отвратительней, и я подумал, удастся ли этим бедным, терпеливым юношам хоть что-нибудь поесть. Джованни обсудил с Гийомом открытие бара вечером, а Жак был слишком занят с бледным длинным пареньком для того, чтобы обратить на меня внимание. Мы попрощались и вышли.

— Я должен вернуться в отель, — сказал я на улице. — Мне нужно заплатить за номер.

Джованни уставился на меня.

— Mais tu es fou⁷⁶, — сказал он мягко. — Нет никакого смысла ехать туда сейчас, чтобы увидеть уродину консьержку, а потом отправиться спать в номер одному, а потом проснуться с тошнотой и пересохшим ртом и желать покончить самоубийством. Пойдём со мной. Мы выснимся по-божески, потом выпьем где-нибудь по нежному аперитиву и легко победаем. Так будет гораздо веселее, — заключил он с улыбкой, — увидишь.

— Но мне нужно взять какие-то вещи.

Он взял меня за руку.

— Bien sûr. Но они не нужны тебе сейчас же.

Я отступил на шаг. Он остался на месте.

— Идём. Уверен, что я гораздо милее твоих обоев и твоей консьержки. Я улыбнусь тебе, когда ты проснёшься. А они — нет.

— Tu es vache⁷⁷, — мог я только сказать.

— Это ты vache, потому что хочешь бросить меня одного в этом пустынном месте, зная, что я слишком пьян для того, чтобы добраться домой без посторонней помощи.

Мы расхохотались, увлекшись этой озорной игрой в подстрекательство. Потом вышли на бульвар Севастополь.

— Не будем больше обсуждать болезненный вопрос о том, что ты собирался бросить Джованни в такой опасный час посреди враждебного города.

Я начал понимать, что он тоже нервничает. Уже гораздо дальше по бульвару на нас вырулило такси. И он поднял руку.

— Я покажу тебе свою комнату, — сказал он. — Всё равно ты должен был её увидеть в один из этих дней.

⁷⁵ Идём (фр.)

⁷⁶ Ты с ума сошёл (фр.)

⁷⁷ Скотина (фр.)

Такси затормозило рядом с нами, и Джованни, будто вдруг испугавшись, что я могу действительно повернуться и убежать, подтолкнул меня в машину первым, сел рядом со мной и сказал шоферу:

— Nation.

Улица, на которой он жил, была широкой, скорее внушительной, чем элегантной, и была застроена массивными, недавней постройки жилыми домами. Она упиралась в маленький парк. Его комната, окнами во внутренний двор, находилась на первом этаже последнего дома по этой улице. Через прихожую, мимо лифта мы прошли в короткий, тёмный коридор, ведущий к ней. Она была крошечной. По неясным очертаниям я отметил страшный беспорядок и уловил запах спиртовки, на которой он готовил. Он запер дверь за нами, и потом минуту мы просто смотрели друг на друга в полумраке — с тревогой, с облегчением, тяжело дыша. Я дрожал, думая, что если не открою дверь сейчас же и не уйду, всё будет потеряно. Но я знал, что не могу открыть дверь, знал, что уже поздно; а скоро было поздно делать что-либо и оставалось лишь стонать. Он притянул меня к себе, обвил себя моими руками, будто отдавая себя для того, чтобы я его нёс, и медленно увлёк меня за собой в кровать. Всё во мне кричало «нет!» Но всё, собравшись в целое, выдохнуло «да».

Здесь, на юге Франции, снег идёт нечасто; но сейчас снежинки — сначала редкие, а теперь всё гуще, — кружатся уже полчаса. Они падают так, что вот-вот могут решиться на вынужу. Эта зима была холодной, хотя местные жители любое замечание по этому поводу, сделанное иностранцем, воспринимают как свидетельство невоспитанности. Сами они, даже если лица у них багровеют от ветра, который, кажется, дует отовсюду одновременно и проникает во все щели, излучают радость, как дети на берегу моря. «Il fait bien beau?»⁷⁸ — говорят они, обращая взоры к тяжелеющему небу, на котором прославленное солнце юга не показывалось уже столько дней.

Я отхожу от окна гостиной и принимаюсь бродить по дому. Уставившись в зеркало на кухне (мне пришло в голову побриться, пока не замёрзла вода), я слышу стук в дверь. Какая-то смутная, дикая надежда оживает во мне на мгновение, но я сразу понимаю, что это всего лишь следящая за домом женщина, живущая напротив и пришедшая убедиться, не украл ли я столовое серебро, не разбил ли вдребезги посуду и не разрубил ли мебель на дрова. Действительно, она барабанит в дверь, и я уже слышу её надтреснутый голос: «M'sieu! M'sieu! M'sieu l'Américain!»⁷⁹ С раздражением я думаю, какого чёрта она так встревожена.

Но она, как только я открываю дверь, сразу начинает улыбаться — одновременно кокетливо и по-матерински. Она уже в годах и не совсем француженка; появилась здесь много лет назад («когда я была ещё молоденькой девушкой, сэр»), перейдя ближайшую границу — итальянскую. Она, как и все женщины здесь, облеклась в траур, кажется, немедленно после того, как подрос её последний ребёнок. Хелла думала, что они все вдовы, но оказалось, у большинства из них мужья живы-здоровы. Эти мужья походили скорее на их сыновей. Иногда они играли в *pelote*⁸⁰ на залитом солнцем ровном поле возле нашего дома и наблюдали за Хеллой с горделивой заботливостью отцов и в то же время — с наблюдательным любопытством мужчин. Иногда я играл с ними в бильярд и пил красное вино в *tabac*⁸¹. Но меня не покидала скованность — из-за их сквернословия и добродушия, их панибратства и судеб, написанных у них на руках, на лицах и в глазах. Они

⁷⁸ Прекрасная погода? (фр.)

⁷⁹ Мсьё! Мсьё! Мсьё американец! (фр.)

⁸⁰ Баскская игра в мяч.

⁸¹ Кафе, обладающие во Франции монополией на продажу табачных изделий.

обращались со мной, как с сыном, которого только недавно стали считать мужчиной, но в то же время — совершенно отчуждённо, поскольку ни к кому из них я не имел никакого отношения. К тому же они подозревали (или мне так казалось) во мне что-то, что-то такое, из-за чего на меня не стоило тратить сил и времени. Это было заметно в их взгляде, когда мы с Хеллой встречались с ними на дороге и они говорили, вполне почтительно: «*Salut, monsieur-dame*»⁸². Они могли сойти за сыновей этих женщин в чёрном, вернувшихся домой после целой жизни штормов и завоевания мира, вернувшись, чтобы отдохнуть, браниться и ждать смерти, вернувшись к этой груди, теперь высохшей, которая вскормила их на заре жизни.

Снежинки ссыпаются с платка на её ресницы, на пряди чёрных с проседью волос, выбившихся из-под платка. Она очень крепкая, хотя уже немного сгорблена и дышит с одышкой.

— *Bonsoir, monsieur. Vous n'êtes pas malade?*⁸³

— Нет, я здоров. Входите.

Она входит, закрывает за собой дверь и сбрасывает платок на плечи. Я по-прежнему держу стакан в руке, и она отмечает это про себя.

— *Eh bien*, — говорит она, — *tant mieux*⁸⁴. Но мы не видели вас уже несколько дней. Вы были всё это время дома?

Она ищет ответ у меня на лице.

Мне неловко и обидно, но сопротивляться её одновременно пытливому и участливому взгляду у меня нет сил.

— Да. Стояла плохая погода.

— Разумеется, ведь это не середина августа. Но вы же не инвалид. Ничего хорошего в сидении дома в одиночестве нет.

— Я уезжаю завтра утром, — говорю я в отчаянии. — Хотите проверить всё по списку?

— Хочу, — отвечает она и извлекает из кармана список всего домашнего добра, который я подписал при вселении. — Это не займёт много времени. Давайте начнём с конца.

Мы отправляемся на кухню. По дороге я ставлю стакан на ночной столик в спальне.

— Это не моё дело, что вы пьёте, — говорит она, не оборачиваясь, но я всё-таки оставляю стакан.

Входим в кухню. Здесь всё подозрительно чисто и прибрано.

— Где же вы ели? — спрашивает она резко. — Мне сказали, что в *tabac* вас не видели за последние дни. Вы были в городе?

— Да, — отвечаю я в замешательстве, — иногда.

— Пешком, что ли? — продолжает она допрос. — Водитель автобуса тоже вас не видел.

Задавая вопросы, она смотрит не на меня, а в список, отмечая что-то коротким жёлтым карандашом. Я не в состоянии сообразить, что ответить на её издевательский выпад. Я забыл, что в таком местечке почти никакое движение не ускользает от общественного ока и уха.

Она быстро осматривает ванную.

— Я почищу всё до утра, — говорю я.

— Очень надеюсь. Всё было чистенько, когда вы въехали.

Мы идём обратно через кухню. Она не заметила, что не хватает двух стаканов, которые я разбил, но у меня нет сил признаться ей в этом. Оставлю завтра какие-то деньги в буфете. Она включает свет в гостиной. Повсюду разбросаны мои грязные вещи.

⁸² Приветствуем, дамы-господа (фр.)

⁸³ Добрый вечер, месье. Вы не больны? (фр.)

⁸⁴ Ах так. Тем лучше (фр.)

— Я всё заберу, — говорю я, пытаясь улыбнуться.

— Вам было достаточно перейти через улицу. Я бы с радостью дала вам что-нибудь поесть. Суп какой-нибудь, что-то питательное. Я всё равно готовлю для мужа. Какая разница — готовить на одного или на двоих?

Меня трогают её слова, но я не знаю, как объяснить ей, как сказать, что мои нервы не выдержали бы напряжения от обеда с ней и с её мужем.

Она разглядывает вышитую подушку.

— Едете к вашей невесте?

Я знаю, что должен солгать, но почему-то не могу этого сделать. Меня пугают её глаза. Я начинаю жалеть, что оставил стакан в спальне.

— Нет, — отвечаю я сухо. — Она вернулась в Америку.

— Tiens!⁸⁵ А вы — остаётесь во Франции?

Она смотрит мне прямо в глаза.

— Пока что.

Я начинаю покрываться потом. Мне приходит в голову, что эта женщина, крестьянка из Италии, должна быть во многом похожа на мать Джованни. Изо всех сил я стараюсь не думать об её отчаянном вопле, стараюсь не видеть того, что отразилось бы в её глазах, если бы она знала, что её сын умрёт сегодня утром, если бы знала, что я сделал с её сыном.

Но, разумеется, это не мать Джованни.

— Это нехорошо, неправильно для такого молодого человека, как вы, сидеть одному в пустом доме без женщины.

На мгновение она стала очень грустной. Задумывается о том, что сказать. Я знаю, что ей хочется что-то сказать о Хелле, которую не любила ни она, ни какая-либо другая женщина в деревне. Но она выключает свет в гостиной, и мы переходим в большую хозяйственную спальню, где мы с Хеллой спали, но не ту, где я оставил стакан. Здесь тоже всё чисто и прибрано. Она осматривает комнату, потом смотрит на меня и улыбается.

— Вы не пользовались этой комнатой в последнее время.

Я чувствую, что густо краснею. Она начинает хохотать.

— Вы ещё будете счастливы. Вам надо уехать и найти себе другую женщину, хорошую женщину, жениться и завести детей. Вот что вам надо, — говорит она так, будто я возражаю ей, и продолжает, не дожидаясь ответа: — А где ваша maman⁸⁶?

— Она умерла.

— А, — произносит она, поджав губы из сочувствия. — Это грустно. А папа — он тоже умер?

— Нет. Он в Америке.

— Pauvre bambino!⁸⁷

Она смотрит мне в лицо. Я стою перед ней совершенно беспомощно и думаю, что если она не уйдёт скоро, я разражусь рыданием и проклятиями.

— Но вы же не собираетесь просто скитаться по свету, как моряк? Уверена, что это огорчило бы вашу маму. Вы ведь обзаведётесь когда-нибудь своим домом?

— Да, конечно. Когда-нибудь.

Она кладёт свою сильную руку на мою.

— Даже если вы потеряли maman, — что очень грустно! — ваш папа будет так счастлив приласкать ваших bambinos.

Она замолчала. Её чёрные глаза увлажнились. Она смотрела на меня и в то же время куда-то сквозь меня.

⁸⁵ Вот как! (фр.)

⁸⁶ Мамочка (фр.)

⁸⁷ Бедное дитя! (фр., итал.)

— У нас было три сына. Двоих убило на войне. Война унесла и все наши деньги. Обидно, не правда ли, так тяжело работать всю жизнь, чтобы заслужить себе покой на старости лет, и вдруг лишиться всего? Это почти убило моего мужа, и он стал совсем другим с той поры.

И тут я увидел в её глазах не одну лишь проницательность, но и горечь, и боль. Она пожала плечами.

— Эх, что поделаешь? Лучше не думать об этом.

Она улыбнулась.

— Зато наш младший сын, который живёт на севере, приезжал навестить нас два года назад и привозил своего мальчугана. Ему было тогда всего четыре годика. Такой миленький! Его зовут Марио.

Она жестикутировала.

— Это имя моего мужа. Они пробыли у нас дней десять, и мы оба будто помолодели.

Она снова улыбалась.

— Особенно мой муж.

Какое-то время эта улыбка сохраняется у неё на лице. Потом она внезапно спрашивает:

— Вы молитесь?

Я думаю о том, хватит ли мне сил выдержать ещё немногого.

— Нет. Не часто.

— Но вы верующий?

Я улыбаюсь. Но снисходительной, как мне того хотелось, эта улыбка не получилась.

— Да.

Не знаю, что выразила моя улыбка, но она её не убедила.

— Вы должны молиться, — сказала она очень строго. — Уверяю вас. Хотя бы коротенькую молитву, время от времени. Зажгите свечку. Если бы не молитвы блаженнейших святых, в этом мире было бы совсем невыносимо жить. Я говорю с вами, — сказала она, слегка приосанившись, — как если бы была вашей маман. Не обижайтесь.

— Я не обижусь. Вы очень добры. Очень добры, что так со мной говорите.

Она расплылась в довольной улыбке.

— Мужчины — не только младенцы, вроде вас, но и пожилые мужчины, — всегда нуждаются в женщине, чтобы услышать всю правду. *Les hommes, ils sont impossibles*⁸⁸.

Она заулыбалась, заставив и меня улыбнуться лукавству этой универсальной шутки, и выключила свет в хозяйствской спальне. Мы снова в коридоре и идём, к счастью, по направлению к моему стакану. В этой спальне, конечно, менее опрятно: свет горит, мой банный халат, книги, грязные носки, несколько немытых стаканов и чашка с остатком вчерашнего кофе — всё разбросано и свалено вперемешку, и простыни на кровати сбиты в комок.

— До утра я всё приведу в порядок, — обещаю я.

— Bien sûr, — вздыхает она. — Вы действительно должны послушаться моего совета, мосьё, и жениться.

От этих слов мы оба неожиданно рассмеялись. Я допил виски.

Почти всё по списку уже проверено. Мы переходим в последнюю комнату — гостиную, где у окна стоит бутылка. Она смотрит сначала на бутылку, потом на меня.

— Вы же напьётесь до утра.

— О, нет! Я заберу её завтра с собой.

⁸⁸ Мужчины, они несносны (фр.)

Она, конечно, понимает, что это неправда. Но лишь пожимает плечами. Затем, после завязывания платка вокруг головы, она вновь становится формальной и даже немножко робкой. Теперь, видя, что она собирается уходить, я стараюсь придумать что-нибудь, чтобы её задержать. Когда она перейдёт через улицу, ночь станет чернее и длиннее, чем когда-либо. Есть что-то, что я должен сказать ей, — ей? — но, конечно, это никогда не будет сказано. Я хочу, чтобы меня простили, чтобы она простила меня. Но я не знаю, как определить своё преступление. Это преступление, как ни странно, состоит в том, что я мужчина, и она всё об этом уже знает. Ужасно, что я чувствую себя перед ней голым, как мужающий мальчик перед своей матерью.

Она протягивает руку. Я жму её, неуклюже.

— Bon voyage, monsieur⁸⁹. Надеюсь, что вы были здесь счастливы и что когда-нибудь приедете к нам опять.

Она улыбается, и у неё добрый взгляд, но теперь эта улыбка — чистая формальность, вежливое завершение сделки.

— Спасибо, — говорю я. — Возможно, я вернусь через год.

Она отпускает мою руку, и мы идём к двери.

— Да! — говорит она перед дверью. — Пожалуйста, не будите меня утром. Опустите ключи в мой почтовый ящик. Мне уже незачем вставать так рано.

— Обязательно, — говорю я с улыбкой и открываю дверь. — Спокойной ночи, мадам.

— Bonsoir, monsieur. Adieu!⁹⁰

Она делает шаг в темноту. Свет из моего и её дома освещает улицу. Огни города мерцают под нами, и на какое-то мгновение я снова слышу шум моря.

Она немного отходит от меня и оборачивается.

— Souvenez-vous⁹¹, — говорит она мне, — время от времени нужно немного молиться.

И я закрываю дверь.

Её приход напомнил мне, как много нужно ещё сделать до утра. Я решую вычистить ванную комнату до того, как позволю себе снова выпить. Сначала я принимаюсь скрести ванну. Затем наполняю водой ведро, чтобы вымыть пол. Это крошечная квадратная ванная с одним заиндевевшим окошком. Она напоминает мне ту, вызывающую клаустрофобию комнату в Париже. Джованни вынашивал грандиозные планы ремонта и однажды даже приступил к нему, и мы жили среди вещей, испачканных сверху донизу штукатуркой, и стопок кирпича на полу. Ночью мы заворачивали эти кирпичи и выносili из дома, оставляя их на улице.

Наверно, они придут за ним рано утром, возможно, перед самым рассветом, так что последнее, что увидит Джованни, будет серое, глухое небо над Парижем, под которым, спотыкаясь, мы брели вдвоём домой столько отчаянных и пьяных рассветов.

Окончание в следующем номере.

⁸⁹ Счастливого пути, мосьё (фр.)

⁹⁰ До свидания, мосьё. Прощайте! (фр.)

⁹¹ Помните (фр.)

ПОСЛЕДНИЙ КЛИЕНТ¹

Началось все в самый обычный весенний день. Этот день ничем не отличался от всех других. Может быть, дождя было меньше, может быть, было теплее, чем вчера. Но, в общем, как всегда. К вечеру мне заняться было нечем. Вот уже с полгода, как я еле-еле свожу концы с концами. Все начиналось так хорошо и обнадеживающе. Я три с лишним года назад переехал с семьей в Германию. У меня юридическое образование. После безуспешных попыток найти подходящую работу прошло полтора года. Друзья надоумили открыть свою детективную контору. Пока оформлял бумаги, кредит, искал помещение для бюро, прошло еще с полгода. И вот неполный год, как я частный детектив. Сначала я был полон планов и энергии. Мечтал о богатых заказчиках, об интересной и рискованной работе. Идеалист! Кроме заказов из супермаркетов, разбора мелких интриг, слежки за сексуальными маньяками и замужними авантюристками, ничего не было. И стоила эта работа совсем мало. Я больше тратил, чем зарабатывал. Кредит постепенно иссяк и заказы тоже. За последний месяц я имел всего два заказа. Правда, один заказчик был богат. Из наших новых русских, переселившихся на Запад. Жена его начала погуливать. Так думал он. Но на самом деле она от скуки стала посещать буддистский клуб, перешла в буддистскую веру, но мужу в этом боялась признаться и проводила два-три вечера в неделю в буддистском клубе.

В конечном итоге и богатый русский записался в буддисты. Надолго ли его хватит? Неважно. Главное, он заплатил хорошо, на радостях еще и премию отвалил. Второй заказ был от шефа заправочной станции. Он подозревал, что его работники бесплатно заправляют свои автомашины бензином. Действительно, один молодой работник заправлял свою машину и машины своих друзей бесплатно. Я это выяснил за три ночи, в которые он дежурил. Потолкался среди молодежи, которая пила пиво под навесом заправки, спрашивал между делом, понаблюдал, как ночью подъезжали машины к заправочному аппарату, водители заправляли полные баки и, помахав рукой кассиру, уезжали. Две ночи снимал на видео. Кассира заправки уволили, я получил причитающийся мне гонорар, и на этом мои заказы кончились.

В тот день я окончательно принял решение сменить работу, сидел у себя в бюро и штудировал газету с объявлениями. Ничего интересного не попадалось. Темнело. Домой идти не хотелось. Видеть вопрошающие глаза жены и немой упрек в них, бояться вопроса о деньгах для той или иной покупки было для меня невыносимо. Еще более невыносимо слышать, как дочка, видевшая рекламу детских игрушек по телевизору, просит купить ей их. Для меня невозможно отказать ей, но и пообещать купить понравившуюся ей игрушку тоже не могу.

Мужчина постучался в дверь и сразу, не дожидаясь ответа, вошел в бюро. Он представился Максом, но свою фамилию не назвал. Ему было на вид чуть больше пятидесяти. Голос у него был надтреснутый и усталый. Он говорил так, как будто выдавливал из себя слова. На круглом лице сидели маленькие пронзительные глаза. Они прощупывали тебя насквозь, и в их глубине светились тоска и боль.

¹ Повесть вошла в книгу «Возвращение», которая выйдет в издательстве «Алетейя» (Санкт-Петербург) в конце 2005 года.

Он шел к столу, немного сутуясь и как будто боясь чего-то. На мой вопрос, чем я могу ему помочь, он вытащил из старого кожаного портфеля папку с бумагами и положил её на мой стол.

— Откройте и прочитайте, а потом поговорим.

Я открыл папку. В ней лежали вырезки из старых газет, на двух страницах — заключение врача-психиатра и несколько фотографий. С одной фотографии смотрело счастливое лицо маленькой девочки. Возраст было определить трудно, но больше двенадцати лет я ей не дал бы. Она была еще на одной фотографии, и рядом с ней здесь стояли мужчина, который сидел сейчас напротив меня, и красивая женщина лет тридцати пяти. На девочке была голубенькая курточка, две косички торчали в стороны, и в руках она держала красноглазого кролика. Мужчина выглядел на фотографии молодым, в глазах светились уверенность и какое-то умиротворенное счастье. С третьей фотографии смотрел на меня мужчина, возраст которого я сразу определить не мог. Что-то в глазах его было странным. Они смотрели на меня с фотографии в упор, но были тусклыми, холодными и невыразительными. В них отсутствовала мысль.

Я взял одну газетную вырезку и стал читать. В ней рассказывалось об исчезнувшей девочке, о ее поисках. Следующая заметка была с фотографией какого-то заброшенного строения в лесу. У полуразвалившегося дома стояла полицейская машина, несколько полицейских что-то измеряли, и под стеной, у висевшей на петлях двери, стоял гроб. На третьей газетной вырезке снова была фотография, на которой двое полицейских вели под руки мужчину. На голову мужчины была накинута то ли куртка, то ли шаль. В тексте сообщалось, что мужчину арестовали по подозрению в изнасиловании и убийстве одиннадцатилетней девочки. В еще одной вырезке говорилось о том, что господин Х. признан психически больным, и суд поэтому осудил его только на пять лет с отбыванием наказания в закрытой психиатрической больнице.

Я отодвинул от себя папку и вопросительно посмотрел на мужчину.

— И что все это значит?

— Погибшая девочка моя дочь.

— Я это понял. Мои искренние соболезнования.

Он поморщился, как от зубной боли. Я ждал. Макс протянул руку к папке и вытащил из бумаг фотографию мужчины с тусклыми и холодными глазами.

— Он уже полгода, как на свободе. Снова живет в нашем городе. Ходит свободно по городу. Я наблюдал за ним несколько дней. У него много знакомых. Среди них молодые девушки. Я видел, как он сидел с двумя девушками в кафе и смеялся. По его виду нельзя сказать, что он психически больной, что он отбыл пять лет в психбольнице. Так выглядят после курорта или отпуска на Мальорке.

Я терпеливо слушал.

— Такие люди не должны жить.

Наступила пауза. Каждый ждал продолжения разговора, но боялся начать первым.

— Найдите мне человека, который убьет его, — он пристально смотрел на меня. — Я хорошо заплачу.

Он перевел глаза с меня на фотографию девочки. От его пристального взгляда и от его слов по моей спине побежали муряшки, холодный пот начал выступать между лопаток. Это происходит со мной всегда, когда я волнуюсь или когда мне страшно.

— Такие заказы я не принимаю, — как можно спокойнее сказал я.

Мужчина вытащил из своего портфеля листок в прозрачной обложке и положил его передо мной. Через прозрачную обложку можно было прочитать мою фамилию. Я вытащил листок из обложки и пробежал его глазами. Он был, в основном, заполнен цифрами. Это был анализ моих финансов. Ничего хорошего и ничего нового я не увидел. Кредит на основание собственного дела с задолжен-

ностью по выплате процентов. Кредит за машину. За нее надо платить еще три года. Знал бы, что так сложатся дела, не покупал бы новый «мерседес». Мой счет с отрицательным балансом. Что на моем счету уже предельный минус, я знал. Только я не знал, как из этой ямы выбраться.

— Откуда у вас эти данные? — спросил я.

— Я работаю в банке и имею доступ к секретным документам и к закрытой информации.

— Вы нарушаете закон, используя закрытую информацию в своих личных интересах.

— Вы можете на меня пожаловаться. Но это ничего не изменит. Ваше финансовое положение от этого не улучшится.

Он замолчал, взял фотографию дочери со стола и, глядя на нее, снова заговорил:

— Она была хорошая девочка. Наша единственная дочь. Моя жена долго не могла родить. Можете себе представить, какая радость для нас была, когда она появилась на свет. Этот ее задушил простым чулком. Использовал, задушил и выбросил, как ненужную вещь.

У него тряслись руки, когда он говорил, и вместе с ними мелко дрожала фотография в его пальцах.

— Жена после этого уже в себя не пришла. Живет только на таблетках. Я тоже постепенно схожу с ума. Я просыпаюсь каждую ночь и думаю о ней. Мне кажется, что это меня изнасиловали и убили пять лет назад. Каждую ночь этот маньяк насилияет меня и убивает. Я боюсь, что когда-нибудь он меня все-таки окончательно убьет. Но больше всего я боюсь, что я умру, а он будет также ходить по земле, будет дышать воздухом, смеяться, заигрывать с женщинами, может быть, между прочим, снова изнасилует кого-нибудь и убьет. С тех пор, как он на свободе, я совсем ночами не сплю. Я уверен, если он не будет жить, начнем снова жить нормально я и моя жена.

— Как вы себе это представляете? У меня же не контора по найму убийц. Не думаете же вы, что я способен на убийство? — испуганно спросил его я.

— Нет, нет, что вы. Я об этом даже не думал. Мне нужно только, чтобы вы нашли мне такого человека.

— Мне кажется, что вы серьезно ошиблись. Я не тот человек, кто может вам в этом помочь. И вообще, весь этот разговор мне неприятен.

Он вытащил из нагрудного кармана пачку денег и положил их передо мной.

— Здесь десять тысяч. Вы можете свой минус перекрыть, погасить задолженность за проценты, и на хозяйство еще останется. Это маленький аванс. Если вы выполните мой заказ, я помогу вам рассчитаться за «мерседес» и за кредит, и хватит еще на пару лет безмятежной жизни. Я получил хорошее наследство от моей бабушки. Денег у меня достаточно. Подумайте. Я вам доверяю. Эти десять тысяч останутся у вас. В следующий понедельник я снова приду к вам.

Пачка денег, лежавшая на столе, притягивала мой взгляд. Я смотрел на деньги, как загипнотизированный. Да, эти деньги могли бы на время избавить меня и мою семью от многих проблем. Они соблазняли меня, рука была уже готова потянуться за ними, но я заставил себя отвести от них взгляд.

— Такие заказы я никогда не получал. У меня нет опыта. Поищите, может быть, найдете кого-нибудь, кто возьмется выполнить ваш заказ.

Он сидел на стуле напротив меня и продолжал смотреть на фотографию дочери. Мне казалось, что он меня не слышит. Но мне было все равно, слышит он меня или нет. Я хотел побыстрее избавиться от него. Внутри, в глубине моего сознания рос страх, что я не выдержу и из-за денег пойду на все.

— Вы думали о моральной стороне вашего заказа? — Черт! Ведь это я сказал не ему, а себе.

Макс положил фотографию к остальным бумагам, откинулся на спинку стула и скептически улыбнулся.

— Что касается морали, для меня давно все ясно. На эту тему я даже дискутировать не хочу. Мораль для меня умерла в тот день, когда не стало моей дочери. И добавлю еще: я не циник, я реально смотрю на вещи. Вы, наверное, думаете, что мораль универсальна. Тогда скажите мне, если она универсальна, почему в Америке государство считает законным приговаривать преступников к смертной казни, а у нас, в Европе, это незаконно? Чья мораль правильная — американская или европейская?

Я не ответил ему и в свою очередь спросил:

— Если вы его приговорили без суда к смерти, почему сами не убьете его?

— Я его голыми руками придушил бы... — он с такой силой сжал рукой угол стола, что костяшки его пальцев побелели. — Не могу я. Жена останется одна. Умрет она без меня.

Макс вытащил еще одну сотенную купюру, положил на стол и пододвинул ее ко мне.

— Возьмите эти деньги и сходите в кафе. Обдумайте все. Вы ничего не теряете, а выиграть можете много. А эти десять тысяч положите в сейф. Если мы не договоримся, вернете мне. Но я надеюсь на вас.

Он встал, собрал бумаги и фотографии в папку и спрятал в портфель.

— До свидания. Я приду к вам в следующий понедельник, — проговорил он, протягивая мне руку.

Я остался сидеть за столом. Мужчина вышел. На улице он остановил такси и сел в него. Номер 518. Бросив деньги в сейф, я выскочил на улицу, сел в свой «мерседес», включил мотор и, не обращая внимания на сигналы машин, вписался в уличный поток. Такси с номером 518 стояло у третьего светофора на левой полосе, которая вела к вокзалу. На вокзале мужчина пристроился к короткой очереди у билетного автомата. Из-за искусственной пальмы, стоявшей у газетного киоска, видно было, как он бросил несколько монет в автомат и нажал кнопку с названием городка, который находился в двадцати километрах.

С вокзала я поехал в центр города. Когда припарковался, зазвонил мобильный телефон.

— Когда приедешь домой, Эдик? — спросила жена.

Ее голос звучал озабоченно.

— Я хотел в кафе зайти. Мне надо кое-что обдумать.

— Приезжай домой.

Она положила трубку. Я раздумал идти в кафе и поехал домой.

Жена встретила со слезами на глазах.

— Я хотела деньги на продукты снять, а у нас минус больше положенного. Автомат мне денег не выдал. Не могла хлеб даже купить.

Она заплакала. Я обнял ее.

— Успокойся. У меня есть сто евро. Возьми их.

Дочка сидела в зале и смотрела по телевизору мультфильмы.

— Папа, папа, Эрике Мюллер новый велосипед купили. Она дала мне покататься.

Я погладил ее по голове и спросил:

— Как дела в школе?

Она мне что-то отвечала, но я ее не слушал. Мои мысли были там, в моем бюро, где в сейфе лежали деньги, которые могли бы избавить мою семью хотя бы на время от мучительного сознания своей нищеты.

Эту ночь я почти не спал. В голове бешено крутились мысли, то уводя меня в мир мечты и беспечности, где не надо было думать о деньгах, где все просто и ясно и где все вокруг счастливые и веселые, то загоняя в тупик, где холодно и

угрожающие смотрели на меня пустые глаза, где слышен был плач и угрюмо уходил в ночь ссугутившийся старик. Жена рядом тоже не спала. Слышно было, как она то и дело переворачивалась с боку на бок, тяжело и протяжно вздохала. Под утро провалился в сон. Мне снился рассвет в горах. Я лежал за камнями и целился в восходящее солнце, которое было большим и красным. Оно заняло весь оптический прицел винтовки, и от этого резало в глазах. Сухо прогремел выстрел, и на моих пальцах выступила кровь. Она струилась по ложу винтовки, залила стекло прицела и с дробным стуком падала на камни.

От страха я проснулся. На улице было светло. Жены рядом не было. Через открытую дверь в глаза бил из коридора свет яркой лампочки, и на улице в жестяной карнизе стучали капли дождя.

После завтрака я поехал в тот город, где, по моим расчетам, должен жить и, наверное, работает мой вчерашний клиент. Припарковав машину в глухом переулке недалеко от центра, я пошел к центральной сберкассе. У длинной стойки, где несколько миловидных девушек обслуживали клиентов, я спросил одну из них:

— Могу я поговорить с господином Максом?

— У нас нет работника с таким именем, — ответила она мне.

Через дорогу в Немецком банке было не так людно. В зале на стене висели фотографии работников банка. Макса среди них я не нашел. В Народном банке женщина с серыми волосами в свою очередь спросила:

— Вы имеете в виду господина Обермайера? Он уехал. Жене стало плохо.

— Может вы мне сказать, где он живет?

Женщина удивленно посмотрела на меня.

— Извините. Эту информацию мы не даем. Господин Обермайер будет после обеда здесь. Я могу вам организовать встречу с ним. Вы хотите оформить кредит — или у вас другой вопрос к нему? Как ваша фамилия?

— Нет. После обеда мне некогда. Я зайду в следующий раз, — не отвечая на ее вопрос, я вышел.

Я вернулся к своей машине. Была только половина одиннадцатого, и поэтому я решил выехать из города и где-нибудь отдохнуть. В двух километрах от города въехал по грунтовой дороге в маленькую рощу и заглушил мотор. Здесь было тихо. Дождь прекратился, и птицы пели на разные голоса, радуясь теплу и пробившемуся сквозь тучи солнцу. Пахло хвоей и прелыми листьями. От тишины и свежего воздуха меня стало клонить в сон. Я включил радио на малую громкость, улегся на заднее сиденье и сразу заснул. Проснулся через два с лишним часа. Диктор по радио как раз начал передавать местные новости. В городе я снова припарковал машину в том же переулке. Напротив Народного банка располагалось кафе. Оно было почти пустым. Я занял место у окна, так, чтобы видеть вход в банк, и заказал себе кусочек пирожного с кофе. Макс появился в половине третьего. Он приехал на «вольксвагене» и припарковал его недалеко от входа в банк. Заказав еще одну чашку кофе, я подождал с полчаса и рассчитался с кельнером. На своей машине я выехал из переулка, нашел свободное место у бордюра метрах в пятидесяти от банка и стал ждать. В четыре часа Макс снова вышел из банка, сел в машину и поехал в сторону клиники. Он остановился напротив входа в клинику и, не закрыв машину, вошел в нее. Через две минуты он вышел, толкая перед собой инвалидную коляску, в которой сидела седая женщина. Она выглядела усталой. На бледном лице застыло выражение безразличия. Тонкие прозрачные руки лежали ладонями вниз на коленях. Что-то напоминало в ней ту красивую и жизнерадостную женщину на фотографии, но что именно, было трудно понять. У машины Макс взял свою жену на руки и пересадил ее на переднее сиденье. Коляску он собрал и уложил в багажник. Я не поехал за ними, а вошел в клинику и подошел к окошечку портье.

— Где мне найти доктора Венделя? — фамилию доктора я прочитал на щите, где была информация об отделениях клиники и врачах.

— Доктор Вендель сейчас на операции.

— Похоже, жена господина Обермайера снова заболела? — проговорил я.

— Несчастная женщина. Мало того, что она перенесла два инфаркта и паралич, теперь еще и печень начинает отказывать. Сегодня опять ей делали переливание крови, — портъе замолк, почувствовав, что сказал лишнее. — Вы знакомы с господином Обермайером?

— Нет. Просто наслышан о нем и о его несчастьях.

— Да, этой семье пришлось много вынести.

Портъе углубился в чтение какого-то документа. Я вышел из клиники и поехал назад, в свой город. Решение во мне начало созревать уже давно, с того момента, как я увидел у себя на столе пачку денег. Теперь же я созрел окончательно. Мне не то что было жалко этих двух людей, мне действительно было обидно за их загубленную жизнь без будущего. И в отношении морали я был с сегодняшнего дня на американской стороне. Я был убежден, что тот, кто убивает, не имеет право на жизнь. Конечно, у меня было полно аргументов против этого убеждения, но деньги не оставляли им никакого шанса.

В своем бюро я первым делом вытащил деньги из сейфа и пересчитал их. Было ровно десять тысяч. Пересчитывал я их не потому, что не доверял Максу, а потому, что было приятно их считать. Я никогда не был особенно жаден до денег, но в последнее время я совсем по-другому стал смотреть на них. Я понял, что деньги не делают человека счастливым, но отсутствие их делает его несчастным.

Положив пачку денег в нагрудный карман, я пешком прошел в центр города. В сберкассе я отдал почти полторы тысячи. Это была моя задолженность по процентам за последние три месяца. Три тысячи я положил на свой счет, закрыв, таким образом, мой минус. Вернувшись к своей машине, я поехал на заправку и заправил полный бак бензина.

Моя машина давно не получала полную заправку. Кредит на нее я брал в Сити-банке. Здесь я отдал еще восемьсот евро, проценты за два месяца. В автохаузе «Мерседес» я договорился с шефом, что он примет у меня назад мою машину. Я проигрывал почти три тысячи, но дальше рисковать с кредитами не хотел. У нас была еще одна машина, подержанный «гольф», на котором ездила моя жена. Пока нам хватит одной машины. На своем «мерседесе» я мог еще до первого мая ездить.

Дома из оставшихся пяти с половиной тысяч евро я отдал жене две тысячи, оставил себе три с половиной. Для меня было уже ясно, где я буду искать исполнителя заказа моего клиента. Он должен быть не отсюда, не из Германии. Единственное место, где я хорошо ориентировался и где я мог найти такого специалиста, был юг Казахстана. Туда я намерен был поехать. По моим расчетам, трех с половиной тысяч евро должно для начала хватить.

Макс приехал снова на такси. Я видел, как он рассчитался с таксистом, бросил беглый взгляд вправо и влево и вошел в подъезд дома, где находилось мое бюро. Он вошел в бюро, прошел к столу, протянул мне руку и сел на стул. В глазах его застыл вопрос и надежда.

— Вы все обдумали? Согласны найти киллера?

Отступать мне теперь было некуда. Да и не хотел я отступать.

— Да.

Он облегченно откинулся на спинку стула.

— Каковы ваши условия?

— Я пока еще не знаю, сколько это будет стоить. Вы понимаете, что я не могу с вами оформить договор. Для гарантии вы дадите мне наличными тридцать тысяч. После выполнения договора вы мне выплатите еще двадцать тысяч. Возможно, все это будет стоить больше.

— Я согласен.

Над названной мной суммой денег он не задумался ни на минуту. Если бы я назвал еще большую цифру, мне кажется, он и в этом случае согласился бы.

— Вы мне дадите адрес человека, которого нужно будет убрать, и его фотографию. Деньги привезете, скажем так, в конце этой недели после шести часов вечера.

Он вытащил из своего портфеля знакомую мне фотографию мужчины с холодными глазами и написал на бумажке его адрес.

— Для выполнения вашего заказа мне нужно примерно полтора-два месяца. Где я вас смогу найти в случае, если возникнут какие-нибудь вопросы?

Макс замешкался.

— Я вам дам номер моего домашнего телефона. Если что-нибудь нужно срочно решить, звоните, представьтесь «Отто» и скажите, что позовите попозже. Я буду знать и на следующий вечер приеду сюда.

Во время всего разговора никто из нас ни разу не произнёс слово «убийство». Мы избегали его, мы боялись его, мы не хотели себя замарать этим словом. И имя нашей жертвы мы тоже не называли. Мы говорили о нем, как о неодушевленном предмете. Наверное, это успокаивало нашу совесть. Как бы мы ни хитрили, но то, что мы намерены были сделать, должно было стать самым заурядным убийством.

Макс уехал, а я пошёл в ближайшее бюро путешествий в центре города, заказал билет в город Бишкек и оставил свой загранпаспорт для визы. До вылета оставалось еще почти две недели.

На следующий день я взял свой дорогой фотоаппарат «кодак» с ночным объективом и поехал в соседний город. Улицу и трехэтажный дом, где жил мужчина с пустым взглядом, нашел быстро. Фамилия Косински была написана от руки на белой бумажке, косо приkleенной к самой верхней кнопке. Я поднял крышку почтового ящика. В нем лежала только одна рекламка. Похоже, хозяин был дома. Свою машину я поставил так, чтобы видеть подъезд дома, подготовил фотоаппарат, сделал два снимка дома и стал терпеливо ждать. Время тянулось медленно, и мне хотелось спать. Хмурое небо пролилось снова крупным дождем. Капли дробно били по крыше машины. Дождь перестал, и сквозь рваные просветы облаков начали стрелять лучи солнца. Снова запели птицы. От частных домов, где в палисадниках цветли деревья и цветы, несло запахом духов. По радио передавали песни старых лет, и каждые полчаса в новостях не сообщалось ничего нового. Трехэтажный дом был скучен и молчалив. Только однажды из окна на втором этаже вдруг послышалась громкая музыка и тут же оборвалась. Утром из подъезда вышли два школьника, а в десять часов неопрятно одетая женщина выскочила из подъезда, чуть ли не бегом исчезла в переулке и через двадцать минут вернулась с пакетом из булочной.

Он вышел из дома около двенадцати. Я узнал его сразу. Он был выше ростом, чем я ожидал, но выражение лица и пустые глаза были такими же, как на фотографии. В руках он держал рекламку из почтового ящика. На тротуаре он на мгновение остановился, словно раздумывая, куда идти. За это время я успел снять его два раза в полный рост. Косински пошел в сторону центра. Я вышел из машины, негромко прихлопнул дверь, замкнул ее и пошел по другой стороне улицы за ним. Он зашел в кафе, где выпил чашечку кофе и съел омлет. Примерно через полтора часа он вернулся домой и не выходил до самого вечера. Вечер его был занят посещениемочных кафе. В двух кафе он заказывал себе пиво и разговаривал о чем-то с мужчинами. В третьем кафе к нему подсела средних лет женщина. Они вместе выпили пива и водки. С количеством выпитого менялось настроение мужчины. В пустых глазах заискрилась жизнь, он оживленно говорил, и женщина смеялась после каждой его фразы. В одиннадцать часов они вышли

из кафе и долго шли по слабо освещенной улице почти до окраины города. Здесь они прошли в игротеку. Мужчина больше часа играл в бильярд, а женщина сидела у стойки бара и пила один стакан пива за другим. Около часа ночи он закончил последнюю партию, рассчитался с барменом за выпитое и вместе с женщиной, короткой дорогой, пошел пешком к своему дому. На этот отрезок им понадобился почти час. Они не торопились, часто останавливались и сливались вместе — видимо, в поцелуе. Он галантно придерживал дверь, пропуская ее в подъезд, и через пару минут на третьем этаже зажегся свет.

Я приезжал к его дому еще три дня. Распорядок его дня был всегда один и тот же. Однажды днем он дольше задержался в кафе, где разговаривал с двумя совсем молоденькими девочками. Он сказал им что-то такое, отчего девчата быстро встали из-за своего стола и вышли из кафе. Одна из них вытирала слезы и повторяла: «Подлец, подлец!».

На третью ночь он поменял партнеришу, с которой встретился во втором кафе. Но маршрут его остался все равно прежним. Он снова до часа ночи играл в бильярд и с новой партнершей пешком вернулся домой. Я отснял две полных кассеты, и когда проявил их, на плёнках был запечатлен каждый шаг Косинского. Он был снят в полный рост и вполроста, мрачным и смеющимся, трезвым и пьяным, грубым и добродушным. Кафе, их вывески и улицы, по которым проходил мужчина, тоже были на фотографиях. На карте города я жирным фломастером начертил привычный маршрут Косинского и отметил примерное время прихода и ухода из того или иного пункта.

Признаюсь, я все еще не знал, где и как буду искать исполнителя заказа моего клиента. Не мог же я, приехав в Казахстан, сразу у всех своих знакомых начать спрашивать, кого бы они мне рекомендовали в убийцы. Мне нужен был один-единственный отправной пункт, откуда я мог бы начать свой поиск. Его у меня не было. И это больше всего меня тревожило.

Моя жена училась в Технологическом техникуме. У нее есть подруга, с которой она училась и потом работала долгое время на одном предприятии, пока не вышла замуж за меня. С мужем подруги я не очень был близок. Еще там, в Казахстане, они несколько раз приезжали к нам в гости, мы однажды были у них в гостях. Сам по себе он мне не нравился. Вечно в делах, постоянные разговоры о каких-то аферах и сделках. Он работал снабженцем, и деньги у него водились. Они переехали в Германию сразу, как открыли границу. Георг или, как его друзья и близкие называли, Гоша несколько лет гонял машины в Союз, купил себе два грузовика и теперь возил товар и посылки в Россию и в Казахстан. За рулем он сам теперь не сидел. На него работали шоферы. Он занимался еще страховками и держал небольшой магазин, где за прилавком сидела его жена Соня. Когда мы еще только переехали в Германию, они приезжали к нам в лагерь. Навезли кучу продуктов, сладостей и мелочей на первый случай. С тех пор мы не виделись. По телефону перезваниваемся часто, но в гости друг к другу не ездим. Они давно звали нас к себе, но всегда что-то мешало собраться и поехать к ним. Теперь же я попросил жену позвонить и сказать, что мы приедем к ним в гости. С одной стороны, я хотел сделать перед своим отъездом в Казахстан приятное жене, которая уже давно просила меня свозить ее к подруге в гости, с другой стороны, я знал, что Гоша имеет большие связи здесь, в Германии, и там, в Казахстане. Может быть, он мне назовет какое-нибудь имя, с которого я смогу начать свой поиск.

Гоша и Соня встретили нас у порога своего нового, недавно построенного дома. Выглядели они оба хорошо. Это и понятно. Когда у человека мало проблем, когда все идет так, как запланировано, не мучают ночные кошмары, тогда в семье все ладно и настроение прекрасное. Совсем по-другому было у нас. Наверное, на наших лицах можно было прочесть, что мы озабочены отсутствием денег, что у нас куча проблем и что из-за этого напряженная ситуация в семье.

Гоша был в своем репертуаре. Он в открытую хвастал своим домом. Мебель из самого дорогого мебельного магазина, зимняя веранда, полная замысловатых растений, дорогой новый «мерседес» в гараже. Поздно вечером, когда я и он были уже в хорошем подпитии, мы вышли с ним на зимнюю веранду и присели под незнакомой мне пальмой на плетеные кресла. Он закурил толстую дорогую сигару и с удовольствием затянулся. Дым от сигары, смешанный с водочным перегаром, был не очень приятен и вызывал легкую тошноту. Но, скорее всего, тошно было от избытка выпитой водки. Я начал издалека:

— Как ты думаешь, Гоша, кто там, на юге Казахстана, держит теневой бизнес в руках? Раньше был Зият, но его, по-моему, года три, как убили.

Гоша выпустил густой дым через нос и, с сознанием своего превосходства в таких вопросах, ответил:

— Кто его убил, тот и держит там сейчас верхушку. Помнишь Мишу Мануйлова? Он был прорабом в тресте, где ты юристом работал. Вот он и держит там все в своих руках.

Мишу я знал хорошо. Это был интеллигентный мужчина с властным характером. У него были большие связи, и с ним считались все шишки как в районе, так и в городе. Я не думал, что он способен на убийство, и в то, что он убил Зията, мало верил.

— А чем сейчас занимается Баградзе Рено?

Баградзе с французским именем Рено был раньше директором крупного завода в городе.

— Он тоже сейчас крутой. У него два магазина в городе. Я возил ему несколько раз товар отсюда, из Германии. Недавно новую машину ему перегнал. По-моему, он занимается нелегально производством водки. Может быть, слухи, кто его знает.

— А кто мог Зията убить? Я не могу поверить, что сам Мануйлов убивал его.

Гоша весело рассмеялся.

— Ну конечно, он сам не убивал. Для этого есть специальные люди.

— Знаешь ты кого-нибудь из них?

Гоша удивленно посмотрел на меня.

— Почему ты об этом спрашиваешь?

Я налил по пятьдесят грамм ему и себе в рюмки. Мы выпили.

— Да так, простое любопытство.

Он не стал больше спрашивать, и я тоже перестал приставать к нему с вопросами. Мы еще посидели под искусственной пальмой, выпили по рюмочке водки и, когда женщины нас позвали, разошлись спать.

Утром, перед отъездом, когда дочка и жена уже сидели в машине, Гоша отозвал меня в сторону и сказал:

— Найди в городе Губата. Он знает все подробности о смерти Зията.

По-моему, Гоша о чем-то догадался, но боялся об этом говорить. Я сделал вид, что для меня его информация не столь уж важна.

— Мне это не так важно. Ну давай, Гоша, прощаться. Вернусь из Казахстана — позову. Приезжайте тогда в гости.

Я обнял Гошу и его жену, сел в машину и выехал со двора.

В аэропорт меня отвезла жена. Я быстро прошел все формальности, сдал чемодан в багаж и точно по расписанию вылетел на «боинге» в сторону Средней Азии. Через несколько часов самолет приземлился в аэропорту «Манас». Уже на трапе, при выходе из самолета, я почувствовал, как обжигает меня горячий ветер. Яркое солнце было в лицо и с непривычки было невыносимым. В самом аэропорту было прохладней. Меня встречал Жора. Он был в милиционской форме с капитанскими погонами. Таможенники без досмотра пропустили меня через боковую дверь. Мы обнялись. На самом деле его звали Жандарбеком, но еще в институте на первом курсе мы перекрестили его в Жору, и с тех пор для друзей и родственников он так и остался Жорой.

— Ты меня удивил, — разглядывая меня, сказал Жора. — Так неожиданно собрался ко мне в гости. Почему же без Лиды?

— Лиду на работе не отпустили. Еще отпуск не заработала. А у меня время свободное появилось — вот и решил навестить своих старых друзей.

— Молодец. Надолго?

— На две недели. Если понравится, то еще на неделю останусь, если не прогоните.

— Отдыхай. Моя Алия сейчас не работает, а я возьму отпуск до конца недели. Съездим куда-нибудь. А со следующего понедельника сам управляйся. Мне длиннее отпуск не дают. Работы много. Если захочешь куда поехать, можешь моей машиной располагать.

Мы вышли из аэропорта и прошли к его машине. Это были старенькие «жигули». После шикарных европейских марок она выглядела убого и старомодно. И внутри было просто и дешево.

— Я думал, что ты уже себе новую машину купил, а ты все еще ездишь на своем жигуленке, — сказал я.

— Хочу купить себе другую машину, но только соберу немного денег, как снова инфляция, цены вырастают, и моих денег не хватает.

— Ты же в милиции работаешь!? Милиционеры всегда жили хорошо.

— Не издавайся, Эдик. Ты отлично знаешь, кто хорошо живет, а кто плохо. Я простой инспектор уголовного розыска. Особо не разживешься.

Я не стал больше об этом говорить. Эта тема довольно скользкая и лучше ее не продолжать. Жора сосредоточился на езде, а я отвернулся к боковому стеклу и стал разглядывать проплывающий мимо ландшафт. Сразу за аэропортом начинался поселок. Раньше он был ухожен, а теперь центральная улица пестрела глубокими выбоинами. Местами асфальт совсем исчез, и за машиной поднималась и, из-за отсутствия ветра, долго стояла пыль. Начало мая, и трава вдоль обочины была еще зеленой. Там, где когда-то были плантации свеклы, обильно росли курай и камыш. Иногда в этот унылый ландшафт врезались своей свежестью зеленые квадратики люцерны и пшеницы. В одном месте дорогу долго переходили бараны. Один, рогатый и обросший чуть ли не до земли шерстью, старый баран остановился напротив «жигулей» и с любопытством разглядывал нас, сидящих в кабине. Через открытое окно влетела поднятая отарой пыль, смешанная с запахом шерсти и овечьего кизяка. За мостом через реку пошла более-менее хорошая дорога. «Жигули» разогнались, свежий воздух выгнал остатки овечьего запаха из машины, и под сквознячком стала просыхать взмокшая от пота рубаха.

В дороге мы говорили друг с другом мало. Жора сосредоточился на езде, а я наслаждался природой. Особой красоты не было, но это были места моего детства, места, где я родился, вырос, где бегал босиком по луговой жесткой, выгоревшей от солнца траве, где встретил свою первую любовь, с которой сидел ночами на холмике над рекой и любовался отражением в ней луны и яркими звездами в небе, где узнал радость первого поцелуя, надежду и первые разочарования. Для меня природа была красивой и родной, и от этого чувства близости к ней сходили в душу умиротворение и успокоение. На какое-то время ушли проблемы, забылось, зачем я приехал сюда. Опускающееся на запад солнце стало красным, и от этого еще желтее стала трава на склонах, вода в реке, вдоль которой мы ехали, стала темно-синей, прошлогодний камыш качался на ветру, сгоняя со своих мохнатых верхушек нахальных стрекоз, острыми пиками рвался вверх к солнцу молодой камыш, тополя стояли шеренгой вдоль дороги, приветствуя проезжающих. Далеко на лугу торопилось домой стадо домашней скотины, и пыль, поднятая им, в лучах заходящего солнца долго стояла в воздухе. Простор и тишина. Насытившееся зеленью Европы, отсыревшее от бесконечных дождей, уставшее от городского шума, надышавшееся химическими отбросами и выхлопными газами

сознание свернулось во мне, как кошка на коленях своей ласковой хозяйки, и, мурлыча от удовольствия, впитывало в себя этот покой и тишину.

Жора, как будто почувствовав мое состояние, задумчиво смотрел на дорогу. С ним я познакомился, когда сдавал экзамены на юридический факультет. Все пять лет учебы мы прожили вместе в одной комнате в общежитии университета. Вместе проходили практику в Министерстве внутренних дел, и после окончания университета нас обоих направили работать в районную милицию. Я попал в свой район, а Жора оказался за триста километров от своих родных. На первых порах он жил у моих родителей, где мы снова делили с ним одну комнату, пока он не получил от горсовета место в общежитии. После двух лет работы в милиции я понял, что это не для меня, уволился и перешел работать в организованный недавно в районе строительный трест юристом. А Жора в милиции нашел свое место. Он сделал карьеру. Теперь он был начальником уголовного розыска горотдела милиции. По его словам, через пару месяцев его ожидало повышение в звании, и он должен был перейти работать в областное управление. Время его почти не изменило. На мужественном лице сурово светились темные глаза, под толстым мясистым носом торчали черные усы, на голове местами уже пробивалась седина, крепкие натренированные руки уверенно сжимали руль. Он был всегда уверен в себе и, если что-нибудь надумывал, то доводил до конца.

Когда мы въехали в город, на улицах уже начали зажигаться редкие фонари. Пару минут ехали по хорошей дороге, а потом свернули в переулок и по грунтовой, неосвещенной дороге подъехали к району новых, только что построенных домов.

— Ты мне не сказал, что новый дом построил, — сказал я, выходя из машины.

— Я уже забыл, что он новый. Больше года, как переехал сюда.

Он вытащил из багажника мой чемодан, и мы поднялись на крыльцо. В коридоре нас уже ждала жена Жоры, красавица Алия. Мы обнялись. Она была действительно по-настоящему красивой. Наполовину узбечка, наполовину казашка, она была высокой истройной. Толстая коса лежала, скрученная на голове. На лице светились огромные черные глаза. Я был свидетелем на их регистрации. Вместе с ними я радовался рождению их первого и второго ребенка. Теперь дети были уже большими. Они стояли рядом с матерью и радостно улыбались мне.

— Какие джигиты уже выросли, — сказал я.

— Газиз уже третий класс заканчивает, а Болат — первый, — гордо проговорила Алия.

Бывшая учительница, она после рождения первого ребенка больше не работала и посвятила себя воспитанию детей.

В кухне варились что-то вкусное. Запах еды напомнил о голоде. Мы прошли в зал. Здесь стояла новая мебель из красного дерева, мягкий гарнитур и длинный стол. Зал был настолько длинным и широким, что вся эта мебель занимала только половину его площади. В другом конце зала на полу лежал большой толстый ковер. На нем стоял маленький круглый столик, вокруг которого были беспорядочно разбросаны подушки. В одном углу стояли два деревянных, окованных железом, сундука, в другом лежали горкой сложенные атласные одеяла. На вешалке висели два богато расшитых халата, и по стене были развешаны старинная кривая сабля, камча с нарезной ручкой, конское седло и уздечка, украшенная чеканной медью.

Из зала я вернулся в коридор. Отсюда вела широкая лестница на второй этаж.

— Что там, на втором этаже?

— Спальни детей и наша. Там и тебе комнату приготовили.

Я поднялся по лестнице на второй этаж. Дом был построен добротно и со вкусом. Чувствовался западный стиль. Я оставил свой чемодан в моей комнате и спустился снова вниз. Один недостаток в этом новом доме я все же обнаружил. На весь дом была всего одна ванная комната, совмещенная с туалетом, и она

была на первом этаже возле входа в зал. Но для частных домов в этом городе и это уже был большой шаг вперед. Как правило, в таких домах все удобства находились в огороде.

Жора пригласил меня к столу. Здесь были расставлены тарелки, стояли бокалы и рюмки, горкой лежали пахучие баурсаки, и две бутылки потели в ожидании, когда их откроют. Алия несла уже мясо и лапшу к нему. Мы выпили за встречу. Давно не ел я свежую баранину и казы. Я ел без зазрения совести. Мне стесняться не надо было. Я был в этой семье свой, и сейчас, выпивая из пиалы наваристую супру и слушая приятный голос прекрасной женщины, сидевшей у самовара, я чувствовал себя больше дома, чем там, в моей тесной квартире, на шумной улице цивилизованного европейского города. Наговорившись досыта, вспомнив все, что было и чего не было, мы поздно ночью разошлись спать.

Утром я и Жора поехали на базар. Он надел свою милицейскую форму с капитанскими погонами.

— Почему ты не ходишь в свободное от службы время в гражданской форме?
— спросил его я.

— На базар лучше в милицейской форме идти, — засмеялся он, — можно все намного дешевле купить.

Выйдя во двор, я еще раз осмотрел дом снаружи. Он выглядел массивным и удобным. Обложенный силикатным кирпичом под расшивку, покрытый медными листами, обрамленный водосточными трубами, он подчеркивал свою солидность и основательность. Во дворе стоял гараж, покрытый также медными листами. Он был закрыт. «Жигули» стояли во дворе, и я удивленно посмотрел на Жору.

— Ты почему не ставишь машину в гараж?
— Гараж занят, — ответил Жора и не стал объяснять, чем занят гараж.
— Откуда у тебя деньги на все это? Только вчера ты прибеднялся, как плохо живется работнику милиции.

— У меня богатые родители. Они помогли.
Его родителей я знал. Они всю жизнь провели в степи, на отгонах, и по тем временам они были действительно богаты.

На базаре, как всегда в воскресный день, было шумно и суетливо. Здесь многое изменилось. Базар разросся и занимал теперь в два раза большую площадь, чем раньше. Мы договорились с Жорой встретиться у входа на базар через час и разошлись в разные стороны. Он пошел к рядам с овощами, а я двинулся вдоль многочисленных маленьких киосков в надежде увидеть кого-нибудь из знакомых, кто мог бы меня навестить на Губата или Рено. В киосках можно было купить все. Товары были, в основном, из-за границы. Конфеты разных сортов, тонкое нижнее белье западных фирм, радиоаппаратура и телевизоры. Многое, что здесь увидел, я еще не встречал в Германии. В продавце одного из киосков я узнал бывшего слесаря с завода, где директором был Рено Баградзе. Он меня тоже узнал.

— Вы же работали раньше на железобетонном заводе? — спросил его я.
— Да. А вы в тресте у нас работали?
Я утвердительно кивнул головой. Задав пару дежурных вопросов, я спросил:
— Вы не знаете, где можно найти Рено?
— Он бывает иногда на своем заводе. Там у него склады. Но лучше спросите в магазине.

Он ткнул пальцем в сторону большого нового здания в конце ряда. Я распрощался с ним и пошел в сторону магазина. В магазине было прохладно и приятно пахло свежей колбасой и карамелью. За стеклом ровно гудящих холодильников лежала колбаса разных сортов, на стеллажах пестрели разноцветными фантиками карамель и шоколад, одну стену полностью занимали спиртные напитки и вина. Молодая симпатичная девушка выкладывала из картонного ящика в холодильник какие-то продукты. У кассы кавказского типа мужчина обслуживал женщину в

цветастом платье и с тяжелой сумкой в руке. У рядов с водкой стояло двое мужчин и возле стеллажа с конфетами — женщина с ребенком. Я подождал, пока расчитывается женщина с сумкой, и спросил кассира:

— Не знаешь, где я могу сейчас найти Рено?

Он задумался на мгновение и ответил:

— Он еще вчера уехал в Алма-Ату. Приедет в среду или в четверг.

— А Губата ты знаешь?

Кассир удивленно посмотрел на меня и отвел глаза.

— Нет. Не знаю.

Позади меня у кассы уже стояли женщина с ребенком и мужчина с двумя бутылками водки в руках. Я понял, что здесь мне больше ничего не добиться, и вышел из магазина.

На улице становилось жарко. Солнце стояло уже высоко, и его лучи, пробиваясь сквозь плотный материал рубахи, обжигали кожу. В горячем воздухе стояли запахи мант, шашлыка и нафталина. Хотелось пить, и я пошел к киоску, где продавали газированную воду. Этот киоск стоял на своём месте вечно. Менялись времена и правители. За социализмом наступил развитой социализм, за ним пришла перестройка. Социализм умер, и ему на смену пришел капитализм, но киоск с газированной водой все время стоял на этом месте, и возле него постоянно толпилась очередь измученных жаждой людей. И продавец, старый еврей, был тот же самый, что и пять, десять или двадцать лет назад. Он стал старше, голова стала серой от седины, но руки его по-прежнему умело ставили кружку под струю газированной воды, ловко подставляли ее покупателю, движением фокусника выхватывали деньги у него из рук и, не глядя, на ощупь отсчитывали сдачу. Наверное, если когда-нибудь умрет этот еврей, исчезнет киоск и уйдет в небытие еще что-то родное и привычное. Я с удовольствием выпил газированной воды с малиновым сиропом, вернул кружку и пошел к рядам, где спекулянты продавали новые и подержанные вещи. Никого из знакомых здесь я не увидел. Нужно было уже идти к месту встречи с Жорой.

Жора стоял у ворот и разговаривал с каким-то мужчиной. В руках он держал наполненную овощами сумку. Мы прошли к его машине и вернулись домой. После сытного обеда Жора отвез меня и своих сыновей на реку, а сам уехал на работу, куда его срочно вызвали. Боясь с непривычки сгореть на солнце, я старался, выйдя из воды, спрятаться в тени единственного на берегу дерева. Но песок под ним был все равно горячим, и его тепло приятно согревало остывшее в воде тело. Мальчикам же все было напочем. Загоревшие уже до черноты, они часами бултыкались на мелководье, строили на берегу из мокрого песка замысловатые строения, ловили стрекоз и, между делом, задавали мне массу вопросов о жизни в Германии.

— Мой папа тоже несколько раз был за границей, — горделиво заявил мне старший из них.

О том, что он был за границей, Жора мне не говорил.

— Где он был за границей? — спросил я.

— Не знаю. Один раз он приехал оттуда на новом «мерседесе». Мне привез фотоаппарат, а Болату электронный вездеход.

Я задумался. Жора еще ни разу не обмолвился, что он бывал за границей. Надо бы у него об этом спросить.

Вечером, когда мы уже изрядно выпили, я спросил Жору:

— Газиз мне сказал, что ты был несколько раз за границей. Где ты был? Почему ты мне об этом ничего не сказал?

— Это были служебные командировки. Ничего особенного. Мелкие задания от Интерпола.

Странно, подумал я, какое отношение имеет инспектор уголовного розыска какого-то бывшего города в Средней Азии к европейской организации

«Интерпол». Видно, на эту тему Жора не очень был расположен говорить, и поэтому я не стал его больше расспрашивать.

Два следующих дня я на машине Жоры навещал моих бывших знакомых. Не каждому я мог задать вопрос о Губате. Чем занимается Рено Баградзе и где его найти, тоже мало кто знал. Оставалась одна возможность — поехать к заводу и там, может быть, его встретить.

Завод выглядел заброшенным. Там, где раньше были ворота, остались только две бетонные колонны. Здание завоудоуправления смотрело пустыми окнами на проезжую часть. Я остановился напротив въезда на территорию завода так, чтобы мне видны были сам завод и вход в управление. Видневшаяся поодаль заводская котельная выглядела тоже заброшенной. К ней тянулись заржавленные железнодорожные рельсы. Территория завода заросла кураем и перекатиполем. Я засомневался, что могу здесь встретить Рено, но все же решил с час подождать. Ярко светившее солнце начало нагревать кабину «жигулей», и я опустил боковые стекла. Стало легче дышать. Легкий ветерок, хоть и был горячим, но все равно немного освежал вспотевшее тело.

Примерно через полчаса из дверей конторы вдруг вышел мужчина. Издалека его национальность нельзя было угадать. Мужчина был высоким, и когда выходил из конторы, ему пришлось пригнуться. Он минут пять смотрел в мою сторону и опять исчез. «Значит, здесь все-таки кто-то есть», — подумал я и вышел из машины. Послышался шум работающего мотора. На улицу въехал крытый тентом КамАЗ. Он обдал меня вонью подгоревшего сцепления, запахом солярки и выхлопными газами. Из-за поднятой машиной пыли стало тяжело дышать. Я закашлялся. КамАЗ, не сбавляя скорость, влетел на территорию завода и по разбитой колее скрылся за цехами. Если мне память не изменяет, там были заводские склады.

Я сел в «жигули» и проехал к заводским цехам. Припарковав машину в тени, я вошел в цех. Здесь было прохладно, и из-за открытых ворот и разбитых окон гулял сквозняк. Толстый слой пыли покрывал пол, заржавленные стальные конструкции машин и вибраторные столы. Кое-где по пыли через цех тянулись цепочкой следы чьих-то ботинок. Под стеклянным фонарем по центру цеха из конца в конец тянулась ровная горка птичьего помета. И сейчас голуби и вороны сидели на крыше по краю фонаря и вели свои птичьи разговоры. На противоположной стороне цеха от ворот остался только стальной каркас, который криво висел на лопнувших навесах, угрожая в любую минуту упасть.

КамАЗ я нашел у складов. От мотора шло еще тепло. Из левого бензобака капала в пыль солярка. Ни одной живой души не было видно. Я открыл кабину КамАЗа. Оттуда понесло запахом пива и вонючими носками. В одном месте тент на кузове машины не был прикреплен к борту. Я приподнял его. КамАЗ был битком загружен ящиками с водкой. Все время, пока я крутился вокруг КамАЗа, меня не покидало чувство, что за мной кто-то наблюдает.

— Эй! Есть здесь кто-нибудь?! — крикнул я.

В цехах эхо повторило мои слова. Никто не отозвался. Длинные склады тянулись вдоль всего заводского здания. Три железные двери были недавно покрашены, и на двух из них висели массивные замки. Напротив того места, где стоял КамАЗ, дверь была слегка приоткрыта, и замок висел на проушине, поскрипывая на ветру. Я вошел в открытую дверь. Здесь было темно. Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидел перед собой мужчину метра в два ростом. Он ударил меня чем-то, отчего у меня вдруг лопнуло в голове, заискрилось в глазах, и я провалился в беспрестанство.

Как долго я был без памяти, не знаю. Очнулся от боли. Тонкий шнур, стягивающий сзади мои руки, врезался в кожу, голова тупо болела, и в правое плечо била колющая боль. Сырая, неощутимая комната освещалась тусклой лампочкой. Окон не было, и только через чуть приоткрытую дверь пробивался дневной

свет. Из дальнего от меня угла слышалась какая-то возня. Я с усилием повернулся в ту сторону. Боль в голове от этого стала еще сильнее, и плечо пульсирующее заныло. В углу, стоя на одном колене, возился верзила. Он вытащил из кучи хлама старый, разорванный мешок и какую-то еще тряпку.

— Послушайте, товарищ, отвяжите меня, — с усилием выговорил я.

Он встал с колена, подошел ко мне, бросил на пол мешок и тряпку и ударил меня в левый висок. От удара я повалился на бок, как раз на то место, где лежали тряпки.

— Заткнись, мусор!

Он говорил с чеченским акцентом. Я теперь лежал на полу, на больном плече, и от удара голова наполнялась гулом, уходило сознание и подкатывала тошнота. Снизу верзила выглядел великаном. От его ног, обутых в стоптанные сандалии, несло вонью. Он ударил меня ногой в живот и, выключив свет, вышел. Дверь закрылась, щелкнул замок, и комната погрузилась в темноту. Как ни пытался, я не мог обнаружить даже маленький проблеск света вокруг меня. Я вращал широко открытыми глазами в разные стороны, но, кроме усиления боли в голове, это ни к чему не привело. В меня медленно вплзазл страх. То ли от страха, то ли от холодного пола меня начало трясти. Непроизвольно потекли слезы из глаз. Так я пролежал еще примерно час. Связанные руки онемели, и я их уже не чувствовал. В голове настойчиво звучала фраза: «О mein Gott!». Мысленно я начал себя убеждать в том, что все происходящее теперь со мной — это наказание Божье.

Со стороны дверей послышался какой-то шорох. Хлопнула где-то дверь. Тонкими ниточками заискрились лучики света. Дверь неожиданно открылась, и две фигуры вырисовались в ее проеме. Один был поменьше ростом, а у второго голова чуть ли не упиралась в верхний косяк. Разглядеть я их не мог. Мешал свет за дверью. Было больно смотреть в их сторону. Я зажмурил глаза. Что-то сказать сил не было. Во рту у меня пересохло и, казалось, язык присох к нёбу.

— Ты кто такой? — спросил тот, что пониже.

Я собирался с силами, чтобы ответить, но верзила меня опередил:

— Да мусор он, шеф. Я на базаре его с Жорой видел. Что с ним чикаться. Давай, я его в мешок запихаю и в реку выкину. Пусть сдыхает.

Тот, который пониже ростом, подошел ко мне и наклонился.

— Эдик! — удивленно вскрикнул он. — Ты что тут делаешь?!

Я узнал его голос. Это был Рено.

— Я тебя искал, — с трудом выдавил я из себя.

Глаза меня не слушались, устало закрывались, и я проваливался то ли в беспамятство, то ли в сон. Издалека доносился чей-то крик: «Дурак! Осел!» Кто-то тормошил меня. Я чувствовал, что куда-то лечу, и этот полет был бесконечен и приятен.

Очнулся на диване, в комнате, оклеенной светлыми обоями. Наполняя комнату прохладой, равномерно гудел кондиционер. Какая-то женщина сидела возле меня на корточках и массировала кисти моих рук. В них постепенно возвращалась циркуляция крови, и от этого пальцы слегка покалывало. Увидев, что я очнулся, женщина поднесла к моим губам стакан холодной воды. Я жадно и торопливо выпил воду.

— Ну отошел? — послышалось из дальнего угла.

Там в кресле у письменного стола сидел Рено и курил сигарету. Ее голубоватый дым слоисто распределялся по комнате и, дойдя до меня, вызывал легкое щекотание в носу.

— Что ты тут потерял, Эдик? Жора знает, где меня найти. Я бы сам к тебе приехал.

— Ты знаешь Жору? — спросил я.

— Жора свой человек. Коньяк будешь?

Я кивнул головой. Мне стало лучше, головокружение и боль в голове ушли. Продолжало еще болеть плечо и по-прежнему покалывало в пальцах. Рено подал мне наполовину наполненный стакан с коньяком, себе плеснул на донышко. Мы выпили и закусили ванильными пряниками, лежавшими горкой в тарелке на тумбочке возле дивана.

— Хорошо, что я приехал. Этот идиот убил бы тебя без зазрения совести. Для него все, кто связан каким-то образом с милицией, кровные враги.

— Он твой телохранитель?

— Нет. Завскладом.

— У тебя здесь склады? А завод — что с ним?

— То, что я выпускал на заводе раньше, сейчас никому не нужно. Я его уже лет пять как закрыл. Оборудование и все, что можно было, снял и продал. Кое-что здесь еще на складах лежит. Занимаюсь теперь торговлей. У меня здесь в городе два магазина и ресторан в Алма-Ате.

— Водку сам производишь?

— Нет. Раньше, года три назад, у меня был подпольный цех, а сейчас с братом построили в Бишкеке маленький заводик и делаем водку разных марок совсем законно.

Рено открыл холодильник, достал оттуда три красиво оформленные бутылки Посольской водки, сложил их в полиэтиленовый пакет и положил возле меня.

— Тебе с Жорой. Пейте. Хорошая водка. Зачем ты искал меня?

— Мне нужен Губат. Ты знаешь его?

— Знаю. Почему ты ищешь?

— У меня к нему деловой разговор.

— Что у тебя может быть общего с этим мафиози?

Я засмеялся. От смеха снова запульсировало в затылке.

— Так. Есть одно дело.

Рено налил опять коньяк в стаканы. В комнату вошла женщина. Она несла поднос, на котором лежали нарезанная кружочками колбаса, хлеб, редиска и несколько хвостиков зеленого лука.

— Закусывай, — сказал Рено и выпил из своего стакана. — Я попытаюсь найти Губата.

Мы допили остатки коньяка и вышли на улицу.

— Сможешь ехать? — спросил Рено.

— Да.

Подошел верзила. Он издевательски улыбался.

— Шеф, водку выгрузили. Отправить водителя отдыхать?

— Да. Пусть сегодня отдыхает.

Во мне зрела злость. Этот скот хотел меня убить. За что?! И ведь убил бы! Гад!

— Эй, идиот, иди сюда, — позвал я верзилу.

Его улыбка тут же сошла с лица.

— Что тебе надо, мусор?

Рено сказал ему что-то по-азербайджански. Верзила повернулся ко мне спиной и стал уходить.

— Стой!

То ли от выпитого, то ли от накопившейся злости, но для драки я уже созрел. Я догнал его и с силой рванул за рубаху, отчего она неожиданно разошлась по шву. Он развернулся и хотел меня ударить, но я опередил его и так, как меня учили на занятиях по каратэ, ударил его ногой в пах. Лицо его исказилось от боли, и он начал медленно опускаться на пыльную землю. От второго удара в лицо он повалился на бок. По-моему, он потерял сознание. Рено схватил меня сзади и оттащил от верзилы.

— Ты же убьешь его. Ну и дурак же ты, Эдик! — он толкнул меня в сторону «жигулей». — Езжай отсюда. Скажи Жоре, я приеду сегодня вечером к нему.

Верзила очнулся и пытался встать с земли. Его налитые кровью глаза зло смотрели на меня.

— Я тебя, мусор, зарежу или пристрелю, клянусь матерью, — выдавил он из себя.

— Смотри, как бы я тебя сам не прибил, козел, — прокричал я в ярости.

Водитель КамАЗа и Рено взяли чеченца под руки и повели в склад. Женщина у дверей склада одобрительно улыбалась мне. Видимо, чеченец и ей был уже поперек горла.

«Жигули» стояли теперь на солнце, внутри все нагрелось, и воздух был горячим. Я открыл оба окна, сел за руль, завел мотор и выехал с территории завода. От жары внутри машины меня еще сильней развезло, и я почти ничего не соображал. Выпитое вместе с закуской подкатывало к горлу, вызывая тошноту. Надо было бы остановиться, но я сейчас хотел только одного: добраться до дома Жандарбека, облизаться под душем холодной водой, лечь в прохладной комнате на мягкую постель и отключиться.

Алия была дома. Я, еле ворочая языком, сказал, что пойду в душ, и исчез в ванной комнате. Холодная вода била в мое тело, вызывая дрожь. В мозгах прояснилось, но усталость и желание спать остались. Мне по-прежнему было тошно. Я тут же вырвал в унитаз. Стало немного легче. Наверное, от удара по голове я получил легкое сотрясение. Не могло же мне быть так плохо от выпитого коньяка. Прихватив свою одежду, я в трусах поднялся на второй этаж, вошел в спальню и свалился на кровать. Засыпая, слышал, как меня о чем-то спрашивала Алия, но ничего не понял, и отвечать желания не было.

Проснулся, когда за окнами было уже совсем темно. Через щели прикрытой двери пробивался свет из коридора. За стенкой, в комнате детей, была слышна музыка. Мой мочевой пузырь должен был вот-вот лопнуть. Я не стал ждать этого момента, быстро влез в брюки и спустился в туалет. Из зала слышны были голоса. Я заглянул на кухню. Алия бросала как раз широко нарезанную лапшу в кастрюлю. Приятно пахло свежей бараниной и бульоном.

— Проснулся? — улыбнулась она мне.

— Кто в зале?

— Рено и Жора. Кушать хочешь? Иди в зал.

Я поднялся снова наверх, надел футболку и спустился в зал.

Жора и Рено пили водку. В бутылке оставалось еще грамм двести. Жора налил сто грамм в бокал и подвинул ко мне.

— Нет, спасибо, я пить не буду. Что за праздник у вас, что вы в будний день пьете?

— Я-то пью вечером, — засмеялся Жора, — а вы с утра уже заквашенные.

— Мы стресс снимали, — сказал Рено.

— Меня один идиот сегодня чуть не убил. Если Рено случайно не объявился бы на складах, кто его знает, что со мной сейчас было бы.

— В следующий раз на случай лучше не полагаться, — сказал Жора и спросил у Рено: — Это опять твой чеченец был? Он уже всем хорошо надоел.

— Мне тоже. Уволю я его. По-моему, он какими-то махинациями за моей спиной занимается. Вечно возле него какие-то подозрительные лица крутятся.

— Я знаю, чем он занимается, — задумчиво проговорил Жора. — Я таких типов сразу бы к стенке ставил. Без суда и следствия.

— Жора, ты же служитель власти, — засмеялся Рено. — Хорошо, что не ты законы придумываешь. По твоим законам, каждого второго надо бы расстрелять, и меня в том числе. Может быть, чеченец ничем темным не занимается. Просто у него характер такой паршивый.

— Я знаю, что говорю, — с какой-то злобой в голосе проговорил Жора. — Этот твой идиот плохо кончит. Я в этом уверен.

Я в их дискуссию не вмешивался, но мне странно было слышать эти слова от Жоры. Раньше он был много терпимей к людям. После его слов у меня на душе стало неспокойно. Если бы знал Жора, зачем я здесь, то, наверное, я был бы одним из первых кандидатов на место у стенки для расстрела. Или, согласно его теории, мне нужно памятник поставить? Кто я на самом деле? Заурядный убийца или рука правосудия? Ни тем, ни другим я не хотел бы быть, и самое большое желание моё было — бросить всё, уехать обратно в Германию и навсегда забыть эту историю. Но что-то удерживало меня. Где-то в самом углу моей совести сидело еще маленькое сомнение, которое оправдывало меня и мешало сделать этот единственно правильный шаг. Это как утопающий в океане: он видит вдалеке парус и изо всех сил держится на плаву — в надежде, что скоро придет его спасение, но парус исчезает вдали, и единственное, что ждет пловца, — это дно океана.

Я так замкнулся в своих мыслях, что не слышал, как Жора о чем-то спрашивал меня. Только когда он толкнул меня в плечо, я пришел в себя.

- О чём задумался, Эдик?
- Так, ничего особенного.
- Пить не пьешь и не кушаешь.
- Спасибо, Жора, нет аппетита.

Мне действительно не хотелось есть. Чтобы не обидеть хозяйку, я выпил пиалку сорпры, и этого мне хватило. Рено выглядел усталым и бесцельно тыкал вилкой в тарелку, пытаясь зацепить лапшу.

- Позвони брату, — сказал он Жоре, — пусть приедет и заберет меня.

Жора пошел к телефону звонить. Мы еще минут десять говорили на разные темы, и когда на улице просигналила машина, с облегчением встали из-за стола.

- Проводи меня на улицу, — сказал мне Рено.

Я вышел вместе с ним к машине. За рулем сидел его младший брат. Он из машины не выходил.

— Я говорил с Губатом, — сказал Рено. — Приходи послезавтра к восьми часам в ресторан на Западе. Я вас познакомлю.

Рено сел в машину и уехал. Я вернулся в дом. Жора еще сидел за столом. Вторая бутылка водки была наполовину пуста. Я знал, что ему надо много выпить, чтобы опьянеть. Вот и сейчас он не был пьян, но таким я его еще не видел. Он смотрел отсутствующим взглядом куда-то в одну точку на стене, и мысли его были совсем далеко. Я оставил его одного и прошел на кухню. Алия домывала посуду. Она тоже о чём-то думала, и когда я вошел в кухню, испуганно вздрогнула.

- Что это с Жорой? — спросил я. — Сидит в зале какой-то потерянный.
- Устал, наверное.

Она проговорила эти слова с напряжением, и видно было, что ей ни о чём не хотелось говорить.

- Уже поздно. Пойду спать.

Спать мне не хотелось, но и здесь я был в этот момент лишний. Я поднялся наверх, лег в свою постель и стал читать начатую раньше книгу.

До встречи с Губатом было еще два дня. Червь сомнения продолжал грызть меня. Их было даже два. Один вгрызался в меня, требуя свернуть мою сомнительную миссию, другой ставил мне вопрос за вопросом. И главный вопрос был, нужный ли это человек — тот, с которым я должен встретиться в ресторане. Как мне с ним говорить? Как начать разговор? Сомнения, сомнения...

Май был прекрасен. Давно не видел я такого тепла. Термометр в тени показывал больше тридцати градусов. После апрельских дождей отовсюду лезла зелень. Маки окрасили в красный цвет поля и обочины дорог. Цвела сирень, вызывая в

груди тоску и желание любви и ласки. Вода в реке была теплой, и нагретый песок прогревал тело до последней косточки. Каникулы еще не наступили, и на берегу было тихо. Иногда пролетит сорока, степная куропатка, забыв об осторожности, пробежит мимо, в лощинах, где после весеннего разлива реки стояла еще вода, важно вышагивали цапли, вылавливая неопытных, только что народившихся лягушат и головастиков. Ласточки, предвещая и в дальнейшем хорошую погоду, суетливо летали высоко в небе. Вдалеке, на другом берегу, виднелась чабанская юрта. Оттуда приносило ветром запах горелого кизяка и кислого молока. После весеннего паводка вода в реке упала до нормального уровня, и теперь течение было не таким быстрым, но все равно: там, где берега круто обрывались к реке, нет-нет, да было слышно, как вдруг с громким всплеском падал в воду кусок подмытого берега. От этого звука, как после сигнала, просыпалось все живое вокруг. Тяжело поднимались перепелки с земли, испуганно верещали воробыши, суслики спасались в своих норах, собаки на другом берегу начинали громко лаять в эту сторону, цапли замирали на своих тощих ногах, вытягивали длинные шеи и удивленно смотрели в сторону всплеска. Было жарко, но терпимо. Мое тело почти не ощущало эту жару. Это, наверное, потому, что я родился в этих местах и мой организм с рождения был приспособлен к такому жаркому климату. Я лежал на берегу, наслаждался тишиной и окружающей природой и старался отключиться от мрачных мыслей. И когда мне это удавалось, я был по-настоящему счастлив.

Я пришел в ресторан к восьми часам. Людей в нем было еще мало. Через затемненные шторами окна пробивались лучи заходящего солнца. У гардероба перед входом в главный зал уже зажгли настенные плафоны. Я прошел в зал. Здесь было тихо. Несколько пар сидело в затемненных и огороженных барьерами углах. Два молодых официанта скучали у стойки бара. Из кухни слышен был оживленный разговор двух женщин. Я занял место в одной из кабинок и стал изучать меню. Тут же подскочил официант и в ожидании остановился напротив меня. Честно говоря, есть мне не хотелось. Алия нажарила к обеду беляшей, и я в охотку съел их с десяток. Под вечер я напился чаю с баурсаками и теперь был сыт. Увидев, что в меню стоит окрошка, я решил все же заказать себе тарелочку. От жирной еды сущило во рту, и окрошка была бы кстати.

— Порцию окрошки и бутылку пепси, — заказал я официанту.

Тот быстро что-то черкнул в своем узком блокнотике и тут же исчез.

До отъезда в Германию я был несколько раз в этом ресторане. Он был не очень популярен. Серые стены, бедная обстановка, назойливый запах протухшего мяса из кухни, мухи, крошки на полу — так выглядел этот ресторан раньше. Типичная столовая. Теперь же из кухни несло чем-то вкусным. Вдоль стен главного зала располагались отдельные кабинки для гостей. Их деревянные перегородки были украшены резьбой по мотивам казахских сказок. Мебель из красного дерева, стулья, обитые зеленым плюшем, хрустальные люстры, свисавшие с потолка, еле слышное журчание кондиционера, праздничная одежда официантов и чистота создавали уют и вызывали доверие.

Официант принес мне окрошку в глиняном горшке. К окрошке подали деревянную ложку. Вместо хлеба в плетеной корзиночке лежали свежие, только что из тандыра, лепешки.

Рено задерживался. Зал постепенно наполнялся людьми. В дальнем от меня углу на маленькой сцене появились музыканты, которые не спеша начали расставлять свою аппаратуру. К двум прежним официантам добавились две новые официантки. Одну из них я знал. Она училась со мной в одной школе. Одно время я ухаживал за ней, но ей в то время нравились другие мальчики. Я с интересом наблюдал за ней из своей кабинки. Плотно прилегающая белая блузка красиво обтягивала полную упругую грудь, синяя мини-юбка подчеркивала ее фигуру и приглашала любоваться стройными ногами. Она дежурно улыбалась, принимая

заказы, и от улыбки вздергивался нос, а по углам губ появлялись две симпатичные складочки. Когда она, получив очередной заказ, спешила на кухню, я окликнул ее.

— Тоня, привет.

Она удивленно глянула в мою сторону и радостно улыбнулась.

— Не уходи, Эдик, будет посвободней, поговорим.

Рено пришел на целый час позже назначенного времени. В зале уже играла музыка, и несколько пар танцевали. На улице становилось темно, и в зале зажглись люстры, но в кабине оставался полумрак. Я задумчиво слушал мелодию старинного танго и не заметил, как пришел Рено. Он остановился в дверях кабинки.

— Эдик, привет. Заждался? — он протянул мне руку. — Знакомься, Губат.

Я приподнялся и пожал протянутую через стол ладонь. Она была тонкой и мягкой. Ее пожатия я почти не ощущал. Молодой человек сел за стол. Ему было не больше тридцати лет. На тонком продолговатом лице сидели модные очки, через которые задумчиво смотрели карие глаза. Черные волосы были смазаны какой-то мазью и аккуратно уложены. Лицо гладко выбрито, только над тонкой верхней губой пробивалась двухдневная щетина. В ресторане его хорошо знали. Официант сразу объявился в нашей кабинке. Губат что-то сказал ему по-казахски, тот черкнул ручкой в своем блокнотике. Рено заказал себе гуляш и бутылку коньяка. Я попросил принести мне бутылку пива. Губат все время молчал. Говорил, в основном, Рено. Он спросил, как мне отдыхается, чем занимается Жора, пожаловался на жару, посмеялся над тем, что меня чуть не убил его завскладом. Принесли заказанное. Рено разлил коньяк по рюмкам. Мы молча выпили. Они оба ели сосредоточенно, так, как будто в этом был весь смысл нашей встречи. Я пил холодное пиво и наблюдал, как работает в зале Тоня. Мы выпили еще один раз, после чего Рено встал и ушел в сторону выхода, где был бар и туалеты. Губат отложил вилку и нож и вопросительно уставился на меня. Я подождал мгновение, вытащил из нагрудного кармана фотографию и положил ее возле его рюмки.

— Я частный детектив. Этот человек живет в городе Н. Мой заказчик попросил меня найти человека, который смог бы выполнить одну опасную работу.

Слово «убить» я выговорить не мог. Губат скептически посмотрел на меня.

— Его надо убрать? — вопрос прозвучал так буднично, как будто речь шла о чем-то неодушевленном.

Я кивнул головой. Он взял двумя пальцами фотографию и долго смотрел на нее.

— Что у тебя есть о нем?

— Все. Адреса, привычки, где он бывает ночью, какой дорогой уходит из дома и какой возвращается, времена ухода и времена прихода домой.

Губат ткнул пальцем в сторону бара, где обслуживал посетителей пожилой узбек.

— Завтра отдашь ему конверт.

— Сколько это будет стоить?

— Двадцать пять тысяч долларов.

Он поймал мой взгляд, неожиданно улыбнулся и сказал по-немецки:

— Sonderangebot.

Он налил себе и мне по полрюмки коньяку, выпил, поднялся из-за стола, вытащил из бумажника несколько долларовых бумажек, положил их под свою тарелку и сказал мне:

— Оставь свой германский телефон у бармена. Через три-четыре недели тебе позвонят.

Рено он не стал ждать, а сразу ушел. Когда он проходил мимо столиков в зале, мужчины, сидевшие за ними, уважительно приподнимались, здороваясь с ним. Он слегка кивал головой и, нигде не задерживаясь, вышел из ресторана. Когда

Рено вернулся из туалета, он даже не удивился отсутствию Губата. Мы выпили еще по полной рюмке и стали вспоминать времена, когда существовал еще наш трест, когда мы были заняты, казалось, настоящей работой, когда мы еще верили в полезность того, что мы делали. Сейчас, с высоты прошедших лет, мы стали понимать, до какой степени наивны были мы раньше.

В этот раз я снова напился. Может быть, во мне все настойчивей просыпалась совесть, которая сопротивлялась тому, что я делал. Чем ближе был я к своей цели, тем сильнее рос во мне внутренний протест. Единственным способом уйти от этого протеста был алкоголь. Я никогда не был пьяницей, но теперь я вливал в себя пиво, коньяк или водку без счета, не думая о завтрашней головной боли, о приступах язвы желудка и об удивленных и осуждающих взглядах жены Жандарбека.

К двум часам ночи Рено уже был не в состоянии что-то говорить. Бармен с помощью официанта вывел его на улицу, и кто-то знакомый увез его домой. Я сидел в своей затемненной кабине и пьяно наблюдал, как Тоня рассчитывалась с последними посетителями ресторана. Она выглядела устало. Белая блузка местами плотно прилегала к потному телу, и соски на груди мелко подрагивали, когда она, подпрыгивая на своих голенастых ногах, шла к буфету. Во мне просыпалось желание. Мне хотелось потрогать эти упругие соски, целовать их, гладить ее бедра и обнимать узкую талию. Мне казалось, я снова в девятом классе, стою у стены в коридоре и завистливо смотрю, как десятиклассник Петя, лучший футболист школы, обнимает в укромном месте, за гардеробом, первую школьную красавицу.

Она пришла ко мне, когда музыканты собрали уже инструменты. В зале никого не было. Бармен у стойки буфета подсчитывал выручку. Из кухни слышался стук посуды. Я выглядел, наверное, смешно, потому что Тоня с улыбкой смотрела на меня. С трудом ворочая языком, я спросил:

— Закончила работу?

— Да. Ты всегда так пьешь, Эдик?

Я не ответил, а попытался встать из-за стола. У меня это плохо получалось. Она, продолжая улыбаться, подхватила меня под локоть и, с трудом удерживая, повела к выходу.

— Вызвать тебе такси?

— Нет. Пойдем к тебе.

Самым трезвым во мне было желание, и оно было сильнее алкоголя, головной боли и усталости. Я готов был разделить Тоню здесь, прямо на крыльце ресторана. Мои руки шарили по ее телу. Она молча терпела мое хамство. Иногда только, когда я доходил до слишком интимных мест, перехватывала и убирала мою руку. Я не задумывался почему-то над тем, что она может быть замужем, что дома ее ждет семья и что у меня могут быть неприятности. Желание заполняло меня всего так, как будто у меня не было других чувств, других понятий, и в мозгу была только одна извилина, как у животного во время гона. Я не помнил, как очутился в доме Тони. Запомнились только какие-то обрывки. Включившийся и выключившийся свет в прихожей, стук двери, одежда, оказавшаяся на полу, и слова Тони: «Ну ты и идиот, ну ты и идиот!». Она говорила их почему-то совсем тихо, еле слышно, но в моей голове они отдавались многоголосым эхом. И потом наступила тяжелая, давящая тишина.

Проснулся я под утро. Где-то за окном, радуясь наступающему рассвету, пел соловей. Какие-то другие птицы пытались с ним соревноваться, но их пение было блеклым и невыразительным. Моя голова пульсировала болью, и язык присох к нёбу. Рядом спокойно дышала женщина. Ее левая нога до самого бедра была открыта, короткие волосы были взлохмачены, и левая рука упиралась мне в плечо. Ночью, кажется, я изнасиловал эту женщину, но было ли это в действительности,

сомневался. Я сомневался, был ли я вообще в эту ночь на что-то способен. Осторожно встав с постели, я стал собирать разбросанную по комнате одежду. Женщина проснулась. Она, стыдясь, прикрыла голую ногу и бедро.

- Уже уходишь?
- Да. Прости меня, Тоня, я был пьян.
- Ничего. Свои же. Приходи сегодня, я работаю только до десяти часов вечера. Собрав одежду, я оделся.
- Ты хочешь, чтобы я пришел?
- Да.
- Ты не замужем?
- Была. Два раза. Вон, в соседней комнате ребенок спит.
- Ты знаешь, я через неделю уеду.
- Ну и что? Ты мне всегда нравился. Только раньше слишком несмелый был. Она засмеялась.
- Хорошо. Я приду к десяти в ресторан.
- Захлопни дверь за собой.

Она повернулась ко мне спиной и ровно задышала. Я вышел, стараясь не шуметь. Во дворе у колонки стояло ведро с водой. Я жадно припал к ведру, и когда почувствовал, как изнутри уходит жар, окунул всю голову в ведро. До дома Жоры надо было пройти почти полгорода. Я был рад этому. Прохладное утро, тишина и размеренная ходьба располагали к мыслям. А подумать было о чем. Например, о том, что я впервые в жизни изменял своей жене. Дело даже не в том, было ли у меня что-то в эту ночь с Тоней или нет. Дело в том, что я по-настоящему хочу ее. И сегодня я пойду к ней. Я уже теперь с нетерпением ждал вечера и встречи с Тоней. Совесть моя в данном случае не сопротивлялась и была спокойна. Другое дело — мой заказ, который был почти выполнен. Мне оставалось только все, что касается Косинского, вложить в конверт и отнести бармену в ресторан. И тут моя совесть по-настоящему сопротивлялась. Хотелось все бросить, уехать в аэропорт и улететь домой. Я знал, что если доведу дело до конца, то в будущем меня будут постоянно преследовать холодные глаза Косинского. Но бросить все и уехать я не мог. Однажды в юности я случайно оказался у мясокомбината в Караганде. С той стороны, где принимают скот на убой. Стадо двухгодовалых бычков входило в огороженный досками проход. Он сначала был широким, потом все больше сужался, и в конце хватало места для прохода только одного бычка. Скотина чувствовала, наверное, что ее ждет впереди. Бычки искали выход справа и слева, пытались повернуть назад, но сзади напирали другие бычки, справа и слева был забор, и идти можно было только вперед, где ждал их неизбежный конец. Я чувствовал себя одним из этих бычков. Назад и в сторону уйти я не мог, и путь для меня был только вперед.

В доме Жоры, кроме него, все еще спали. Он сидел на кухне и ел булочку с маслом, запивая чаем. Мы поздоровались. Он налил мне свежего чая и подвинул ко мне тарелочку с булочками. Внимательно всмотревшись в меня, он поднялся со стула и ушел в зал. Оттуда он вернулся с пачкой аспирина.

- Выпей аспирин, а то на тебя страшно смотреть. Хочешь похмелиться?
 - Нет, нет! — поспешил ответить я.
- Одно напоминание о выпивке вызывало у меня тошноту.
- Я приеду сегодня поздно. Тебе машина нужна?
 - Нет.
 - Тогда я на «жигулях» уеду. Если что, звони. Может быть, пойдешь с Алией на базар? Ей надо кое-что купить.

- Я останусь дома. Отдохну.
- Да, тебе отдых нужен, — засмеялся Жора и вышел.

Проснулся я уже перед обедом. Голова больше не болела, но во рту было по-прежнему противно и сухо. Я спустился вниз. Дома никого не было. Видимо,

Алия ушла на базар, а дети были еще в школе. Я заварил себе крепкий чай, подсластил его малиновым вареньем и выпил подряд три стакана. Мне хотелось на речку, в прохладную воду. Жаль, что Жора уехал на машине, придется ехать километра четыре на велосипеде, а педали крутить не было никакой охоты. Я стал бесцельно бродить по дому. С того момента, как приехал, у меня, в сущности, не было времени его по-настоящему осмотреть. В зале я внимательно рассмотрел висевшие на стене уздечку, седло и саблю. Кожа уздечки и седла была старой, потемнела от времени и от многолетнего трения местами лоснилась. Бронзовая чеканка покрылась зеленоватым налетом. Вещи были сделаны рукой мастера, и им было, по всей видимости, больше ста лет. Настоящей редкостью была сабля. И на сабле, и на ножнах была нанесена тончайшая резьба по восточным мотивам. Костяная ручка заканчивалась разинутой пастью змеи. Я вытащил саблю из ножен. Ручка удобно легла в ладонь, приятная тяжесть напрягала мои мышцы, угрожающее остриё тускло поблескивало. Не одна голова, наверное, слетела с плеч, прежде чем люди придумали новые способы уничтожения себе подобных. Теперь и сабля, и седло, и уздечка одиноко висели на непривычной для них кирпичной стене, окруженные современной мебелью и слабыми людьми.

На втором этаже я заглянул в спальню Жоры и Алии. Мебель стояла новая, и откуда-то из Европы. Постель была аккуратно заправлена и накрыта атласным покрывалом. На комоде под зеркалом было расставлено все то, без чего современная женщина в наше время обойтись не может. Набор этот одинаков — что в Берлине, что в Лондоне, что в Сиднее, в Москве или в дальнем среднеазиатском городке. Разница только в этикетках, количестве, качестве и цене.

В детской комнате было все просто. Две односпальные кровати, шкаф, два стола для занятий, фотографии Шварценегера и какой-то фотомодели в мини-юбочке на стене и забытые игрушки в углу в коробке.

В коридоре была еще одна дверь. Она была все время заперта, но сегодня оказалась приоткрыта, как бы приглашая войти в нее. Мне давно было интересно, что за этой дверью, но хозяев спрашивать об этом было неудобно. Я открыл дверь и вошел в маленькую и узкую комнату без окон. Через открытую дверь поступало достаточно света, и я мог ее хорошо рассмотреть. Справа, почти против двери, стоял продолговатый сейф, в котором обычно хранят охотничьи ружья. Он был заперт. Слева стоял двухтумбовый стол и рядом стул. На столе лежали пачка бумаги, русско-английский и русско-французский словари и квадратная деревянная коробка. Я открыл ее. В ней лежал аппарат, который я видел только в кино. Это был оптический прибор дляочной стрельбы. В свое время мы с Жорой начали заниматься в секции каратэ. Очень быстро у него интерес к каратэ пропал, а я все пять лет учебы в университете продолжал заниматься и был однажды призером городских соревнований. Жора же увлекся стрельбой. Он далеко пошел бы, если бы случайно не сломал себе правую руку. После этого он только тренировался в стрельбе, но в соревнованиях больше не участвовал. Разглядывая прибор, я думал, что он нужен Жоре для ночной охоты. Я выдвинул верхний ящик стола и обнаружил там еще одну коробку. В ней в специальных ячейках лежали пистолет неизвестной мне конструкции, две обоймы с пулями и продолговатый глушитель к пистолету. Этот оружейный набор и оптический прибор стоили, насколько я знал, кучу денег и простому человеку они недоступны.

Внизу послышались голоса. Пришли дети. Я закрыл коробку с пистолетом, за-двинул ящик и вышел из комнаты. Спустившись по лестнице вниз, я сказал мальчишкам, что поеду на велосипеде на речку, и вышел из дома. Велосипед стоял прислоненный к воротам гаража. Я заглянул в щель гаражных ворот. Лучи солнца пробивались через редкие щели внутрь и отражались ярким блеском на черном лаке машины, марку которой я определить не мог.

Я крутил неторопливо педали и размышлял о том, что я видел в маленькой комнатке и в гараже. «Что все это значит? Почему Жора ничего не говорит о ма-

шине? Для чего ему ночной оптический прибор и пистолет с глушителем?» Одновременно всплыval вопрос, что это за командировки в Европу, о которых Жора не хочет говорить. Загадка на загадке. Я находился в состоянии того любителя кроссвордов, который знал почти все буквы, но правильное слово не складывалось.

Вернулся с речки, когда упала жара. В доме вкусно пахло пловом. Дети уже поели и смотрели телевизор. Алия предложила мне выпить, но я отказался. Она поставила поднос с пловом на маленький столик в зале, подсунула мне под бок две мягкие подушки, сама устроилась напротив, и мы неторопливо начали есть, обмениваясь короткими репликами. Мне хотелось ее о многом спросить, и я ждал только удобного момента. Как-то незаметно мы перешли к разговору о службе ее мужа.

— Жора скоро получит звание майора? Я слышал, что его, возможно, переведут в областное управление.

— Он не очень хочет уезжать отсюда.

— Почему?

— Здесь дом, который он сам построил. Здесь друзья и большие связи. Здесь он всех знает.

— Зато в областном управлении больше шансов карьеру сделать.

— Он не хочет долго в милиции работать.

— Как? Он же на хорошем счету. Даже за границу посылают.

— За границу он ездит по частным делам. Не от милиции.

Вот те на. Странно: или Алия ошибается, или Жора мне врал насчет Интерпола.

— Почему ты с ним не ездишь за границу?

— Жора сказал, что если он поедет в Англию или Францию как турист, то обязательно возьмет и меня, и детей с собой. А в общем, Эдик, он меня просил насчет поездок за границу ни с кем не говорить.

— Почему же ты со мной говоришь об этом?

— Ты же, Эдик, можно сказать, член нашей семьи, — она засмеялась и ушла на кухню за чайником.

Я выпил с нею пару пиалок чая и стал собираться в ресторан на встречу с Тоней.

В ресторане, как и вчера, было много народа. Снова играла музыка. Я прошел к стойке бара и протянул приготовленный еще днем конверт стоявшему за стойкой узбеку. Тот, ничего не спрашивая, взял толстый конверт и положил в какое-то отделение под баром. Всё это произошло так просто. Только что, можно сказать, я подписал смертный приговор человеку. Все дни перед этим меня мучила совесть, а сейчас, отдав конверт, я как будто от чего-то избавился, и совесть вдруг успокоилась. Я больше был теперь обеспокоен чувством вины перед Тоней за вчерашнее, чем тем, что произошло несколько минут назад.

Я вышел на крыльце ресторана и стал ждать Тоню. Она вышла красивая и уверенная в себе. На ней были светлые брюки и легкая голубая кофточка в мелкую клетку. Волосы ее были еще влажными после душа, выглядела она не так замученно, как вчера, и пахла дорогим шампунем и какими-то приятными духами.

— Пойдем пешком или поедем на такси? — спросила Тоня.

— Пойдем пешком.

Куда пойдем, я не понял, но послушно стал спускаться за ней с крыльца. Когда мы вышли на тротуар, сзади остановилась легковая машина. Хлопнула дверца. Инстинкт надвигающейся опасности заставил меня обернуться. У открытой двери старенького «форда» стоял верзила и смотрел нам вслед. Свет, падающий из окон ресторана, освещал его угрюмое лицо. За рулем сидел еще один мужчина. Верзила нагнулся и сказал что-то тому, кто был за рулем. На мгновение зажглись фары автомобиля, высветив нас в ночи. Чувство беспокойства вдруг овладело

мною. Оно прошло, когда мы зашли за угол, и машина исчезла из вида. Тоне я ничего не сказал. Уже наступила ночь. Луна тускло светила, окруженная загадочной хмарью. В тени деревьев было темно, но фонари на улице не включались. Они не включались, наверное, с того времени, когда развалился Союз. Тротуар был заасфальтирован только местами, мы больше шли по выбоинам и камням. Раньше это была самая благоустроенная улица в городе. Здесь стояло здание горкома. Теперь это громоздкое здание исчезло, и на его месте был пустырь. Оттуда несло залежальным мусором. Залаяла собака. Низко над головой пролетела летучая мышь. Тоня испуганно прижалась ко мне.

— Боюсь летучих мышей. Всю жизнь их боялась. Хотя они мне еще ничего плохого не сделали, — засмеялась она.

Улица была мне знакома. Вчера, наверное, я тоже шел по ней, но вчерашнюю ночь я не помнил. Я не помнил, как долго шли мы вчера, как выглядит ее жильё, и была ли это отдельная усадьба или многоквартирный дом. Только когда увидел во дворе колонку и рядом оцинкованное ведро с водой, вспомнил, где я был вчера.

— Я снимаю в этом доме две комнаты. Хозяйка живет через стенку. Хорошая женщина. Одна живет, дети давно разъехались. За жилье недорого берет. Правда, немного глуховатая, но это иногда даже хорошо.

Тоня достала из-под лежащего у крыльца камня ключ и открыла дверь. Широкий коридор делил дом на две части. Правая дверь вела на кухню. Мы вошли в дверь налево. Тоня указала мне на маленький диванчик:

— Садись, я посмотрю, спит ли дочь. Она сгорела сегодня на солнце. Уходила на работу, температура была.

Она ушла в смежную комнату. Оттуда послышалось хныканье ребенка. Я сидел один на диванчике минут пятнадцать. Когда ребенок затих, Тоня вышла ко мне. Она успела переодеться. На ней был короткий и тесный халат. Ее ноги вызывающе голо торчали из-под него, и вся ее фигура снова вызывала во мне бешеное желание. Я встал и обнял ее. Упругие соски через тонкую ткань халата упирались в мою грудь и доводили меня до исступления. Мои руки беспорядочно гладили ее тело. Она тоже хотела меня. Я это чувствовал и начал расстегивать халат. Под ним ничего не было. Нам не нужны были ни стоящая у стены односпальная кровать, ни диван: мы опустились на покрытый дешевым паласом пол и предались на нем любви.

Около двенадцати снова заплакал ребенок. Тоня накинула халат и ушла к девочке. Ее не было опять минут десять. Когда она вышла ко мне, ребенок продолжал плакать.

— Прости, Эдик, у Леночки снова жар. Я лягу с ней рядом. Если хочешь, ложись на кровать.

— Да нет, я пойду. Полчаса — и буду у Жоры дома. Может быть, зайти на телефон и «скорую» вызвать?

— Не надо. Это пройдет. Телефон у бабки в комнате есть. Если что, могу сама позвонить.

— Хочешь, я тебе номер телефона моих друзей, у которых сейчас живу, оставлю?

— Оставь на всякий пожарный. Буду знать, где тебя найти.

Она положила на стол листочек бумаги и цветной карандаш и снова ушла к ребенку. Когда я уже оделся, она вышла ко мне. Мы обнялись.

— Иди, — сказала она, — я здесь у окна постою.

Я вышел из дома, спустился по крыльцу во двор и посмотрел на окно. Ее силуэт четко вырисовывался в оконном проеме. Выходя из калитки, я обратил внимание на стоявшую напротив дома машину. Это был тот же старенький «форд». Из-за дерева вышел верзила. Я приготовился к драке и пошел навстречу ему.

Удар по голове свалил меня с ног. Я забыл про второго человека. «Как неосторожно», — успел подумать я и потерял сознание.

Очнулся в машине. Через открытые стекла слышен был плеск воды. Справа были видны огни города. Слева был маленький обрыв, и за ним виднелась река. Под светом луны вода в реке то искрилась серебристым блеском, то становилась зловеще-черной. На фоне кустов, метрах в пятнадцати от машины, были видны два человеческих силуэта, и оттуда слышался громкий разговор. Они курили, и желтые точечки сигарет то поднимались на уровень рта, то опускались вниз или делали замысловатые зигзаги. «Черт, неужели этот идиот действительно хочет выполнить свою угрозу», — подумал я.

В голове снова пульсировалась боль от удара. За эти несколько дней я столько получил по голове, сколько не получал за всю предыдущую жизнь. Во мне начал разрастаться страх. Я попытался приподняться с сиденья, но не смог. Руки были сзади связаны веревкой и ремнем безопасности привязаны к сидению. «Неужели это все?! Неужели так бессмысленно должна закончиться моя жизнь?!» Я снова начал думать о том, что моя смерть может быть наказанием за задуманное мною убийство человека. «Господи, ты же знаешь, что я вынужден это делать. Я и Ко-синский — мы же разные люди. Он заслуживает смерти, я же еще нет. Ведь это же несправедливо».

В зеркале заднего вида вдруг коротко мелькнул луч света. Он блеснул на мгновение и снова исчез. Где-то далеко послышался еле слышный звук мотора. Тонкий лучик света снова мелькнул в зеркале. Неужели кто-то едет в эту сторону? Эти двое не станут меня убивать при свидетелях. Я схватился за этот кусочек надежды, как утопающий за спасательный круг. С напряжением всматривался я в узкое зеркало впереди меня, вслушивался в ночную тишину, но зеркало было темным, и слышен был только звук струящейся воды и разговор двоих у кустарника. Редкая тучка закрыла луну, и все вокруг погрузилось в черноту. Светящийся окурок сигареты полетел в сторону воды. Из меня уходила надежда, и я опять наполнялся страхом. Я всматривался в стоявших впереди двух людей и пытался уловить, о чем они говорят. Их разговор стал громче. Вдруг один силуэт исчез. Что-то закричал второй. Он стал нагибаться вперед и неожиданно тоже исчез с моих глаз. Все это происходило в течение каких-то секунд и сопровождалось глухим хлюпающим звуком. Этот звук напомнил мне звук входящей в землю пули, когда на военных сборах во время учебной стрельбы я не попадал в цель. Стало угрожающе тихо. Я испуганно, чуть ли не в трансе, сидел на сиденье и всматривался в ту сторону, где только что стояли два человека. Прошло минут пять. Никто не поднимался с земли. Луна по-прежнему была закрыта тучей, и поднялся порывистый ветер. Дверь с моей стороны резко открылась. Я хотел повернуться в ту сторону, но чья-то ладонь больно уперлась мне в лицо. Я почувствовал, как что-то холодное и острое прошлось по моим рукам. Завязанные на руках веревки ослабли. Ладонь с силой толкнула меня на сиденье. Я упал на бок. От машины быстро удалялся кто-то, но увидеть, кто это был, у меня возможности не было. Прошло еще минут пять, пока я освободился от веревок. Из левой ладони сочилась кровь. Вдали снова послышался шум мотора и тут же пропал. Я вытер окровавленную ладонь о сиденье и вышел из машины. Голова кружилась, и мне пришлось опереться на дверь, чтобы не упасть. Когда головокружение прошло, я пошел в сторону кустарников. Верзила и его друг лежали на земле без движения. Там, где их головы чуть ли не прикасались друг к другу, расплылось темное пятно. Я уже знал точно, что это кровь. Опустившись на одно колено, я попытался нашупать пульс сначала у верзилы, потом у его друга. Они были мертвые. Я быстро встал и пошел в сторону города. В моей голове продолжала пульсировать боль, болела порезанная ладонь, но я не обращал на это никакого внимания. Мне хотелось как можно быстрее исчезнуть с этого места. При этом я совершенно не задумывался над

тем, кто мог стрелять, кто разрезал мне веревки на руках и откуда этот человек мог знать, что происходит на берегу реки. Через полчаса быстрой ходьбы я был на окраине города. Здесь, выбирая наиболее темные стороны улиц, я шел еще минут сорок к дому Жоры. Дом был темен. Не видно было ни одного огонька. «Жигулей» во дворе тоже не было. Я осторожно открыл дверь и вошел в дом. В ванной снял с себя замаранные кровью брюки и рубаху и смыв под краном не совсем еще засохшие пятна крови. Внутри меня все продолжало мелко дрожать. Не стало легче и под душем. Я мучил себя минут десять холодной водой, и когда совсем замерз, вылез из-под струи и вытерся насухо полотенцем. На голове, в том месте, по которому я получил удар, выросла шишка, и из рассеченной кожи сочилась жидкость. На кухне я достал из холодильника бутылку водки, смочил прихваченную из ванной вату и приложил ее к ране. Налив грамм сто пятьдесят водки в стакан, я выпил. Водка обожгла все внутри. Через пару минут внутренняя дрожь прекратилась. Прижимая вату к голове, я поднялся на второй этаж. В комнате Алии зажегся свет. Она, одетая в халат, вышла из спальни.

— Что с тобой случилось? — спросила она обеспокоенно. Я стоял перед нею в трусах, с мокрой после душа головой, прижал к ране кусок ваты и выглядел или смешно, или трагично.

— Ничего особого. Не заметил сучка на дереве. Где Жора?

— Он часа два назад уехал. Кто-то звонил ему. Наверное, из милиции.

Я вошел в свою комнату и захлопнул за собой дверь. После выпитой водки на меня вдруг навалилась усталость, и мне хотелось спать.

Рано утром меня разбудила Алия.

— Тебя к телефону, Эдик. Какая-то женщина.

В голосе Алии слышался упрек. Она дружила с моей женой и, конечно же, догадывалась, где пропадал я последние ночи. Звонила Тоня.

— Эдик, с тобой все в порядке?! — в ее голосе звучало некоторое облегчение и в то же время тревога.

— Да. Со мной все в порядке.

— Я видела в окно, как тебя кто-то ударил. Когда выбежала на улицу, машина уже тронулась с места. Я номер записала и сразу позвонила твоим друзьям. Жандарбек — это начальник уголовного розыска города? Ты у него живешь?

— Да.

— Ну тогда ясно. С тобой ничего не может случиться, — она с облегчением засмеялась в трубку.

— Тоня, ты никому, кроме Жандарбека, не говори о том, что видела ночью.

— Почему?

— Позже объясню. Ты до которого часа сегодня работаешь?

— Сегодня не приходи, Эдик. Петр приехал. Ты его знаешь, он учился в нашей школе. Он отец моей дочери. Я не хочу, чтобы он тебя со мной увидел.

Она помолчала и потом тихо сказала:

— Нам, наверное, не надо больше встречаться. Прощай.

Щелкнула трубка и пошли гудки. Она хорошая женщина, но по-настоящему я любил только свою жену.

Я целый день не выходил на улицу. Меня охватило предчувствие чего-то непонятного и страшного. Жора тоже дома не объявлялся. Тоня позвонила еще раз вечером. Она была в панике.

— Эдик! В ресторане говорят, что на берегу два трупа нашли. И машина рядом с тобой, на которой тебя вчера ночью увозили. Эдик, что теперь будет?!

— Успокойся, Тоня.

— Не ты их?.. — она не закончила фразы и замолчала.

— Как и чем?! Слушай, я был без памяти, а когда очнулся, они были уже мертвые. Я не знаю, кто это был. Честно. Тоня, ты никому ничего не говори. Никто же не

знает, что ты видела этих двоих ночью. Если ты будешь молчать, никто тебя спрашивать не будет. Тоня, я прошу тебя, молчи.

— Хорошо, — тихо проговорила она в трубку, — я буду молчать.

Она ждала, что я скажу еще что-нибудь, но я не знал, что ей сказать, и в конце концов Тоня положила трубку.

Алия целый день вопросительно поглядывала на меня, но, как настоящая восточная женщина, вопросов не задавала. Жора пришел поздно ночью. Я был в своей комнате и слышал, как внизу он говорил о чем-то с женой. Он поднялся наверх, заглянул в комнату детей, о чем-то минут пять с ними говорил и потом зашел ко мне.

— Мне надо с тобой поговорить. Пошли в зал.

Мы спустились вниз. Алия поставила нам самовар и заварила чай в фарфоровом чайнике. На столе стояли сладости и две пиалки. Жора ушел на кухню и вернулся оттуда с бутылкой коньяка и двумя стограммовыми стаканчиками. Он подождал, пока выйдет из зала Алия, налил по полному стаканчику, стоя выпил и только потом сел напротив меня.

— Выпей.

Я выпил и спросил:

— Ты был вчера ночью на берегу?

— Какая разница.

— Ты стрелял?

Он молчал.

— Нужно было стрелять?! Ведь если бы ты подъехал, они ничего не сделали бы мне. Как ты мог?!

— Эдик, ты ничего не понимаешь. У обоих были при себе пистолеты. Чеченец меня давно уже ненавидел, и, если я объявился бы возле вас, он, не задумываясь, уложил бы меня на месте. Тебе было бы легче, если бы мы оба кормили рыб на дне реки? Что ты так жалеешь их?! Они скоты, по которым давно пуля плакала!

— Жора, они же люди!

— Эти люди полкилограмма героина в машине имели. А для тебя в багажнике лежала чугунная болванка килограмм на тридцать. Если бы не я, тебя давно не было бы. Может быть, месяца через два всплыл бы где-нибудь.

— Мне всю жизнь молиться на тебя за свое спасение, что ли?

— Необязательно.

Он был раздражен, но сдерживал себя.

— Что будем делать? — спросил я после долгого молчания.

— Я надеюсь, что ты не пойдешь сдавать меня в милицию?

— Нет, Жора.

— Да тебе все равно никто не поверил бы.

— Почему?

— Потому, что ты один из главных подозреваемых.

— Как так?!

В который раз за эти дни на спине начал выступать холодный пот.

— Я хоть и начальник отдела уголовного розыска, но дело по двум обнаруженным трупам ведут мои инспекторы. Они уже допрашивали Рено и его работников и знают, что у тебя была драка с чеченцем. И то, что ты угрожал его убить, тоже стоит в протоколе. Завтра или послезавтра приедет кто-нибудь из областного отдела. Меня, скорее всего, от этого дела отстранят, потому что один из подозреваемых мой друг и живет в настоящее время у меня.

— Жора, ведь никто не видел, что я с ними был на берегу.

— Ты же должен знать, как легко найти третьего, кто был в машине. Мои инспекторы были не особенно внимательны при осмотре машины. А специалисты из области в первую очередь заинтересуются отпечатками пальцев в машине и

пятнами крови на сиденье. Если у них будет за что зацепиться, то правды они добьются. Я должен буду завтра взять тебя в милицию на допрос. Эта женщина, что звонила мне ночью, кто она?

— Тоня, моя бывшая одноклассница. Она будет молчать. Я сказал ей, что тебе она может доверять.

— Плохо, что здесь женщина замешана. Ладно, это я возьму на себя. На допросе про берег ничего не говори. Ты был у этой женщины и оттуда сразу вернулся ко мне домой. Ясно?

— Да.

— Про драку с чеченцем на заводе можешь рассказывать. Здесь все равно были свидетели. Как фамилия твоей одноклассницы и где она живет?

Я назвал фамилию Тони и примерно рассказал, как найти ее.

— Но сейчас она еще в ресторане. Она работает там.

Жора поднялся со стула.

— В ресторан я, конечно, не пойду.

— Что ты надумал, Жора?

Видимо, в моем голосе было что-то, потому что он вдруг зло засмеялся и, глядя на меня в упор, сказал:

— Я знаю, о чем ты сейчас подумал. До такой степени я не опустился.

Наверное, именно в этот момент в наших отношениях что-то нарушилось. Маленькая трещинка пролегла между нами.

— К твоему сведению, ты не единственный подозреваемый в этом деле. Эти двое занимались продажей наркотиков и, может быть, их убрали конкуренты. Эти двое не первые и не последние, кого из-за наркотиков убирают с дороги. Во всяком случае, я пытаюсь, пока еще в состоянии, повернуть следствие в этом направлении.

Он выпил еще коньяку и, не пожелав мне спокойной ночи, ушел наверх в свою спальню.

Я сидел еще некоторое время в зале. В голове было пусто. Я как будто раздвоился. Тело мое сидело за столом, а сознание где-то витало в вакууме и не хотело возвращаться назад, потому что здесь, в действительности, все было сложно, непонятно и страшно.

Утром я вместе с Жорой поехал в милицию. По дороге мы молчали, но это было не то молчание, в котором мы ехали из аэропорта. Тогда мы молчали, наслаждаясь природой, заходящим солнцем, свежестью надвигающегося вечера и встречей друг с другом. Теперь же молчание было тягостным, и каждый был рад как можно скорее разойтись. Жора провел меня на второй этаж, к начальнику милиции. В его кабинете сидел уже один из инспекторов. Начальник милиции был в звании майора, и лет ему было за пятьдесят. Сначала были формальности. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место жительства и так далее. Когда речь зашла о гражданстве, немного замешкались.

— Я гражданин Германии. От казахстанского гражданства отказался еще два года назад, — сказал я.

Начальник милиции был со мной до такой степени вежлив, что предложил:

— Вы можете позвонить в немецкое посольство и информировать их об этом допросе.

— Я не чувствую себя в чем-то виноватым, поэтому звонить в посольство не вижу необходимости.

В самом начале допроса Жора ушел. Вопросы задавал начальник милиции, а молодой инспектор печатал на машинке. Мне показали две фотографии и спросили, знаю ли я этих людей. Верзилу я сразу узнал, а второй мне был действительно незнаком. Я показал на фотографию чеченца и рассказал о стычке с ним на заводе.

— После того дня вы еще встречались с ним?

— Нет. Больше этого типа я не видел.

— Где вы были в ночь с понедельника на вторник?

Я ответил на этот вопрос так, как мы условились с Жорой. Майор показал пальцем на рану на голове.

— Откуда у вас это?

— Эта шишка и рана от удара еще с того дня, когда у меня была драка с чеченцем.

— А выглядит она совсем свежей.

— На мне вообще все плохо заживает.

— Откуда рана на руке?

— Ножом порезался у Жандарбека дома.

— На сиденье машины на месте происшествия обнаружена кровь. Мы отправили ее в лабораторию. Возможно, что нам понадобится ваша кровь для анализа.

— Я не вижу в этом никакой необходимости. К убийству этих двоих я не имею никакого отношения.

— А к наркотикам?

— Я не понял вашего вопроса.

— В машине убитых нашли героин. Может быть, у вас на этой почве с ними сксора произошла?

— Я же вам сказал, что чеченца после драки на заводе больше не видел. Второго я вообще не знаю. Неужели вы думаете, что я, юрист по образованию, имеющий собственную детективную контору в Германии, могу иметь какое-то отношение к наркотикам?

— Молодой человек, — с сарказмом проговорил начальник милиции, — я долгое время работал в отделе по борьбе с наркоманией. Кто только не попадался нам: дипломаты, офицеры самого высокого ранга, крупные инженеры, партийные работники и члены правительства. Так что не будем об образовании и должностях.

Меня допрашивали больше часа. Конечно, если бы я не был другом Жандарбека, разговор был бы совсем другим. Так вежливо со мной не говорили бы. Пока же мне верили, и это было сейчас главным. Только бы еще Тоня подтвердила, что я был в ту ночь у нее. В принципе, ей врать не придется. Ей надо только молчать о том, что случилось на улице перед ее домом, когда я вышел от нее. С Тоней я столкнулся на лестнице. Вместе с каким-то лейтенантом она поднималась на второй этаж. В ее глазах стоял испуг. Увидев меня, она виновато улыбнулась. Я взял ее за локоть:

— Здравствуй, Тоня. Я подожду тебя на улице.

Она кивнула головой в ответ. Долго ее не держали. Уже через двадцать минут она вышла на улицу. Выражение испуга исчезло с её лица.

— Все нормально? — спросил я.

— Да. Меня только спросили, действительно ли ты был в ту ночь у меня, и знала ли я тех двоих убитых.

— Пойдем, я провожу тебя домой.

— Не надо, Эдик. Знаешь, я, наверное, уеду отсюда. Петя хочет, чтобы я вернулась к нему. Он не пьет больше. Да и девочке отец нужен. Поеду с ним в Россию. Терять мне нечего.

Она подошла ко мне, чмокнула в щеку и быстро пошла в сторону своего дома.

Жору я не стал ждать. Да и он, наверное, не горел желанием меня видеть. Я пошел в сторону базара. День был опять солнечный и жаркий. За эти полторы недели я уже хорошо загорел. Как было бы прекрасно, если бы я просто отдыхал здесь, если не было бы необходимости кого-то искать и о каких-то сомнительных вещах договариваться. Как было бы прекрасно, если бы я не столкнулся с этим идиотом, который лежит теперь с дыркой в голове в морге. Как было бы прекрасно, если бы я не встретил Тоню. Как было бы прекрасно, если бы Жора оставался

прежним жизнерадостным и открытым другом. Но прекрасной оставалась только погода. Все остальное было до тошноты плохо. И, главное, во всем, что произошло, был виноват только я. Сначала я пытался себя оправдать. Искать человека для выполнения заказа заставляла моя туниковая ситуация, мои долги, моя нищета. На драку с чеченцем меня спровоцировал он сам. Тоня мне еще со школы нравилась. Жора не должен был стрелять в этих двоих. Он же мог с несколькими коллегами все по-другому организовать. Но с этими аргументами не приходило успокоение. Если копнуть глубже, меня ничто не оправдывало. У миллионов нет денег, масса людей нищенствует, но не каждый готов вылезать из нищеты за счет смерти другого человека. Так ли было необходимо драться с чеченцем? Ведь все тогда закончилось бы хорошо. Ехал бы спокойно домой. И с Тоней не было никакой любви. Было животное желание и стремление доказать ей, что я лучше тех, кого она предпочла мне в своей юности. Только в отношении Жоры я был виноват — и, в то же время, не мог оправдать его. Мы были с ним одинаковы. На нас была одна и та же печать — печать убийц.

На базаре было, как всегда, шумно и многолюдно. Но мне было сегодня здесь неинтересно. Я потолкался с полчаса у прилавков и пошел в сторону дома. На душе у меня было неспокойно. Тревога, как заноза, сидела внутри, перерастая временами в страх. Я знал: рано или поздно в милиции узнают, кто был третьим в машине, и тогда мне нужно будет сказать, кто стрелял в этих двоих. Мало кто поверит мне, что я был без сознания и ничего не видел. После драки с чеченцем, после моих угроз в его адрес я действительно могу оказаться единственным, на кого можно списать эти два трупа.

Целый день я не выходил на улицу. Читал, смотрел телевизор. За обедом и ужином я молчал и был невнимателен, когда меня спрашивала о чем-нибудь Алия. Она смотрела на меня вопросительно и выглядела растерянно. Жора приехал опять поздно. Я с надеждой ждал в своей комнате, когда он поднимется ко мне. Но он не торопился. Весь напрягшись, я прислушивался к доносившимся снизу голосам, но о чем говорили Алия с Жорой, разобрать не мог. Наконец голоса стихли и послышались шаги на лестнице. Я взял книгу в руки и сделал вид, что читаю. Жора открыл дверь и вошел в мою комнату. Он был непривычно мрачен. Чувствовалось, как маленькая трещинка в наших отношениях превращается в широкую щель.

— Нам надо поговорить.

Он взял стул и сел напротив меня.

— Меня от расследования отстранили. Завтра приедет оперативная группа из области. Они, конечно же, в первую очередь, начнут проверять версию твоей причастности к убийству. А если еще анализ крови покажет, что ты был в машине, то хорошего ждать нечего.

— Что мне делать, Жора?

— Меня больше всего беспокоит, что, если они за тебя по-настоящему возьмутся, ты сдашь им меня.

— Ты что, Жора?! Мы же друзья! Никогда в жизни!

— Не надо, не клянись. Я видел, как, спасая свою шкуру, люди своего родного брата или отца продавали.

— Может быть, мне уехать?

— Это был бы самый лучший выход. Подпись о невыезде ты не давал?

— Нет.

— Ехать тебе надо сейчас, сразу. Садись в любой самолет, который летит на Запад. В крайнем случае — бери билет до Москвы. Завтра утром тебя здесь, на юге, не должно быть. Деньги у тебя есть?

— Да.

— Возьми «жигули». Оставишь машину на стоянке в аэропорту. Ключ забросишь в бардачок и захлопнешь дверь. У меня есть второй ключ. Собирайся в темпе.

Он вышел из комнаты. Я начал складывать вещи в чемодан. Пришла Алия. Глаза ее были заплаканы.

— Что случилось? Почему ты должен раньше времени, да еще ночью, уезжать? Что вы от меня скрываете?

— Я не могу тебе ничего сказать.

Мне было действительно нечего сказать. Не мог же я ей сказать, что ее муж убил двоих людей, что виной этому был я и что если я не уеду, то кто-то из нас может оказаться за решеткой.

Алия села на стул и наблюдала, как я складываю вещи.

— Это из-за женщины? — спросила она.

— Алия, не спрашивай, прошу тебя. Женщина здесь ни при чем.

— Неужели нельзя дождаться утра? Бежишь, как какой-то преступник.

Если бы она знала, как близки к истине были ее слова.

— Я должен ехать, Алия. Спасибо тебе за все.

— Ты не представляешь, как мне тяжело. Что-то происходит в моем доме, а что именно, понять не могу. Что за секреты у тебя и у Жоры?

— Спроси Жору. Я уеду, и все встанет на свои места. Во всем, что сейчас происходит, виноват только я.

С последними словами я захлопнул крышку чемодана. Меня душила обида, и в то же время росло раздражение.

— Подожди, я поставлю чай. Поешь на дорогу.

— Не беспокойся. Если проголодаясь, поем в аэропорту.

Она встала со стула и вышла из комнаты. Я видел, что по ее щекам текли слезы. Ей, конечно же, было обидно. Она была по-настоящему рада моему приезду. В эту ночь я бегу от них, как из дома прокаженных. Простит ли она меня когда-нибудь?!

Я спустился с чемоданом и сумкой вниз. Жора уже ждал меня в коридоре. Он протянул ключ от машины.

— Прощай. Позвони, как приедешь домой.

Раньше мы бы обнялись, но теперь яма, возникшая между нами, мешала этому. Только Алия подошла и обняла меня. Она уже не плакала.

— Передай привет жене. Будь осторожней в дороге.

Я вышел из дома, сел в «жигули» и выехал со двора.

За городом я свернул на обочину, заглушил мотор, упал головой на руль и заплакал. Я плакал, как маленький ребенок. Слезы текли из моих глаз, и я не мог их остановить. Всхлипывая, я повторял громко, чуть ли не в истерике: «Я сволочь, подлец! Какая я сволочь!!!»

Минут через двадцать истерика прошла. Я посидел еще пять минут, тупо глядя в лобовое стекло машины. За стеклом, в свете включенных фар мельтешила моска, тяжелый жук на всем ходу врезался в стекло и медленно сполз к капоту. В ста метрах от машины перебегал дорогу какой-то зверь. Его глаза несколько раз мигнули желтыми зрачками в мою сторону. Ни одна машина не проехала мимо меня. Ночь. Все нормальные люди отдыхают. Я посмотрел в зеркало заднего вида. Далеко позади меня светилось несколько окон западного микрорайона. Я знал, что с этого момента двери в этот город для меня закрыты. Прощай, город моего детства, прощай, Жора, прощай, Алия, прощай, Тоня, прощай, Рено. Простите меня за все. Я включил мотор, дал газу и понесся в сторону аэропорта.

В Манасе мне повезло. Были еще билеты на самолет в Москву. Восходящее солнце было в иллюминатор самолета, когда он начал разгоняться на взлетной полосе. Мы гнались за рассветом до самого Домодедова. Москва встретила хмурым дождем, очередями у киосков и билетных касс, шумом электричек и рычанием моторов междугородних автобусов. Таксисты наперебой предлагали увезти меня в любой конец Москвы, но мне нужно было только в Шереметьево. Я взял старень-

кий «мерседес», и таксист, довольный, что ему выпало счастье везти иностранца, повез меня через просыпающийся город на другой его конец.

И в Манасе, и в Домодедово, и в Шереметьево я избегал попадаться на глаза милиции. Страх продолжал сидеть во мне. Только когда тяжелый «боинг» пробил черные тучи над Москвой и под синим небом неслышно понесся в сторону Мюнхена, я начал постепенно приходить в себя. В Мюнхене я перекусил в кафе и только потом позвонил домой. Жена думала сначала, что я звоню из Казахстана, и очень удивилась, когда узнала, что я уже нахожусь в Германии. Поздно вечером она встретила меня на вокзале. Дома радостно повисла на мне дочь, вкусно пахло пельменями и домашним уютом. Жена расспрашивала меня об общих знакомых, о погоде, о городе, но, как будто чувствуя что-то, о причине моего преждевременного приезда вопросов не задавала. И я был благодарен ей за это. Не знаю, нашел ли бы я в себе силы ее обманывать.

После ласк соскучившейся по мне жены я сразу уснул. Под утро я проснулся. Мое тело было мокрым от пота. Я боялся вдохнуть воздух. Чувство давящей на меня толщи воды, связанные веревкой руки и тяжелый груз в ногах вызывали во мне панику, и легкие готовы были лопнуть от отсутствия кислорода. Только когда я увидел переплет окна в спальне, услышал тиканье часов на стене и спокойное дыхание жены рядом, понял, что это был кошмар. Я неподвижно лежал на кровати, пережидая, пока успокоится сердце, и с наслаждением втягивал в себя воздух, радуясь, что все мне приснилось и что в действительности я живу.

На следующий день я позвонил своему клиенту. Никто трубку не брал, и я сказал на автоответчик, что звонил Отто. В этот вечер и на следующий вечер Макс не приезжал. Он приехал на третий вечер после шести часов. Выглядел он совсем плохо. За эти несколько недель он постарел еще на пару десятков лет.

— Извините, — виновато сказал он, — жена лежит в больнице. Я не мог ее одну оставить.

В его глазах стояли слезы, и он держался из последних сил. Есть такие моменты, когда по виду человека можно предсказать надвигающуюся беду. Макс был жив, но жизнь из него уже ушла, и чувствовать это было особенно ужасно. Он сидел напротив, устало смотрел на меня, но я не был уверен, что он меня видит. Он даже не задавал вопросов, и мне пришлось самому начать разговор.

— Господин Макс, я нашел людей, которые выполнят ваш заказ.

— Сколько нужно будет им заплатить? — спросил он без всякого интереса.

— Двадцать пять тысяч долларов. Когда будет выполнен заказ, я не знаю, но лучше, чтобы эти деньги были у меня наготове.

— Хорошо. Послезавтра в это же время я привезу их вам сюда.

Нам не о чем было друг с другом говорить, и после минуты тягостного молчания он встал, протянул свою ладонь и вышел из бюро. Деньги он привез через два дня в черном дипломате. Я не стал их пересчитывать и положил дипломат в сейф. Отчасти мне было страшно притрагиваться к этим деньгам. Я знал, для оплаты чего они предназначены.

Моиочные кошмары продолжались. Каждую ночь я просыпался от удушья, каждую ночь я тонул, каждую ночь я был бесконечно счастлив, что на самом деле жив. Мне надо было что-то делать. Но что? Идти к психиатру? Поможет ли он мне? Нет, попробую сам как-нибудь управиться с моей бедой. Я стал принимать таблетки от бессонницы — в надежде, что в глубоком сне этот кошмар не будет ко мне приходить. Но это помогло только на короткое время.

Прошло еще две недели. За это время я нашел себе работу и с начала следующего месяца должен был приступить к обязанностям детектива в одном огромном универсальном магазине. Я мог пользоваться моим бюро и телефоном до конца этого месяца. Заказы я перестал принимать и проводил часы в бюро за чтением газет или книг. За окнами наступило настоящее лето. Было непривычно жарко.

На площади у фонтана сидели полуголые голенастые девочки. Мускулистые мальчики в спортивной одежде утоляли жажду пивом, не отвлекаясь на женские прелести. За вынесенными под зонтики столиками не было свободных мест. Мне хотелось взять дочь и уехать на озеро. Но я ждал телефонного звонка.

Он позвонил после обеда и сказал только одну фразу:

— Послезавтра в десять часов у автохаза «Мерседес». Принесите с собой деньги.

Я узнал его голос. Мне кажется, что он тоже знал, с кем говорит. Мое сердце билось так же учащенно, как ночью, когда я просыпался от кошмара. В этот момент я понял, что потерял своего друга навечно.

Через день я был на установленном месте в половине десятого. Моей машины уже не было. Ее продали. Я бесцельно бродил вдоль ряда подержанных машин, когда на улице остановилось такси и из него вышел элегантно одетый, хорошо загоревший под южным солнцем мужчина. Он сразу прошел во двор автохаза и остановился недалеко от меня. Нас разделяла только машина. Мы не поздоровались. Он холодно смотрел на меня.

Я поставил дипломат с деньгами возле машины и пошел к выходу. На тротуаре я оглянулся. Жора держал дипломат в руках и смотрел мне вслед. Он поднял руку и помахал ею.

На следующий день в местной газете промелькнуло сообщение о загадочном ночном убийстве. Подробности не сообщались. Полиция просила свидетелей, слышавших или видевших что-нибудь, сообщить об этом по специальному номеру телефона. В этой же газете на предпоследней странице было траурное объявление. В нем сообщалось о преждевременной смерти сорокалетней женщины. Из черной рамки на меня смотрели знакомые усталые глаза.

Макса я больше не видел. Я перестал ночами тонуть. Иногда, совсем редко, во сне ко мне приходил Жора. Он пристально смотрел на меня и прощально махал рукой. Я просыпался с тоской в сердце, и мне хотелось плакать. Но я сдерживал себя. Я перестал его винить. В конечном итоге, я такой же, как он. Я тоже убийца.

ПТИЦА ПЕГАС

ПТИЦА ПЕГАС

Пока мы живы, нас никто не слышит.
След на снегу крестом привычно вышит,
небесное раскрылось шапито.
Известно всем, что правды нет и выше,
а что там наварили нувориши,
они нам не доложат ни за что.

За стаей стая — небо разомлело.
И непонятно: где душа, где тело.
И даже если песни щебетать —
причудливо, бездарно, неумело,
о воздух спотыкаясь то и дело,
не выйдет повернуть с арены вспять.

И зрители в беспалые ладони
захлопают, и голос мой потонет
в сугробах и под купол не взлетит.
В благообразном пряничном притоне,
в тяжёлой позолоченной попоне,
как ни крути — а дышится навзрыд.

* * *

Чужой язык — насилие над судьбою,
когда перевалило ей за сорок.
И каждый звук уже дается с бою,
одолевая бессловесный морок.

Прими его и ни на что не сетуй.
Молчание? Оно для нас не ново.
Кати, кати, колёсико по свету,
лети, лети, несказанное слово.

* * *

Теперь я буду жить, не зная,
ты на земле или в земле.
Органа дудочка резная,
и звук летит навеселе.
Войдёшь — и гулкий шаг немеет,
в притворе не видать ни зги.

Душа молиться не умеет,
просить не смеет: помоги!
Страна чужая, как страница,
где письмена не разберёшь,
Здесь пропадёшь, как говорится,
вот так, за здорово живёшь.

Жмёт органист на все педали:
басы, что звери взаперти,
ревут — и разом вдруг устали,
и нет ни звука впереди.

А поле тишины глубоко,
на нём ещё — ни борозды.
Оно молчит в руках у Бога —
как ты...

ГЕРМАНИЯ

1.

Картина в выставочной раме —
утеха опытному глазу.
Кромешный рай не за горами —
всё зацветёт, как по заказу.

2.

На поле, сытом и чужом,
что не вспахать и не засеять,
смертельную игру затеять,
по горлу провести ножом.

Пусть запах затхлого веселья
привычно ноздри искушает.
Глотну ворованного зелья —
оно, увы, не утешает
в минуты сонного похмелья...

И страшно, страшно не бояться
тех снов, которые нам сняться
в объятьях сумрачной земли,
где мы родиться не смогли.

* * *

Под грузом вер, любовей и надежд,
под ветром их неровного дыханья —
в Москву, в Москву! Пусть через Будапешт
или Бомбей. Урок чистописанья
давно закончен. Вольность не порок.
Зачёркнуто всё то, чем дорожила.
Вот Бог, я повторю, а вот порог,
а вот, гляди-ка, золотая жила.
Споткнёшься о неё на склоне лет —
на ягодицах скатишься со склона,
совсем как тот венценолёный шкет,
что весел и бесстрашен. А с амвона
небесного — бегущею строкой —
за словом слово и за птицей птица.
И, кажется, едва взмахнёшь рукой...
А не летится больше, не летится.

* * *

То ли плачет, то ли спит,
то ли сказку говорит,
всё равно, как ни таится,
получается навзрыд.

Даже если пьян и сыт
или если битым бит, —
над землёю, будто птица,
впереди себя летит.

* * *

В расщелину меж бытиём и бытом —
разлаженным, раздёрганным, разбитым,
в дыру озонную, заветную войти,
оскальзываясь в космосе открытом,
склоняясь над распластанным корытом,
понять: иного нет у нас пути.

Известно — где по плану остановка.
Стрелять неловко, но в руках винтовка.
И цокает небесная подковка,
и никого нельзя предостеречь.
И на ладони божия коровка,
мычит — и в небо целится, плутовка.
Добытчик резвый, где твоя сноровка?
О чём бишь я? Да не о хлебе речь!

Где родина? И гнётся знак вопроса.
Так отнимают душу без наркоза.
Так рассуждают твёрдо и тверёзо,
покачиваясь, превращаясь в прах.
И просто всё, как во поле берёза.
Кобыле легче, если баба — с воза.
Щекочет ноздри вешний дух навоза,
и птица-тройка жмёт на всех парах.
Куда? Ну, не даёт она ответа.
Меня ссадили: езжу без билета.
Конец туннеля, а быть может, света.
И больше не захватывает дух.
А ночью вспомнишь: возлюби соседа, —
и любишь всех подряд в порядке бреда.
И не припомнишь Нового Завета,
покуда трижды не споёт петух.

* * *

Очертанья жизни резки.
Кот висит на занавеске,
оттопыривая ус,
и поёт — вошёл во вкус.

Очертанья жизни скучны,
и желания подспудны.

Океан ушёл в песок —
еле слышен голосок.

Шёпот, робкое дыханье —
вот награда за старанье.
И щебечет соловьём
кот усатый день за днём.

* * *

Вот в кабинете чья-то голова
стоит и не мечтает ни о чём.
Она давно забыла все слова,
она не в силах вспомнить, что почём.

Какой-то друг степей её ваял,
поглядывая сонно на часы.

И взгляд её бесцветный тих и вял,
и нет в нем Божьей трепетной росы.

Она кричит, открыв беззвучно рот.
Заразна и бесстыдна, как болезнь,
к искусству тяга. И невпроворот
голов, провозглашающих: «Аз есмы!»

* * *

Чтобы мужа ублажать,
надо сеять, а не жать,
по разомкнутому кругу
надо радостно бежать.

Я-то знаю: поделом,
будет пусто за углом.
Дом немецкий, довоенный
предназначен был на слом.

На кого взвалить вину?
Я подкову не согну.
За ближайший угол дома
быстрым шагом заверну.

Не во сне, а наяву
в этом доме я живу,
где берёза у калитки
цедит солнце сквозь листву.

Потому что я слаба,
потому что не судьба
стать одной из тех немногих,
у которых два горба.

СОН

Чушь какая-то собачья:
голова на шее бычьей.
Я дала обет безбрачья —
есть у нас такой обычай.

Птичка Божья утром кычет
и глаза стальные пучит.
Если мне кричать приспичит,
пусть она меня научит —

распахнёт свой клюв, как двери,
и поможет мне, невежде.
Да воздастся всем по вере,
по любви и по надежде!

* * *

Какое счастье — я одна.
Мне снится этот сон убогий.
Меж нами — чёрная стена,
меж нами — неба спуск пологий.

Там ангел больше не летит.
Парит орёл, а может, решка.
И Бог с высот своих глядит,
и на губах его усмешка.

* * *

Перевожу на славянский тоску ссанскрита,
самый последний грош за душою прячу.
Всё отираю дверь, что давно открыта,
связкой ключей гремлю и беззвучно плачу.

Что я ищу? Не веру, а, может статься,
только её предгорье, её предтечу.
Сколько можно доверчиво улыбаться?
Сколько можно лицо открывать навстречу?

Нет, ничего, увы, не стерпит бумага.
Чиркну спичкой — руки над ней согрею.
Я, всесильная, сделать не в силах шага.
Я, бесстрашная, глаз приоткрыть не смею.

Перевожу с беспамятства и молчанья,
перевожу со всех языков на свете —
на бессмысленный, грешный язык отчаянья,
за который я вечно буду в ответе.

* * *

Песнь песней перед закатом.
Зачем ты стараешься,
сидя на ветке,
глядя на колченогий город?
Роняешь перо за пером —
уже написана книга книг.

Простор хвалёных нечистот
лесов, полей и рек венозных.
Словесный собирай помёт,
жук-скарабей в размывах слёзных.
В хитоновой попоне лет,
в тупом сизифовом горенье
всё катит тучный шар поэт,
всё пишется стихотворенье.

* * *

За жизнью уходит жизнь, и потерян счёт
разбитым в кровь башмакам и рукам воздетым.
Как хорошо врагам воздавать почёт,
и выю гнуть, и верить столбцам газетным.

Взрывная помесь державного небытия
с бессмертием скрипетра и дефицитом мыла —
вот моя родина, милые сердцу края,
где высыхают реки и чахнут чернила,
где мы, уже почти не дыша, следим
за каплей дождя, летящей, раскинув руки...
Вечной жаждой мучится Третий Рим,
и не идут из горла сухие звуки.

* * *

В конце концов, какое дело
вам до меня, а мне до вас?
Душа легко покинет тело,
с него не спустит зорких глаз.

А вы, надменные потомки,
махните мне платочком вслед:
Легас, взлетая, рвёт постройки,
а я гоню велосипед.

СТРАНИЦА ЕЛИЗАВЕТА

Лиза вышла из вагона на своей станции. Метро в Германии совсем не такое, как в центре Москвы, где она родилась и выросла. Никакого шика и архитектурных излишеств сталинских времен. Все сухо, по-деловому, по-немецки... И эскалаторы — другие. Мюнхенские, например, ходят или туда, или сюда. По желанию клиента: хочешь вверх — давай, хочешь вниз — пожалуйста. А если народа — нема (чего в Москве, кажется, вообще никогда не бывает), эскалаторы на месте стоят. Экономят драгоценную электроэнергию...

Было уже почти десять. Поздний вечер по местным стандартам. В метро — ни души. Точно все вымерли... И эскалатор стоял как вкопанный. Ждал, когда Лиза ему команду «поехать наверх» даст. Лиза встала на лестницу, но та почему-то с места не сдвинулась. Хотя электронная стрелка на алюминиевом столбе служливо горит, показывая нужное Лизе направление, сам эскалатор ее упорно игнорирует... Точно она мираж...

Лиза поднялась по обычной лестнице, минуя несговорчивую машину. Может, у нее уже «мертвый час»? Или она на эмигрантов плюет?..

Вышла из метро. Вдоль аллеи, ведущей прямиком к ее дому, цвели белые акации. Цвели как сумасшедшие... В этом запахе таилось так много любви, истомы, сладости, такое обещание пресловутого урлауба¹, на котором боргеры и боргерши были просто помешаны. Сами-то они уже спали глубоким сном. В предчувствии новой трудовой недели... Аккуратные домики с плотно опущенными жалюзи наводили на Лизу тоску. После многочасовой работы за компьютером болели глаза. В турбюро её сегодня просто замотали... Телефон звонил, не умолкая. Шеф нервничал и придирился. Её языкового запаса явно не хватало. Выезжала на собственной находчивости и природном обаянии. Неужели её все-таки уволят? Нет, не должны...

Только сейчас Лиза почувствовала, как она устала... Весь день продержалась на адреналине. Вообще-то она предпочитала выброс других гормонов, например — гормона счастья, но с тех пор, как Рихард исчез с её горизонта и растворился вдали, она решила уйти в работу как в спасение... Не тут-то было! Надо ломать себя. Переделывать... Ведь может же он жить только работой. И она должна так научиться. Это Германия... Здесь у людей работа на первом месте. Возможность самореализоваться. Пробиться. И только потом вкусить все радости жизни... А мир чувств устарел. И остался, видимо, в предыдущих миллениумах...

Господи, как ей не хватало Рихарда! Как много вопросов у неё теперь появилось к жизни и к нему. Она вела с ним нескончаемые мысленные «переговоры». У неё было два телефона — домашний и мобильный, но он не звонил ей больше ни по одному из них...

Русский немец. Эмигрант, как и она. Только разными путями они сюда добирались. Она — на место тех, которых тут истребили, изгнали, уничтожили... Он же вернулся на свою историческую родину. Русский немец... При-

¹ Отпуск (нем.)

чудливая гремучая смесь. И не русский на поверхку, и не немец вовсе... Рихард... Одно имя чего стоит... Любимец женщин... Коллекционер... Нет, не только это...

«Я хотел бы влюбиться, — сказал он ей чуть ли не в первую их встречу, — но у меня не получается. В лучшем случае я позволяю женщинам (он обожал говорить о женском поле во множественном числе!) любить себя».

О, тогда она очень испугалась этих его слов. Они были символическим прологом к их будущим отношениям. Но отступать было и поздно, и невозможно... Её лихорадило... Она попалась...

«В моей жизни всё всегда происходит так, как я захочу», — констатировал он немного позднее, ломая ее последнее сопротивление.

«Чего же ты хочешь теперь?» — спросила, когда всё уже свершилось.

«Я хочу получить женщину во всех её проявлениях, ты не против?»

Он обычно очень четко формулировал свои вопросы и любил их задавать. А Лиза как раз до жути любила каверзные вопросы.

«Какая гармония...» — смеялся Рихард, подразумевая их с Лизой отношения...

Ей тоже казалось, что между ними установилась полная гармония. Он однозначно лидировал, она — отступала. Он нуждался в помощи — она помогала. Казалось, так и задумано природой...

Рихард торговал нефтью и нефтепродуктами. Имел свою фирму. Свободный предприниматель. Десять лет уже в Германии. И в голове у него, наверное, только цистерны, контракты, акции, проценты...

Он с ней многим делился, говорил, что с ней можно вести речь о чём угодно, потому что она «своя в доску».

«Открою тебе жгучую тайну, — поведал он как-то. — Я считаю, что секс — это для женщины. А для мужчины существуют только профессия и работа. Мне лично секс совсем почти не нужен. Но я люблю иногда... — его голос становился особенно ласковым, — доставить удовольствие женщине. Обычно я довожу женщину просто до исступления...»

«Это как?» — не поняла Лиза.

«Увидишь...»

Нет, Лиза вовсе не была несведущей девочкой. Десятилетний опыт супружества за плечами. Горький опыт. Тяжёлый развод. Уже за тридцать. А Рихард значительно ее старше. Ровно через десять лет после Победы родился. Родом с дальнего Севера. Не сладко ему, надо думать, жилось на их общей родине с таким характерным немецким именем. Отец и мать из сосланных. Обделённых, ущемлённых...

Они, родители Рихарда, и встретились на поселении, на лесоповале. И полюбили друг друга. Всю жизнь вместе. Хельмут и Герда... А вот у Рихарда личная жизнь не заладилась. В девятнадцать женился. Четверть века маялся с женой без любви. Уехали в Германию. Двое детей, но взаимное отчуждение. С её стороны — требовательная любовь, ревность, с его — желание порвать, уйти, вырваться на свободу. Наконец подфартило — нашел работу в Мюнхене, укатил из их маленького городка, где всё и вся у всех на виду. Понял, как прекрасно жить одному. Но не дали. Настигли: через полтора года, когда Рихард только становился на ноги, — жена и дети к нему в Мюнхен приехали. Пробовали снова жить вместе. Не получилось. Полный обвал...

«Однажды жена спросила, люблю ли я ее. К этому моменту она меня настолько утомила, что я вынужден был ей сказать правду, — временами мне кажется, что я ее просто ненавижу...»

«И она ушла?»

«Только через год, — устало вздохнул Рихард. — Они меня исключили из своей жизни. Уехали. Очень плохо со мной поступили... Все меня бросают...

Вначале всё так красиво, а потом женщины, видимо, чувствуют, что со мной они просто теряют время, и находят кого-то другого. А меня бросают... Понимаешь?»

«Я тебя не брошу».

«Не зарекайся. Ты не выдержишь меня...»

Два с половиной месяца, как они не встречались. А она уже без него просто не выживает... Он сделал ее такой жадной до любви...

«Я ведь предупреждал тебя, что так и будет».

«Предупреждал. А я не побоялась».

«А ты не побоялась...»

Наверное, скоро она махнет рукой на женскую гордость и позвонит ему сама. Так, по-деловому, по-немецки, возьмет у него термин². А что? Роли меняются: женщины становятся священниками, зарабатывают намного больше мужчин. С недавних пор в Германии узаконены браки между однополыми. Мир сошёл с ума...

И в этом тотальном сумасшествии запросто можно позвонить ему. Он ответит ей своим обволакивающим голосом по одному из многочисленных телефонов. Вместо «алло!» он назовет свою красивую фамилию – так тут принято. Он не звонит, потому что страшно задействован. Цены на нефть падают. Проценты по кредиту растут. Его долг банку всё время увеличивается. А ему нужно платить алименты семье, оплачивать свою большую квартиру, которую Лиза с такой любовью для него убирала. У него очень и очень трудная жизнь. И ему вовсе не до женщины. Женщина – лишняя нагрузка в напряженном графике бизнесмена...

«Хорошая девочка, – часто говорил он, лаская ее. – Всё, что положено иметь идеальной партнерше, всё в тебе есть. Это я – плохой...»

«Ты наговариваешь на себя! Ты – прекрасный», – выдыхала она.

«Ты просто влюбилась. Я ведь предупреждал тебя... Но зовизо³ у тебя не было другого выхода...»

Иногда он был очень нежен. И всегда – интеллигентен, хоть порой говорил необъяснимо жестокие вещи. Может, мстил за своих сосланных соотечественников? А что тогда должны были делать её соплеменники, отталкиваясь от этой теории исторической мести?

Да, много всего в нём было понамешано. Но Рихард был ей нужен именно таким, каким он был... Полярным: холодным и знайным, равнодушным и заинтересованным, циничным и жаждущим истины...

Интересно, что в промежутках между нефтяными гешефтами он изучал Библию. Изучал досконально и кропотливо, со свойственным немцу стремлением к порядку и анализу. И Библия всегда лежала на тумбочке рядом с его кроватью.

«Вот я постоянно обращаюсь к Святому Писанию. Но самого Бога почему-то не чувствую...»

«Это потому, дорогой, что в тебе нет любви. Ты не можешь полюбить ни Бога, ни женщину. Любить может только человек с открытым сердцем...»

«А оно у меня, по-твоему, закрыто?»

«Ты слишком занят и понавесил изнутри замков, чтобы другие не врывались».

«Да, я слишком занят...»

Его дом содрогался от телефонных трелей. Пространство вокруг него вибрировало. Он всегда был раздираем на части людьми и обстоятельства-

² Заранее назначенное время деловой встречи (нем.)

³ Так или иначе (нем.)

ми. Жизнь сосредоточилась для Рихарда в стенах его собственного офиса-квартиры. И он почти не выходил наружу.

«Мне завидуют, говорят: о, вы работаете дома. Я не работаю дома. Я... живу на работе».

Он был гостеприимным. В его большой квартире столовалась, кажется, добрая половина немецких переселенцев, прибывших в Баварию. Они приходили и приезжали к нему, и среди них было много женщин... А он фонтанировал, пел под гитару, острял... Мужчины хотели получить от него совет, помошь, работу. Женщины – хоть немного участия, любви... В такие вечера Рихард был просто неотразим, многие женщины хотели потом с ним остаться. С ним, в его просторной квартире... Он влюблял их в себя, быстро теряя к ним всякий интерес. И снова оставался один... Готовый к новым подвигам и встречам...

«А вдруг я найду женщину еще лучше», – мечтательно сказал он как-то Лизе, – не Лизе вовсе, это были мысли вслух...

Он не умел любить. А она не любить не умела... Какая гармония...

«Лиза, – сказал он ей как-то, – я решил, что мы и впредь будем встречаться, но наши встречи не должны быть слишком долгими. Два-три часа в неделю я ещё мог бы выделить. Но не больше. Ты же знаешь, сколько времени отнимает у меня работа. Не будет работы – не будет и девочек...»

Он все решил за неё... Он знает, как ей вести себя. Знает, как надо. Не слишком много свиданий, не слишком много любви (её любви к нему, разумеется). Встречи – для здоровья, для общего тонуса... Они оба в эмиграции. Кроме него, у нее тут никого нет... Он-то знает, что такое чужбина. Он поможет ей. Поможет адаптироваться. Сгладит проблемы. Даёт почувствовать, что она тут не одна. Два-три часа – этого достаточно. Большего он не в силах дать. У него нет такой возможности, нет времени. Нет сердца...

«Знаешь, раньше, в юности я представлял себе прекрасную девушку – саму любовь – рядом с собой... Но так её и не встретил...»

«Может быть, ты еще встретишь её...»

«Нет, всё это – фантазии. В мире нет женщины, которая бы мне подошла...»

Иногда он философствовал:

«Мне жалко всех людей. Женщин – особенно. Поэтому я никогда не могу девушке или dame что-нибудь плохое сделать. Я жду, когда она сама меня бросит. Найдет себе кого-нибудь другого, более подходящего для жизни».

Лиза вдруг поняла. Рихард потому и пропал. Ждёт, что она найдет себе другого. Ждёт и поэтому не звонит... Как холодно в этой Германии! И ветры здесь ледяные, с Альп. Она совсем окоченела. Ей бы – южнее, но там война, теракты, арабы. В России – бывший муж с новой семьей. Западнее – небоскрёбы взрывают. Со всех сторон обложили! Здесь холодно, но пока не смертельно. И он, главный для нее немец, позволяет ей себя любить...

Однажды она не утерпела. Сама позвонила. Радостный, хорошо поставленный голос. Голос, ориентированный на успех. На удачные продажи нефти и рапсового масла. Знакомые интонации:

«Какие люди звонят! Извини, закрутился. Уйма дел... Я подумал, ты уже нашла себе кого-нибудь. Такая женщина... Ты же знаешь, я очень трудный мужчина в плане времени. Тебе надо еще кого-то найти, в порядке «скорой помощи».

Он не понимал. Когда пожар, «скорая» не помогает...

«Что нового?» – спросила робко.

«Улетаю на днях на Берег Слоновой Кости. Какой отдых! По бизнесу. Вернусь из Африки – и мы сразу же встретимся. Слышишь, сразу!»

Она не возражала...

Она слишком хорошо представляла себе его жизнь. Люди наваливались на него всей своей тяжестью. И он всем и всегда помогал, оформлял приглашения, выправлял документы, писал письма, водил по врачам и разнообразным инстанциям, хоть и признавался, что люди как таковые действуют на него раздражающе, потому что он к ним слишком подключается, теряет собственное лицо...

«Одна женщина как-то сказала, что я – самодостаточный, что мне никто не нужен. Она права?»

Боже, как любил он вспоминать в разговоре других женщин!

«Лиза, мне нравится, что ты не ревнива. Я устал от ревнивых дамочек. Пойми... Все эти женщины – просто транзит...»

Транзит... Они с Рихардом едут на поезде жизни. Странствуют... А кто-то является издалека и невольно врывается в их жизнь, только затем, чтобы сделать пересадку. Привал. Перекантоваться. Поехать дальше... Помнится, незадолго до отъезда она случайно наткнулась на бывшем немецком кладбище Москвы, где были похоронены ее дедушка и бабушка, на склеп странницы Елизаветы и расценила это как своеобразное благословение родных перед дальней дорогой... Она – странствующая Елизавета. Он – ищущий Рихард, который летит на Берег Слоновой Кости...

Как-то Рихард спросил Лизу, опасным ли был бизнес в Москве у её бывшего мужа. И посетовал на то, что в России мафия и предприниматель на мертвую повязаны. Перед мысленным взором Лизы сразу же промелькнуло её недавнее прошлое: быстро набирающая обороты фирма мужа, нескончаемые вечеринки и банкеты, самые дорогие бутики и супермаркеты, в которых она могла теперь делать покупки, бани и массажные кабинеты, рождественские каникулы в Париже, отдых на экзотических островах. Откуда вдруг столько денег? Этот вопрос хоть и вертелся на языке, но все-таки никак не мог быть задан. О таких вещах в семье не спрашивают. Но она навсегда запомнила истину, которую изрек владелец фирмы и друг мужа: «Если хочешь жить лучше других, надо со всеми делиться». И они, действительно, охотно со всеми делились: щедро платили чиновникам, таможенникам, милиции, охраннику на автостоянке. И все брали и были довольны. Круговая порука. Один из принципов выживания в криминальном мире... Был ли бизнес её экс-супруга опасен? Наверное, да, но основной принцип работал, и красивая жизнь шла своим чередом: как грибы после дождя вырастали новые, дочерние, фирмы, секретарши нанимались всё более длинноногие и сексапильные, круизы становились кругосветными... Муж неожиданно купил себе пневматическое ружьё с оптическим прицелом и стал не без гордости демонстрировать его Лизе. Вначале она была в ужасе от такой покупки, но ей было популярно объяснено, что нынче все уважающие себя люди имеют средства защиты и уже давно позаботились об оформлении необходимого разрешения в соответствующих органах. И платили теперь в России уже не бандитам, а государственным структурам, которые давали не только спокойно работать, но и преумножать свой капитал...

«В Германии всё по-другому. Никакого криминалитета, поэтому я и приехал сюда, – говорил Рихард (как все немцы, он был патриотом своей страны). – И если бы я экспорттировал нефть не из России, не о чём было бы вообще беспокоиться...»

Как-то раз вскользь упомянул о том, что ешё на Севере, когда он начал заниматься маслами, его чуть не убили.

Лиза изменилась в лице.

«Но теперь.., – безмятежно продолжал он, – я, к счастью, в безопасном месте. Ты только посмотри, как хорошо вокруг. Я выхожу из дома – всюду цветы, поля, леса... Просто сердце радуется...»

Рихард жил за городом. Снимал дом. Ей так нравилось, что он живет на природе, среди рапсовых полей, могучих платанов, зарослей гладиолусов... Сама дорога к нему была для неё началом их любви. Она входила в его дом, он бросался к ней. Между ними пробегало электричество, дух захватывало, сердце переставало биться...

Почти год они встречались. Больше в его уютной квартире, но иногда выезжали и куда-нибудь на природу. У него была такая огромная, дико мужественная с виду машина. На ней бы по саванне ездить... И вот теперь он уезжает по бизнесу на Берег Слоновой Кости. Все логично. Но поедет он в Африку, конечно, не на своей сногшибательной машине, он полетит туда на серебристом «боинге». В аэропорту обменяется заговорщицким взглядом с девушкой в форме таможенницы, в самолете улыбнется белозубой стюардессе... В этом весь Рихард... А она, Лиза, должна работать и не растворяться больше в этой бесперспективной любви. Перевести свою сексуальную энергию в деловое русло... Шеф недавно объявил, что ей необходимо срочно осваивать новую профессию – гида. Пока по-русски, но в недалёком будущем и «на языке врага». Её шеф – шутник. Любит повторять: «Мы в осаде, и немцы в городе». В случае сетования на нелегкую эмигрантскую долю подбадривает: «Отступать, товарищи, некуда, – позади Москва...», – хотя сам родом из Питера. Занятный тип. Болтает на основных европейских языках. По чуть-чуть на каждом, но и это производит впечатление. Ругает всё и всех. Но всё-таки как-то держится на плаву. Грызётся со всеми, но все с ним считаются. Его турбюро вышло на первое место в городе. Среди русскоязычных, конечно. Но и это неплохо. Отношение шефа к Лизе колеблется от любви до презрения.

«Чтобы заказывали только тебя, – говорит он ей так, как будто она в чём-то провинилась перед ним, – надевай юбку покороче и стихов поменьше, пожалуйста. Это не те люди. И поскорее веди их в Хоффбройхауз, не прогадаешь...»

Хоффбройхауз – самая знаменитая пивнушка Мюнхена. И к вечеру немцы там пивом наливаются просто до чёртиков. Презабавное зрелище. Танцуют на столах. Поют всё, даже русскую «Калинку» Короче, расслабляются по полной программе. Но только по выходным. А по будням такой гульбы не увидишь: впереди раннее вставание, напряжённый трудовой день. Нет в них размаха русской души, её бесшабашности. Одно слово – немцы...

Гидом она работает без году неделю, а сибиряки опять её требуют. Видно, кто-то из прошлой группы посоветовал. Один мужик в тот раз всё на нее пялился и в конце экскурсии выдавил из себя что-то очень галантное, правда, с новорусскими грубо-натурами намёками... Надо срочно купить новые туфли. Чтобы ноги лучше смотрелись. В моде узкий носок, узкий каблук. Она вынуждена обо всём думать. Богатые люди всё замечают. И ее гонорар будет напрямую зависеть от ее внешнего вида. Высший комплимент, которого она удостоилась, звучал так: «С такой гидшей я бы не только на экскурсию пошёл... Я бы даже захватил её с собой в Малагу...»

Нет, в Малагу она совсем не хочет. Она бы поехала с Рихардом на Берег Слоновой Кости... Там Африка, там много слонов. А где слоны – и масштаб чувств другой... Скоро он вернётся, и они сразу же встретятся, так он сказал... А пока надо мчаться за сибиряками в лучший отель города под названием «Мандарин». А до этого еще заскочить в магазин, подобрать подходящую обувь. Очень крутой отель, и туфли должны быть крутые. Сотней

евро тут не отдаешься. «Надо вкладывать, вкладывать, и потом к тебе всё вернется, с процентами», — ещё один принцип, почерпнутый ею из её прежней жизни в России. «А если окажется, что всё на ветер?» — спрашивала она своего мужа. «Значит, ты просто дебил или дебилка», — лаконично отвечал он.

Каждый выход к людям для нее — как выход на сцену для актрисы. Всё должно быть продумано: текст, макияж, тембр голоса... Она будет очень стараться, много работать, и тогда полмесяца пройдет незаметно. Рихард вернётся из Африки. Они встретятся, и она продержится на гормоне счастья еще какое-то время, до следующей встречи...

Лиза вбежала в отель чуть раньше назначенного часа. Надо осмотреться, заказать такси. У новых туристов какие-то бредовые желания, например, снять виллу рядом с Борисом Беккером. У богатых свои причуды... И хотя это вовсе не её прямая работа, шеф строго сказал, что она должна помочь выгодным заказчикам. А потом уже провести свои экскурсии, если сибиряки того пожелают.

«На эту фамилию номер не зарезервирован, — по-немецки сказал портье, — наверное, какая-то ошибка...», — и на всякий случай во весь рот улыбнулся Лизе. Она уже знала, что так по-голливудски ослепительно приветствуют только в самых-самых, пятизвездочных гостиницах.

«Но мне назначена тут встреча. Могу я подождать?»

«Натюрлихъ...»⁴.

Уселись на грандиозный диван в стиле «рококо». В вестибюле гостиницы покой, тишина, прохлада, только молоденькие девочки из «рецепшн» снуют туда-сюда. Где же её сибиряки? Неужели шеф что-то напутал? Или она сама ошиблась, ведь память-то до сих пор девичья... А может, клиенты путешествуют инкогнито, не хотят свои фамилии засвечивать? Лиза уже сталкивалась с подобным. Но надо набраться терпения. Выяснить ситуацию...

Какие великолепные цветы в вазах в этом отеле! И какой роскошью пышет со всех сторон! Её этим не удивишь, в такой обстановке она себя чувствует как рыба в воде. Сложись жизнь по-другому, и сама могла бы остановиться с мужем в таком же вот неслабом отельчике. Но у Бога в голове, как видно, насчет неё другие планы...

Из лифта вышла парочка. Он — лет пятидесяти, с довольным и самоуверенным лицом то ли спортсмена, то ли киноактера, она — сильно мелированная блондинка, в бирюзовом костюме, испещрённом всемирно известным значком «Шанели». По возрасту то ли поздняя жена, то ли ранняя дочь. Двинулись к Лизе. Она впереди. Подбородок победно приподнят. Жена.

«Поклон вам из Сибири... Какими судьбами в Германию-то занесло? — простецкий выговор немного не вязался ни с респектабельностью «Мандарина», ни с «Шанелью». — Будем знакомиться... Евгений. Мария. По телефону подумал, что вы совсем девчонка, а при встрече, так сказать, лучшее впечатление. Вам бы по подиуму ходить...»

«Спасибо. Вы очень любезны. Такси я заказала. Можем ехать, если вы готовы».

«Ты готова, Манюня? — Евгений нагнулся к жене. Та согласно кивнула. — Ну так вот... У нас, так сказать, большие планы. Хотим отдохнуть. Нуждаемся в релаксе. Нужна вилла на два месяца. Надеюсь, вы в курсе?»

«Конечно. Нас с вами уже ждут сегодня на нескольких виллах. Думаю, вы что-нибудь выберете».

⁴ Конечно (нем.)

Они вышли из отеля, сели в такси.

«А что это за виллы? Вы их видели? Нам нужно самое первоклассное. Хоромы, так сказать. С тремя спальнями. И чтоб рядом с Борисом Беккером».

«Рядом найти не удалось. На соседней улице».

«Не, не пойдет. Я же сказал — рядом».

«К сожалению, там дома не сдаются. Это только приватное жилье»

«Никаких «только»! Я дал вам команду. Должны выполнять. Правда, Манюня?.. Тебе не холодно, девочка моя? Из окна не дует? Переведите ему, чтоб закрыл окна, включил кондиционер. Нечего нас проветривать, не в деревне...» — Евгений неодобрительно покосился на водителя.

«В деревне тебе бы больше подошло! — подумала Лиза. — Опять-таки, повернись кольцо фортуны иначе... Но судьба не имеет сослагательного наклонения. Судьба — не немецкая грамматика...»

«Так ты колись, как в Германию-то занесло? — Евгений вдруг резко перешел на «ты» — Втюрилась, что ли?»

«Наоборот. С мужем развелась, и вот... пришло к этому берегу...» — её голос все-таки предательски дрогнул.

«Это ты погорячилась... А вы откуда будете, товарищ? — обратился он к шоферу такси, светлошоколадному как мулат. — Спроси у этого черномазого, он-то чего сюда припёрся? Жить надо в своей родной стране. Правда, Манюня? Подтверди... Вот у нас, так сказать, дом в Испании имеется, квартира в Лондоне — тёща живет, купил, чтоб под ногами не путалась, а сами-то мы — в Сибири. И это звучит гордо. Она, видишь ли, развелась. Может, ты готовить не могла или в койке ни рыба ни мясо, — вот он и пошел на сторону. Но это еще не повод покидать родину. Что, мало других мужиков? Приезжай к нам в Сибирь, любого для тебя оприходуем...»

Лизе стало смешно. Глянула в окно. Откинула волосы со лба. Рихарду нравился этот ее жест.

«Мы приехали. Вот она, вилла... — И по-немецки водителю: — Остановитесь, пожалуйста ...»

Вышли из машины. Дом по виду — что-то среднее между подмосковной генеральской дачей и баварской пивнушкой. Евгений скривился:

«Это еще что за хибара? Я просил рядом с Борисом Беккером».

«Вилла Беккера на соседней улице. Мы сейчас подъедем, и вы убедитесь сами, — Лиза начала уставать от своего клиента. Трудный случай. Шеф ей, как всегда, подсуропил... — Давайте осмотрим дом, раз уж приехали. У нас термин в пятнадцать ноль ноль.»

«Чего-чего? Какой еще «тер-мин»? По-русски мне говори! Манюня, садись обратно в машину. Ей нельзя волноваться... Ладно, давай быстро эту хибару осмотрим... Только ради тебя. Но сколько ты ни базарь, я за нее ни цента не дам, поняла?»

...Этот день должен же когда-нибудь кончиться... Мудрые люди говорят: надо дорожить каждым мигом жизни. «Жить и в пути умей!» — написал поэт. Но это так нестерпимо сложно, особенно когда приходится иметь дело с такими личностями, как Евгений. После осмотра пятой виллы, которую не замедлил охаять клиент, Лиза почувствовала: её последние силы кончаются. Работа с людьми — самое неблагодарное занятие на свете! Но каким бы ни был этот хмырь и другие её клиенты, она не может позволить себе расслабиться или тем более — разозлиться. Как актриса, должна довести свою роль до конца, получить аплодисменты в виде гонорара. И домой. Вернее, в то место, которое она теперь называет домом...

В действительности её дом завис где-то между Москвой и Мюнхеном. Но она ни здесь, ни там... Сидит в бюро, водит приезжих по городу, рас-

сказывает истории про герцогов, курфюрстов, королей, сыплет именами архитекторов и художников, а потом приходит к себе без рук-без ног... Работа – хорошее лекарство от любви к Рихарду.

Рано утром раздался телефонный звонок. Лиза сняла трубку и задержала дыхание. Спросонья у неё даже голоса не было. Кому это она понадобилась в такую рань? У эмигрантов совсем крыша едет...

«Доброе утро, – бодро сказала трубка голосом Рихарда. – Привет из Африки... Как вы поживаете? Разбудил?»

«Это ты... Где ты?»

«На Берегу Слоновой Кости, – сказал он вдохновенно. – У меня все отлично, мне здесь очень нравится...»

«Тогда я буду называть тебя Рихард с Берега Слоновой Кости...» – Лиза мгновенно проснулась и даже стала шутить.

«Гут. Скоро стану миллионером. Переговоры идут полным ходом. Завтра подписываем контракт. Дней через пять жди меня в Мюнхене. Столько впечатлений – не соскучишься...»

«Рада за тебя. Целую».

«И я тебя тоже...»

Теперь ей море по колено... Шеф, трудные клиенты, жара под сорок градусов... Он позвонил ей из Африки... Он скоро вернется...

Недели через три Лиза заволновалась. Что-то случилось. Ни Рихарда, ни африканских впечатлений. Может, переговоры затянулись, пришлось задержаться. Надо ему позвонить. Неизвестность невыносима...

«Алё», – ответил кто-то упавшим голосом.

«Я бы хотела поговорить с Рихардом», – сказала незнакомцу по-немецки. Видимо, один из практикантов.

«Это я, Лиза. Не узнаёшь?» – голос был просто отчаянный.

«Ты вернулся? Что с тобой? Ты болен?»

«Хуже. Я попал в историю. Потерял много денег. Эта фирма в Африке оказалась подставная. В ней орудовали мошенники. Их уже ищет Интерпол. Я назанимал кучу денег, думал, что верну всё сполна. Мне очень плохо, Лиза».

«Я могу тебе чем-нибудь помочь?»

«Моя декабристка... Никто, слышишь, никто не может мне теперь помочь!»

«Я приеду...»

«Приезжай...»

Дорога к Рихарду заняла больше часа. Но Лиза готова была проехать сотни километров, лишь бы оказаться там, где он...

Позвонила. Калитка открывалась автоматически изнутри. Рихард стремительно выбежал ей навстречу. Обнял, поцеловал. Он осунулся и был не похож на себя прежнего. Глаза стали какими-то тусклыми, точно в них выключили свет...

«Ты сегодня ел хоть что-нибудь?»

«Какая еда! Я разорён, понимаешь?»

«Интерпол найдет этих негодяев, вот увидишь...»

«Может быть, но когда это будет? А мне уже через три месяца надо платить долги».

«Что же ты будешь делать?»

«Ну... Кое-что я уже предпринял... Попросил помочи у своего старого друга. Он сейчас на Севере – шишка, большие дела крутит. Не хотелось с ним связываться, но, как я и думал, он не смог мне отказать...»

«А чем он занимается?» – Лиза задала этот вопрос, и ей почему-то стало не по себе...

Рихард отвел глаза:

«У него свой завод, разные коммерческие операции, серьёзные поставки... Ладно, хватит о делах. Ты же знаешь мое золотое правило – ни слова о работе, когда к тебе пришла женщина».

«Это что-то новое...», – подумала она и заставила себя улыбнуться. Ясно, что Рихард хочет сменить тему, забыть о проблемах, которые свалились на его голову... Женщина – иногда она очень даже кстати в напряженной жизни бизнесмена...

«Жди меня в нашей комнате... Я – быстро...»

В «нашой комнате» – звучит очень красиво... Но разве есть у них что-то общее, кроме этих встреч? Его фирма, её любовь... Его партнеры и её клиенты... И тот кусок его жизни, его квартиры – куда он иногда ее впускает... Сейчас ему очень плохо. Он попал в переделку. Она нужна ему... Вот почему она здесь...

... В квартире Рихарда за то время, что они не виделись, мало что изменилось. Даже пальмы в кадках не завяли. И рыбы невозмутимо плавают в аквариуме. Только чувствуют ли они, как трудно сейчас их хозяину? Рихарда обманули. Это ужасно, но он обязательно выкрутится... Когда он придёт к ней в постель, она должна зарядить его своей уверенностью. Эта уверенность будет плавно перетекать в него, как будто они – сообщающиеся сосуды. И они будут любить друг друга долго-долго, нежно-нежно, как умеют только они...

Борис, давний приятель Рихарда, очень удивился, что тот проявился через столько лет. Говорит, по Интернету нашел его завод, порадовался, что кому-то везёт в бизнесе. На Западе теперь проживает. Там человеку волк, а не друг, товарищ и брат. Видно, о нем вспомнил, потому что больше сунуться не к кому. С африканцами связался. Накололи по-крупному. Впрочем, Рихард всегда был совершенно непредсказуемым малым... Борис решил, что бросит спасательный круг утопающему, даст сколько-то денег на отмазку, а потом уже сделает то, что давно следовало бы сделать...

Когда-то давно, жизнь тому назад, Рихард и Борис были закадычными друзьями. В одном дворе жили, в параллельных классах учились, вместе за грибами-ягодами в тайгу ходили, друг с дружкой в карты резались. Стали постарше – за одними и теми же девчонками ухлёстывали, только Рихард всегда у женского пола в любимчиках ходил, а Бориса женщины оценили много позднее, когда он уже заматерел, стал накачанным, как боксер, научился большие деньги заколачивать. В классе десятом Рихард закрутил любовь аж с дочкой главного архитектора города. Порывистая была девчонка, пронзительно красивая и нецелованная. Раскосые глаза в ворохе ресниц. Мариной звали. Борис, тот на нее только засматривался, мечтал о ней, письма, сумасшедший, ночами сочинял. А Рихард действовал иначе: как, Борис до сих пор не смог понять. Знал только, что у Марины с Рихардом такая любовь приключилась, что все в городе о свадьбе заговорили. Только что-то у них там в последний момент сорвалось: то ли Рихард раздумал жениться и сбежал, то ли отец Марины не захотел свою единственную дочку замуж за немца выдавать. Расстроилась свадьба. Разошлась парочка. Рихард в другой город поступать в нефтехимический уехал. Марина осталась со своим позором, потом долго болела, никак восстановить здоровье не могла. В городе слух прошел, что пришлось ей тайно от родителей криминальный аборт на позднем сроке делать. Года через три только Борис снова Марину случайно на улице увидел, показалась она ему почти прежней, только ушло

сияние молодости и раскосые глаза притушили свой блеск. Подошёл к ней, поздоровался. Она была приветлива, но грустна. Борис почувствовал, что Рихард незримо стоит между ними, что Марина его до сих пор не забыла, что она все ещё полна им... Очень Бориса к ней тянуло, но решил отступить. Занялся собственной карьерой, стал замом секретаря комсомольской организации крупного вуза. Потом пошёл ещё выше... Сел в кресло председателя профкома. Теперь он стал выгодной партией даже для такой девушки, какой была Марина. С отличием защитил диплом. Получил место в обкоме. Часто ездил в командировки. И совсем потерял Марину из виду. Но однажды они снова встретились.

То ли судьба, то ли случай. Борису предложили в то лето, а точнее, буквально навязали горящую путевку в Планерское, под Феодосией. Санаторий был непростой, публика — из руководства, пресные лица членов семей. Ни одной интересной личности, особенно женского пола. Борис так расстроился, что хотел бросить путевку, улететь обратно к себе на Север. Но что-то его удержало. Через три дня на пляже он увидел Марину. Ещё не загоревшую, в шезлонге. Она отдыхала рядом на турбазе. Обратно, домой, они уже ехали вместе, не разнимая рук... Через месяц поженились. Через полгода получили трёхкомнатную квартиру в доме для ответственных работников. Мебель из карельской берески купили, кухню чешскую, японский магнитофон. Он — обкомовский работник, Марина — диктор на телевидении. Но счастье почему-то обходило их стороной. Борис делал для жены всё, что мог, а её мучили головные боли,очные кошмары. Вскоре даже работать не смогла, стала домохозяйкой. Дом — полная чаша, муж с положением; другая бы цвела, радовалась, а Марина на глазах угасала, точно в ней что-то надломилось. Точила её болезнь изнутри, это было видно. Хотели ребенка, но никак не получалось. Чего только не делали. В Москву ездили, к бабке ходили, в Карловых Варах оба обследовались. Ни-че-го. Врачи сказали: неудачный аборт, хрупкое здоровье... Но надежда ещё оставалась. Стали заниматься любовью в определенные дни, как врач посоветовал. Марина к Борису очень уважительно относилась, но любить не любила... Призналась как-то, что он-де до горячего не достает, что не чувствует она себя с ним полноценной женщиной, вот с Рихардом — с тем была просто сказка, тысяча и одна ночь, а с Борисом — всё так себе, проза жизни, обыденность... И жестко добавила: «Потому и дети у нас с тобой не рождаются — страсти нет...»

Борис в тот раз вышел из себя, на жену замахнулся: «Катись к своему грёбаному! Ноги твоей чтобы тут не было!» Даже адрес Рихарда предлагал достать по своим каналам. Достал. Принёс. Он ведь человек слова. Только не взяла Марина этот адрес. Ещё больше ушла в себя. Подурнела. На своем бесплодии зациклилась. Постепенно теряла рассудок. Как-то, когда он в ГДР уезжал, попросила: «Привези мне оттуда куклу. Говорят, они там как настоящие младенчики, не отличишь...» Привез, дурак. Самую дорогую купил. В шёлковом платье, лицико фарфоровое. С порога куклу схватила. И уже из рук не выпускала. Шептала только: «Дочка, немочка моя...» Глаза стали совсем безумные. Судороги начались. Пришло вызвать врача. Увезли в особую больницу. Информация конфиденциальная, но всё равно наружу просачивалась. Борису перед людьми было стыдно. Он ведь заметный человек в городе. Занимает высокие посты. А с женой такая нездадча. Другие как кошки рожают. Или на аборты по два раза в год бегают, а эта... Тоже мне, п..... на горошине. Раньше бабы в поле первенцев роняли, а эта не то что родить — никак залететь не может... Во всех несчастьях Борис винил Рихарда. Но и Марина хороша, давалка. Вот что значит по молодости, по глупости

с фашистами любиться. От этой нации русскому человеку одни страдания. Не зря батя его говорил: «Хороший немец тот, что под землёй лежит...»

Но долг есть долг. Борис регулярно навещал жену в больнице, цветы, фрукты приносил, смотрел на нее встревоженными, всё еще любящими глазами. Но что толку. Не в себе человек. Теперь уже не о родах речь... Не померла бы...

С горя в бизнес пошел, когда новые времена настали. Образование весомое – хозяйственник. Опыт работы. Всё пригодилось. Деньги приличные пошли. Но всё уходило на лечение Марины. Лечишь ее лечишь, а не в коня корм. Двадцать уж лет прошло, а так их род и не продлился. Марина всё по больницам, он – по коммерческим нуждам...

Пару лет назад удалось алюминиевый комбинат приватизировать. Старые связи помогли. Но тут авторитетные ребята наехали, прибылью интересовались. Разговор у них короткий: пиф-паф – и соболезнование в траурной рамочке в газете. Делать нечего – стали совладельцами. У каждого времени свои законы, свои покровители. Теперь они с братками завод поровну контролируют, если какие проблемы – сообща решают. Зато Борис по-настоящему состоятельный человеком стал. Что называется, себе до конца жизни хватит, детям, а может, и внукам... Только нет у них детей. И не будет. Здоровье жены подорвано. Лучшие годы ушли. И если бы этот подонок Рихард не исковеркал жизнь несчастной Марины – были бы они сейчас с ней в полном порядке. Жили бы полнокровной жизнью, крепкой семьёй... Внуков бы уже поджидали... А так... Кому всё это добро оставишь, если наследников нет?

Долг платежом красен. Теперь Борис хотел одного – возмездия...

... Алан наблюдал за домом Рихарда уже не первый день. Задача стояла несложная, но всё шло совсем не так, как Алан предполагал. Объект прочно засел в своей хате, и терпение Алана было на пределе. «Хоть бы за сигаретами вышел», – он сплюнул в траву, опустив стекло в машине. В принципе, ему в кайф было стоять вот так в лесу и вообще в кайф была эта самая Германия. Только хотелось поскорее закончить дело, получить бабки и вернуться в свой маленький осетинский городок, где его ждала невеста. Девушка жила на соседней улице, отец её работал директором птицефабрики, семья была зажиточная. Алан должен был выплатить большой калым отцу невесты, и саму свадьбу решили делать по-богатому. И теперь Алану до зарезу нужны были деньги. Работы в Осетии – никакой, и он подался на Север. Там долго перебивался случайными заработками, потом через десятых лиц вышел на Бориса. Тот показался мужиком толковым. Подкинул две-три работенки... Неплохо забашлял. Даже в кабак пригласил. Гульнули там с девчонками... После вызвал на разговор. Интересовался, откуда приехал, какие проблемы, умеет ли он стрелять, служил ли в армии. Услышав, что воевал на стороне федеральных сил, очень оживился, пообещал, что будет суперработка. Вскоре ввел в курс дела. Надо было бесшумно убрать одного из питерских чиновников среднего звена, который им палки в колесаставил. Алан всегда любил боевики смотреть, особенно нравились ему драки, погони и когда пуляют друг в друга. «Если хорошо выполнишь задание, – сказал Борис, когда он отправлялся в Питер, – поедешь за бугор. Там тоже есть одно дельце. С чуваком одним надо разобраться...»

К деньгам, особенно к долларам, Алан относился трепетно. Тем более теперь, когда решил жениться, денег надо много. Мариса, невеста, сказала, что мечтает о большой семье. Если деньги хорошие пойдут, за две тысячи долларов Алан решил купить машину, а три вложить в какой-нибудь бизнес. Можно палатку на рынке взять в аренду или ещё что-нибудь придумать. Если своих мозгов не хватит,

родственники что-нибудь посоветуют, были бы зелёные. Слово «киллер» Алану даже по-своему нравилось, казалось, что он сидит в кино, смотрит какой-нибудь захватывающий боевик, где кровь рекой льется. «Если человек хороший, Аллах никогда не допустит его гибели, — а если человек сложил голову в бою и за правду, пошлёт его душу прямиком в рай», — эти слова, которые он услышал недавно в мечети, глубоко запали ему в душу.

Дом Рихарда стоял рядом с лесом настолько удобно, что нарочно не придумаешь. Два дня назад к Рихарду пришла в гости какая-то молодая женщина. Алан напрягся и весь превратился в слух. Борис запретил пачкать в доме, и Алан все время надеялся, что Рихард наконец-то выйдет из своей хаты, повезёт куданибудь женщину на своем зелёном драндулете, и Алан сможет сделать то, ради чего он сюда, в Германию, и приехал. Он задремал и проспал, наверное, часа три. Потом проснулся, отхлебнул колы, съел кусок холодной пиццы и снова стал смотреть на дом, где жил объект. Работа у Аланы всё-таки была довольно сложная, но он понимал, что просто так такие деньги не платят. Уже смеркалось. Рядом были Альпы, и воздух даже чем-то напоминал горный воздух его родного северо-осетинского городка. Алан подумал о своей невесте и о том, как она обрадуется, когда он вернётся домой с большими баксами...

Наконец, калитка скрипнула. Алан включил прибор ночного видения. Ближе подъезжать было опасно, ведь это была Германия, а не Россия, и Алан боялся навлечь неприятности на свою голову. Из темноты вышли двое. Женщина была белокурая, на редкость классная, она шла немного впереди и выглядела очень счастливой. Даже отсюда Алану было видно, что она влюблена. Она то и дело останавливалась и лнула к мужику, который Алану сразу резко не понравился. «Шайтан поймет этих женщин, — зло подумал он про себя. — Что нашла в нем эта баба, отчего притащилась к нему сюда неведомо откуда и почему засела у него на целых два дня?..» Засела, не давая Алану выполнить свою работу и поскорее вернуться домой, пока его греческая виза не кончилась.

Баба всё ворковала, и Алан увидел, что она очень даже в его вкусе — весёлая, рослая и фигуристая, он решил, что не будет ее убирать, пускай живёт, если такая красивая, тем более, что насчет неё Борис никаких указаний ему не давал, а уверял, что объект живет за городом совсем один. В руках женщина держала цветы с длинными стеблями. В Осетии такие цветы обычно дарили учительницам перед началом нового учебного года. Уже прицелившись, он вспомнил, что они называются гладиолусы. Раздался глухой хлопок выстрела. Женщина вскрикнула и стала валиться на траву. Алан понял, что промахнулся. Он грязно выругался и рванул с места машину. Уже разгоняясь, он увидел, что из соседнего дома выскоцил фриц с двумя собаками и бросился на страшный крик объекта. Больше стрелять Алан не стал. Надо было тикать, пока не застукали...

ИЗ НЕМЕЦКОЙ ПОЭЗИИ

Андреас ГРИФИУС

ДВА СОНЕТА

СЛЕЗЫ ОТЕЧЕСТВА

Опять со всех сторон нас недруги стеснили,
Потоки диких орд и хриплый крик трубы,
От крови жирный меч и едкие клубы
Пожарищ небеса и дол заполонили.

Разрушили дворцы и храмы разорили,
И ратуши сожгли; мужей свели в гробы
И осквернили жен. О тяжкий гнет судьбы!
Огонь, чуму и смерть повсюду поселили.

Дымящаяся кровь струится с теплых плах.
Уж восемнадцать лет, как землю кроет прах
И в реках мертвых тел всё больше год из года,

Но помните о том, что горше смертных мук,
Коварнее чумы, страшней голодных рук:
Оскорблена душа, поруган дух народа.

ВЕЧЕР

Промчался быстрый день, и ночь под черным флагом
Выводит толпы звезд. Руно усталых лиц
По улицам течет. Молчанье в царстве птиц –
Их песни до утра зарыты в землю кладом.

Все ближе порт. Огни скользят во тьме за лагом –
Подобно им под тихий плеск страниц
Мы гаснем и уходим в сень гробниц.
И лишь зерно в земле восстанет к жизни злаком.

О, Боже, дай мне удержаться в карусели!
Спаси от всех грехов, неведомых доселе!
Коль можешь, помоги противиться судьбе,

Дай отдохнуть душе, когда устанет тело,
И в час прощанья с этим светом белым
Из вечной суеты возьми меня к себе!

Примечание:

Строка „От крови жирный меч“ в первом сонете была подарена мною моему учителю Льву Гинзбургу при следующих обстоятельствах. При чтении стихов в нашем литературном объединении при инязе Гинзбург сказал, когда я прочитал свой перевод: „Женя, я тоже перевел „Слезы отечества“, но в вашем переводе строчка „От крови жирный меч“ гораздо точнее. Я не решился перевести так буквально. Поэтому я забираю ее у вас“. Я не решился возразить мастеру и только попросил расписаться в получении строки на сборнике его переводов, который вскоре вышел. Автограф хранится в моем московском архиве.

E. Бовкун

Райнер Мария РИЛЬКЕ

* * *

Я вечер читаю, как сказку
В пурпурной обложке заката.
Я трогаю пальцами краску,
Она, как пыльца, желтовата.

По первой странице, как ветер,
Промчусь, а вторую читаю
Спокойно. Споткнувшись на третьей,
Среди запятых засыпаю.

* * *

При солнце ты, как шепот, льешься
В движеньи многих голосов,
И вдруг молчанием сомнешься
Над боем башенных часов.

Чем светлый день клонится ниже,
С вечерней мглой скрепляя связь,
Тем выше ты, мой Бог. Струясь,
Твой шлейф, как дым, ползет по крышам.

* * *

Страшась возбудить Его праведный гнев,
Берег для Него я свой каждый напев
В себе, как в колодце с холодной водой.
Зачем он молчит, шевеля бородой!

Он, видимо, хочет от собственной музы
Теперь отказаться сам.
Но я припадаю к Его стопам –

И половодье вернувшейся музыки
Затопляет Его храм.

С немецкого перевёл Евгений Бовкун

ДВА РАССКАЗА

ГЛУБИНА НЕБА

Это неправда, что небо бездонно. У него есть своя глубина. Как и у Земли. И людей всегда живет на Земле строго определенное количество. Чтобы всем хватило места и там, и там — и на небе, и под землей. «Из земли вышли, в землю уйдете!»

«Пусть мертвые хоронят своих мертвцев!» В землю уходит прах. Души возносятся «в небо», как принято говорить. Но как в земле покоится только прах, так и в небе не порхают никакие «души», бесплотные птицы.

Высокие чувства — единственное, что возносит нас в глубину небосвода, точно так же, как низкие помыслы низвергают нас на землю и глубже. В снах и мечтах, грезах любви мы становимся обитателями небес, оттого они и вполне похожи на дом, обитель, которая имеет свои уютные размеры.

Куда же уходит смертный человек после своего конца? Кто знает. Не будем понапрасну тревожить Бога. Может быть, мы попадаем на Луну? На ту ее сторону, которой не видно? Поживем — увидим.

Я смотрю из больничного окна на далекий горизонт. Небо в закате. Холодное золото быстро меняет цвет — от белого до червонного. Шафран и вишневый сироп, лимонный сок и кровь гранатов. Ветрено, судя по кронам и бегу туч. Далеко зажигает свои огни небоскреб «Сименса». Небо отвечает пурпурным прожектором из прорана в высоком облаке — источник сразу округляется в могучее тело светила, так что видны протуберанцы, — все стекает за горизонт потоками киновари. Быстро опускается занавес синих и фиолетовых плотных туч, пряча упоительное волшебство, адресованное только мне. Высыпают городские огни ожерельями проспектов и улиц. Люди обнаруживают себя суетой так и не поднятых к небу лиц. Зажегся неон вывески табачной лавки внизу. В соседнее окно видны хозяйствственные постройки больничного двора, прилепившийся домик — мастерская скульптора, в палисаднике рядом белые изваяния привидениями крадутся в темных кустах. Еще правее — хоспис, приют для безнадежных. И совсем в углу скрыт ветвями морг.

Я на этот раз помещен в нервное отделение, тут живет своеобразное братство: персонажи с нервными расстройствами, рамолики — впавшие в детство старики, наркоманы в кризисных состояниях, вылезающие из них без большого оптимизма. Кто вылез окончательно, оживает, мечтает, наверное, о новых кризисах. Есть маниакалы, окончательно ушедшие в себя, смотрят часами в одну точку. Иногда голова падает на одну сторону — левое или правое плечо. Шепот бреда. Есть на вид совсем здоровые и крепкие ребята, их привезли с травмами, полученными, когда они не помнили себя: переломы, ушибы. Общая беда сближает. Как и общие склонности. Все это люди, выпадающие из «нормативного» существования. Многие тут не в первый раз. Братство же они составляют в противовес тем, кто живет в согласии с обществом и его нормами.

У здешних — религия отрицания. У тех, кто на воле, тянется в автомобилях, спешит по тротуарам в пиццерии или на фитнес, свидания или в кино — у всех у них религия утверждения нормы: семья, дети, любовь, работа. Иногда крики спецсигналов неотложки снизу, с улицы, вместе со сверканием разноцветных мигалок оповещают о том, что кто-то сменил «религиозную» принадлежность. Тогда через некоторое время к нам поступает новенький или новенькая.

Я курю у окна с девушкой, у которой руки от запястий до локтей в мелких шрамах порезов — мания суицида, ухода из жизни вообще, разрыв с обоими культурами. Разумеется, не без наркотиков той или иной степени тяжести.

Она страдает бессонницей, как и многие здесь. Я тоже. Потому мы часто сидим в курилке до поздней ночи. Или в несусветную рань. Тут позволяет. Мало того, стоят кофеварка и «вассеркохер» — электрочайник, — можно варить чай и кофе, хоть залейся. Пакетики с тем и другим в коробках рядом. Вспоминаются наши больницы — там несколько иначе. Особенно для «психов» — их тут вдвойне жалеешь. Почему, ну почему у нас все так? Здесь много кофеманов, всюду кружки с остатками кофе.

Мой сосед по палате Ральф достает кофе, даже когда уносят агрегаты под утро вместе с пакетиками чая и кофе «Хаг». К Ральфу персонал благоволит, как, впрочем, и больные. У него сломана нога во время другой «ломки», он и здесь курит табак из военного магазина, утверждает, что там есть — каннабис, как я понял, он намекает на наличие там опиума. Ральф обаятелен, весел, общителен, его нельзя не полюбить.

Девушку, с которой я курю, зовут Герта. Она мне нравится. Мне хочется чем-нибудь ей помочь. Ободрить, что ли.

Население палат постоянно дефирирует, оседает частично в курилке, перебрасывается как бы через силу произносимыми фразами, которые часто вызывают искренний смех, недоступный мне происхождением. И так-то малопонятный мне немецкий язык здесь превращен в кусочный сленг, рубленые идиомы, в которые я вслушиваюсь, пытаясь изо всех сил понять, но если и понимаю, то уже после того, как все отсмеялись. Тогда моя улыбка выглядит вполне идиотской, подстать mestу.

Меня самого понимают после многовариантных моих формулировок.

Вчера Герта отличилась: сожгла окурком тыльную сторону ладони в нескольких местах. До крови. Я заметил и отвел ее к медсестре. Ее перевязали, что она восприняла, как обновку. Потом все женщины отделения пошли во главе со старшей сестрой в соседний «Кауфхоф» — универмаг неподалеку. Была ударная распродажа. Вернулись уже с настоящими обновками: кроссовки, майки с лихими надписями. Герта пришла в супермодных кроссовках и майке с надписью «Некурящие тоже умрут!»

У телевизора пультом завладевает очень толстый турецкий юноша. Он быстро находит турецкий канал и часами слушает заунывное пение под бубен и струнные национального происхождения. Певцы тоже отличаются тучностью. И певицы. Все остальные терпеливо слушают без признаков недовольства. Такая терпимость в таком месте меня восхищает. Я от этого воя лезу на стену. Потом кто-то все-таки отбирает у турка пульт и ставит сериал. Зажигаются роковые страсти: два брата любят одну, она любит обоих. В итоге проливается море крови. Тонкости мне растолковывает Герта: «У нас так часто бывает!» Надо сказать, что мои знакомые немцы живут как-то спокойней, что ли. Хотя в доме, где я живу, как раз подобралась подходящая под этот сериал компания: сестры, живущие без мужей, приходящие кавалеры, в меру постоянные. И неизвестно от кого и чьи шумные дети. Летом они ставят под окнами на газоне стол, стулья. Гриль тут стоит всегда. Под выходные и праздники синий чад поднимается ко мне: пахнет обугленным мясом. Пирут все вместе и так же беспричинно и громко хохочут.

Сюда, в больницу, приходят посетители ко всем. К Герте приходит серьезный и солидный бородач, но нельзя понять, муж или просто друг, «фрайнд». Ко мне не приходит никто. Мне нужна смена белья, майки, рубашки, нужны деньги на табак, гель, лосьон — много чего. Я выпрашиваю сопровождающую, мы едем домой на ее «Хонде». Около дома пасется чья-то кроха. Она смотрит на меня, как на выходца с того света, потому что я небрит, и еще она видела, как меня забирала «скорая». Ей любопытно тем не менее. Я набиваю целую сумку. Маек я беру специально много с умыслом: мне хочется сделать кое-кому подарки. Все равно не ношу, потому что все мои тишотки молодежного содержания — по рисункам и надписям. Покупал раньше, из расчета на вечную молодость. Одна майка оповещает о принадлежности к американским вооруженным силам, она, естественно, предназначается Ральфу с его каннабисом.

Везет меня старушка из евангелического общества, которое приставлено к нашей больнице «Святой Марии». Мы лежим в отделении «Урсула-1». Выше есть отделение «Тереза-2», для совсем уже психов. Они сидят под замком, не то, что мы — под честным словом, — выходить с разрешения. Зато у психов еще более свободные порядки, они ночами напролет пьют кофе и дуются в скат или кости.

Старушка ведет «Хонду» лихо, мы домчали до больницы, успев заехать и в сберкассу, и в табачку, и в ларек с напитками. Я набит подарками: сигареты, шоколад, кола, майки, сок.

Ральф доволен донельзя, хотя тишотка ему велика. Он начинает всучивать мне свое барахло: майки, рубашки, даже выходные ботинки из итальянской кожи. Вообще вещи ему кажутся лишними, весь мир вещей. Хотя его гардероб подобран со вкусом и недешев. Я отбиваюсь, пока не откладываю незаметно его подношения в его шкаф. Герту я кормлю шоколадом и дарю ей студенческую майку с надписью «Кампус». Майка морских цветов, в голубых полосах, ей очень идет. Она радуется так, что лет десять с нее слетает по волшебству.

Курим, все в обновках и все довольны. Ральф ездит на «рольштуле» — креслекаталке, целит во всех загипсованной поднятой ногой, что оправдано теперь его воинственной майкой.

Второму соседу, супермену с лицом греческого гоплита-пехотинца, я дарю майку в черных пауках на узких лямках. Он очень доволен, но не думает скрывать своей непрязни ко мне, иностранцу. Подозреваю, что он близок к бритоголовым. Глядя на меня, он морщится. У него никогда нет сигарет, его навещает один собрат по убеждениям, наголо бритый в пирсингах. Но курева «собрат» ему почему-то не приносит. Когда я отдаю гоплиту полную пачку, он принимает это как должное. Безразлично спрашивает, далеко ли Россия? Я отвечаю, что тысячи три наберется. Голова его неожиданно падает набок, глаза стекленеют. Приступ. Когда приходит в себя, говорит в пространство: «Не так далеко... Купил бы билеты и поехал!». Я его намек понимаю.

Ночью пьем кофе и курим с Гертой. У нее кровит вторая рука. Что там она с ней сделала — неизвестно. Идем, заклеиваем у ночной сестры. Мне жалко Герту до слез, она сама не теряет при всем при том ни юмора, ни азарта. Касается моей руки. Извиняется и благодарит. Без перехода. И опять — сиплый смех.

Утром следующего дня привезли новеньką. Эксцентричную худощавую женщину, похожую на актрису немого кино Ольгу Хохлову. Я видел Хохлову в виде некоего мумифицированного существа на пляже в Сухуми сто лет назад, до их войны. Она дарила меня вниманием с грацией действующей кинодивы. Кожа, помню, у нее не хотела загорать, розовым тюлем окутывала кости. Ее, кто-то вспоминал, любил Пикассо. А время грызло и грызло крысиные ходы, догрызаясь до костей и Хохловой, и Пикассо, и этой новой пациентки. И все они не хотели сдаваться, как Герника. Новенькая просит у всех подряд дефицитное курево только для того, чтобы раз-другой затянуться и оставить сигарету с алым ободком помады

дотлевать в пепельнице, а самой тут же умчаться, пока седой пепел не отваливается в который раз. Тогда она влетает в новом наряде, кимоно или бальном платье с блестками, чтобы опять попросить сигарету и снова умчаться для очередного переодевания. Она прекрасно поет по-французски, Ральф подпевал ей както, вдвоем у них получалось вообще замечательно.

Вечером она уже плакала в коридоре. Ей в чем-то отказывали, она вызывала по мобильному телефону адвоката. Тот, что удивительно, приехал, несмотря на поздний час, привез баул с нарядами и кучу блоков сигарет. Она не бедная, эта женщина, но продолжает просить курево и бросать его в курилке. Когда она спит?

Ночью мы опять стояли с Гертой у окна. В синей бархатной прохладе городского сумрака плавали теплые плоты окон. Иногда некто, терпящий бедствие, курил, лежа на таком плоту, опервшись локтями о подоконник, уставив глаза в океан ночи.

Этажи небес темны, соревнуясь в степени плотности спрессованных в них чернил. Ангелы вряд ли уже спят, они, скорей всего, не ложились. Однако их отсутствие сегодня почему-то особенно ощущимо.

Я нахожу на небе особенно плотный слой — крышу, и под ним я обнаруживаю чердак — просвет побледнее, даже с «окном»-прораном, сквозь который виден месяц.

Там пока пусто. Новенькая проходит мимо со счастливым лицом, слезы на нем еще не высохли.

— Пожалуйста! Пожалуйста! Дайте закурить! Всего одну сигаретку! Только одну!

В моем доме, где сейчас живу, тоже есть чердак, скорее маленький чердачок. Там стоит кое-какая мебель из ротана — это род тростника, рамы для картин, которых больше никто никогда не напишет. Пахнет несбывшимся.

На немецких чердаках есть обязательно окно в покатой крыше. Люк-фрамуга. В него видны звезды, проплывает качалка месяца. Я решил, что это самое подходящее место для меня и Герты. Будем сидеть в ротановых креслицах, пить кофе и смотреть на дым наших сигарет, уплывающий к звездам. Во-он туда!

Я смотрю в уютный закут неба под чернильной небесной крышей, где обнаружилось окошко, куда заглядывает народившийся месяц.

— Ты завтра выписываешься? — спрашивает Герта.

— Ага. «Ганц генау». Точно.

— Придешь меня навестить?

— Натюрлих! Конечно!

— Я буду тебя ждать!

— ОК!

Наутро я выписался. Стукнул ладонью в ладонь Ральфа. Обнял Герту слегка за худое плечо. Супермен заблаговременно смылся, чтобы избежать объятий.

Через неделю я пришел с цветами и шоколадом. И стекляшкой для Ральфа из его любимого военного магазина, — стекляшка как-то используется при курении каннабиса, мне объяснили. Герты нигде не было видно.

— В реанимации. К ней нельзя. Плохо — «шириг», — говорит сестра.

— Изрезала всю руку, — говорит Ральф, не переставая улыбаться. — Нашли только утром. В душе. Пошли, покурим!

Мы идем, а я вспоминаю, что душ открывают в половьем утра, когда приходит смена. Значит, пролежала всю ночь на кафельном полу...

Курим. Я отдаю Ральфу стекляшку. Ральф тут же придумывает ей назначение — курит, пропуская через нее дым. Как раз для его каннабиса. Чем я могу еще помочь? Выйдет и заменит мистический каннабис вполне реальным хашем-гашишем.

Рядом садится давешняя новенькая в сногшибательном туалете. Гладит меня по плечу, по руке. Точно она понимает что-то сверх того, что видят другие. Например, что мой чердачок будет стоять пустой. Разве что в том, небесном, появиться любители ночного кофе. Я ведь сюда загремел после очередной попытки отра-виться.

КЛУБНИЧНАЯ ПОЛЯНА

Ева всегда знала, что найдет ее. Недаром она столько раз видела ее во сне.

Это поле обычно брали в аренду турки. Турки из сельской местности, имевшие опыт сельскохозяйственных работ. Они приехали из Анатолии большой семьей, часть занялась торговлей — открыли лавку овощей и фруктов в турецком районе, а другая часть арендовала землю. Это поле они засадили клубничной рассадой. Возни, по их понятиям, было не так уж много по сравнению с тем, что они имели дома. Тут, в Германии, не было проблем ни с удобрениями, ни с арендой минитрактора, ни со средствами борьбы против вредителей: все было в наличии, и все доставлялось вовремя. Ох уж эти немцы!

Главная зоня была с прополкой, подрезкой и прочим, но тут их выручали женщины, которых было в достатке. Семья есть семья. И никому не надо платить, для немецкой семьи такое немыслимо. Затраты на выращивание сводились до минимума. После уборки они запашут и обобранные кусты клубники, и необраненные — сроки были оговорены строго.

Лучшую часть, хорошо удобренную и ухоженную более тщательно, они оставляли для уборки своими силами: сами убирали, подключая детей и стариков, сами везли в свою и соседние лавки, сами продавали. Эта часть была огорожена условным ограждением из струганных палок и ленты, какой «полицай» огораживают места дорожных и прочих происшествий — красный с белым пунктир. Остальное пространство отдавалось на «самообслуживание». Местные немцы и эмигранты — последние с особенной охотой — брались сами собирать в свою тару. Какая-то тара имелась у арендаторов на продажу: «шале» — коробочки из пластика и «корбе» — плетенные из стружки прямоугольные лукошки-корзинки. Дешево, но не слишком. Многие приносили свои корзинки и пакеты. Иногда пластиковые ведра.

За «самоубранную» клубнику хозяева брали дешевле. На полтора евро. И позволяли есть «с грядки» сколько душе угодно.

Немцы — расчетливый народ, они охотно шли на «самоуборку»: экономия плюс дети наедались «от пуз», плюс мюцион, нечто вроде фитстудии на открытом воздухе. «Аэробика» или, как пошутил Ахмет, «Ердбеереробика», «ердбеере» — по-немецки «клубника».

Ева набрела на «поляну» недавно. Она сама так назвала ее случайно в разговоре по телефону: «Ты знаешь, — сообщала она подруге, — там ее целая... большая поляна! И такая крупная! И ешь сколько хочешь!» «И почем?» — спросила подруга равнодушно. «По рупье шестьдесят! В смысле евро!» — хотела удивить Ева. «Подумалось! У нас в «Плюсе» по два! И ни тебе нагибаться, ни горбатиться!» «Так там свежая! С грядки! И ешь сколько хочешь!» «Я ее вообще не ем, — заявила подруга, — а для маски несвежая даже лучше!» — Ева вспомнила, как часто заставала подругу с лицом, вымазанным розовой клубничной массой. «Детей возьми! Пусть поедят!» «Их туда на аркане не затащишь! Им готовое подай!» — подруга уже немного презирала Еву, что чувствовалось. И всего за то, что она хотела пойти на клубничное поле, пособирать сама. Ева повесила трубку: «Как хочешь!»

Еву привлекало пойти не желание дармовой ягоды, не жадность — она и за витаминами не гналась, и масок отродясь не делала. У нее были другие мысли и желания. Смутные. И связанны они были с одним эпизодом, который едва не искалечил Еве жизнь. Но не искалечил.

Жила Ева в большом промышленном городе на востоке Сибири. Точнее — на рабочей окраине, рядом с новым заводом. В городе полно выросло после войны заводов, дымы всех цветов — самое яркое воспоминание. И воздух соответственный. И вода. Она и забыла, когда ела клубнику. Забыла, да не совсем.

Еще в техникуме их послали в подсобное хозяйство, обирать с картошки жука. Напал в тот год такой вредитель на все картофельные поля. По старой памяти его еще звали «колорадский». И в том подсобном хозяйстве, как узнали пронырливые и голодные дети, было поле с клубникой. Конечно, решено было «навестить». Ближе к ночи. Взяли фонарики, чтоб не набрать зеленых. Накрывались курткой, чтоб не видеть было ни огонька, и так на корточках пробирались. Но сторож засек. Все сумели удрать, Ева — нет. С набитым клубникой ртом и нелепой плетенкой, в которой и перекатывалось-то несколько ягод, предстала Ева перед сторожем-кавказцем. Одно запомнила Ева — он был немолод, глаза только дикие, горели почище фонарей... Остальное вспоминать не хотелось. Забыла. Выяснилось — до поры.

Когда Ева набрела тут на клубничное поле, свою «поляну», она инстинктивно искала шалаш, где мог прятаться сторож. Но, конечно, никаких шалашей не было. Только будка, где молодая женщина с ребенком взвешивали ягоды и вели расчет. Ребенок баловался с весами. Все на доверии. Причем, кто кому должен был доверять? По мнению Евы, турчанка взвешивала на глаз, а ребенок «помогал» весьма условно — что там они видели на электронном датчике, один Бог знал, покупателям же видно не было. Но собирать позволено было безо всякого надзора: хоть сбегай с полными корзинами на все четыре. Никто не сбегал. «Чудно», — усмехнулась Ева.

Никто бы не объяснил Еве, почему она ждала встречи со своей поляной. «Клубничным полем»? Никто ведь не знал: тот сторож в подсобном хозяйстве, что ее поймал, и был ее первым мужчиной. Со всеми безрадостными последствиями. И тем не менее, она ждала и дождалась. «Земляничная поляна», ее «клубничное поле» дождалось ее. В двух шагах от города. Макс отказался везти ее туда. «Тебе не стыдно будет?» — «Да чего стыдиться?» — «На дармовщинку там пастись?» — «Да перед кем?» — «Перед другими! Местными!» — «Да они такие же! В совсем свежей полно витаминов! И дешевле! И нам наберу!»

Стыдно ей было. Как тогда, когда она ела клубнику в Германии впервые. Макс купил по неопытности много — целую плетенку. Да еще хитрый баллон-спрей со взбитыми сливками. И стыдно не потому, что, с ее точки зрения, они не совсем заслужили такую роскошь. Нет. Стыдно было даже не потому, что в России осталась близкая родня, кто не мог себе позволить подобное лакомство. Стыдно было совсем по другой причине: пятый год они были в браке, третий — в Германии, а детей у них так и не было. С Максом все было в порядке, так говорили врачи. А вот с ней... Может быть, их город, хищный и ядовитый, оставил свой след? Макс был из сельской местности, из поселка, который они между собой называли «немецким». Там жили дети и внуки сосланных когда-то немцев. Родители Евы перебрались в их промышленный город из Средней Азии, когда, в связи с переменами, русским там стало «неуютно». Тронулись тогда со своих мест многие. Ева была маленькой, но лица запомнила. Особенно лица женщин. Проклинающих женщин. «Может, сглазили?» — думала она иногда. Там, в Средней Азии, она впервые попробовала клубнику. Покойная бабушка купила ей тайком на базаре, родители считали клубнику, ягоды баловством. Жили бедно, отец был все время без работы. Нанимался «по-черному», как здесь многие нанимаются.

Турки повесили объявление, что наступает последний день сбора. Они, как всегда, планировали, что в этот день придет побольше народу. Следующий день они отводили под бесплатный сбор — добор. А еще через день должен прийти трактор. Дни стояли на редкость жаркие. Люди ленились, шли неохотно. Поле все-таки было на отшибе. На машинах мало кто приезжал. То ли не хотели «светиться», то ли не было машин у большинства «самосборщиков». Ехали на велосипедах, шли пешком. А в такую жару — неохота...

Ева чуть не прохлопала тот критический день. Совсем последний. Арендаторы убрали свои «полицейские» ленты, закрыли будку с весами и ушли, предоставив

делянки последним «клубничникам». Солнце стояло в зените. Пекло — дальше некуда. Ахмет, окинув поле взглядом, сказал: «Сколько осталось! Вот тебе и «ерд-беереробика!» Мало похудеют немецкие фрау».

Поле поразило ее обилием красных, переспелых, мясистых ягод. От них шел тяжелый сладкий дурман. Она долго ходила, выбирая mestечко поурожайней. И чтобы народу поменьше. Все ж таки было неловко. Теперь еще и от того, какие мысли бродили у нее в голове. С какой мечтой пришла. С собой она принесла два пластиковых ведерка, с которыми ходила «путцать» — убирать к состоятельным хозяйствам.

Она присела на корточки и стала обрывать ягоды покраснее и покрупнее. Оказалось, что они — не самые вкусные. Самые вкусные были средней величины и розоватые.

Она решила не торопиться. Есть не хотелось. Потихоньку стала наполнять ведра. «Интересно, а как я повезу их на велике?» — подумала она. И вдруг тайное намерение выплыло из глубины сознания и стало четко сформулированным желанием. «Вот и будет маска! Маска так маска!» — Ева засмеялась от дерзости того, что собиралась сделать. «Придется дождаться вечера!»

Вечер наступил неожиданно быстро. Что он наступил, Ева поняла, когда зажглись фары проезжающих по шоссе поодаль автомобилей. Они гирляндой опоясывали кромку поля и, как по новогодней елке, петлями поднимались на ближние невысокие горы. Огни терялись где-то наверху, где угадывалась вершина, над которой уже повисла бледная рябая луна.

Сборщики ушли. «Дурни, взяли бы фонарики!» — подумала Ева, вспоминая подсобное хозяйство и тот ее роковой вечер.

Ева взяла ведра и пошла на самую середину поля. Она медленно высыпала ягоды на небольшую прогалину.

Шафраном отцветало небо в стороне заката. На синий бархат высыпались звезды. Ягоды в полутьме казались черными и живыми.

Ева быстро скинула с себя одежду и, заминая от жути, медленно легла в холодную, одуряющее пахнущую трясину. «Маска так маска!» — шептали ее губы. Холод, жар, озноб, ожог — нет слов, чтобы описать ее ощущения, когда она слегка поворачивалась с боку на бок. Потом она легла на спину, руками растирла пригоршни ягод по лицу, по груди, бедрам...

Она не слышала, как подъехала машина. Не слышала, как Ахмет, воротившийся за весами, подходил к ней, заметив на поле нечто необычное под луной...

На будущий год, в начале апреля, Ева родила девочку. Рыженьку, как морковка. Радости Макса не было границ. «Я говорил, что в Германии медицина все может!» — говорил он Еве.

Он хотел, чтобы она была благодарна ему, который вывез ее сюда. Она и была благодарна. «У нас в роду, ты не поверишь, рыжие повторяются через поколение!» — говорил еще Макс, черный, как грач. Ева улыбалась: «Верю, почему “не поверю”?!»

Рыжим был тот, сторож, ее первый мужчина...

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

КАРЛ И КЛАРА

Как-то я вернулся из школы и застал дома незнакомую женщину. Рядом стояла мама и гладила её короткий седой ёжик: «Клара! Кларочка, родная! Что они с тобой сделали!» Тётя Клара! Неужели – тётя Клара? Я помнил её молодой статной женщиной с тяжёлым узлом чуть выующихся медных волос. Исчезла она, когда я был во втором классе. В моём присутствии имя тёти Клары не произносили. Однажды я случайно слышал, как папа сказал: «Лёнька – уже взрослый парень. Он должен знать, что с Кларой». Но мама тоном, не допускающим возражений, отрезала: «Рано. Когда начнёт заполнять анкеты, тогда всё и расскажем!» Но я и так о многом догадывался.

И вот теперь тётя Клара вернулась. Наверное около месяца она пробегала по всяким инстанциям, а потом как-то за обедом решительно сказала: «Завтра иду в зоопарк. Попытаюсь вернуть Карлушу». Карл был большим красивым попугаем, которого тётя Клара привезла с войны. Появился он у неё году в сорок четвёртом. Тётя Клара забрала полумёртвого попугая у солдат госпитального взвода, которые нашли его голодного в оставленном немцами блиндаже. Солдаты кормили заморскую птицу заокеанской тушёнкой, от которой непривычный к свинине попугай начал болеть. Может быть, в нём текла еврейская кровь? Во всяком случае, нос у него был явно семитский. Хорошо, что догадались снести его к госпитальному терапевту – нашей Кларе.

Я впервые увидел Карла щеголеватым красавцем в ярко-зелёном фраке. Он сидел в огромной латунной клетке и тщательно чистил свои блестящие пёрышки.

Как-то на майские праздники у тёти собирались несколько коллег. Один из подвыпивших гостей просунул в клетку ложку с водкой. Карл, которого прежний хозяин-офицер, вероятно, приучал к спиртному, быстро и как-то боком подошёл к ложке и начал пить. Гости были довольны и, конечно, захотели повторить угощение, но тётя категорически запретила. И вдруг всегда молчавший попугай закричал: «Хайль Гитлер! Хайль Гитлер! Зиг хайль!» Бедная тётя Клара! Она вынесла клетку в чулан, но и оттуда на всю квартиру разносился хриплый крик пьяного попугая: «Зиг хайль!»

А через пару дней за тётей пришли. На допросе следователь обвинил её ... в сионистской пропаганде. Наверное, время было такое – шла борьба с космополитизмом. Единственно, в чём тёте Кларе удалось убедить следователя, так это в том, что попугай без корма и воды сдохнет, и поэтому ценную птицу надо сдать в зоопарк.

И вот теперь тётя собралась забирать Карла. Не знаю, что она говорила, какие доводы приводила, но вскоре к нашему дому подъехала «Победа», и сам директор зоопарка занёс в комнату ту самую латунную клетку, в которой сидел виновник тётиных бед – красавец Карл.

Много лет прошло с той поры. Давно нет на свете моих родителей. Мы с женой и детьми живём в Германии. Конечно же, с нами приехала старенькая

тётя со своим любимцем. Получили они квартиру в сеньёрэнхаузе. Фрак Карла со временем потускнел, но он по-прежнему бодр. Тётя Клара шутит, что Карл возвратился на родину как поздний переселенец и её с собой прихватил.

Жизнью в Германии тётя Клара довольна, она активист местной еврейской общины. Недавно прочитала лекцию по истории сионизма. Так что прав был следователь КГБ.

ЙОСЯ

В чем я перед тобой провинился, Йося? Почему из множества лиц, живущих в моей памяти, так часто всплывает твое лицо? Может быть, я виноват перед тобой в том, что родился здоровым, создал семью, жил нормально, то есть как все?

Не могу точно сказать, когда я увидел Йосю впервые. Было это давно, году в сорок седьмом или сорок восьмом. Чем он поразил меня, десятилетнего пацана? Может быть, своими глазами? Большие, как на старинной иконе, они таили в себе невысказанное страдание. Такое глубокое, что даже мы, мальчишки, народ быстрый и жестокий, поняли: Йосю обижать нельзя. И хотя в те послевоенные годы было ему, наверное, лет двадцать, казалось, что он остановился в развитии в шестилетнем возрасте.

В то время мы все одевались очень бедно, но его пронзительная бедность как-то особенно бросалась в глаза. И в то же время он был одет чисто и аккуратно, даже подчеркнуто аккуратно: ветхая рубашка была латана-перелатана, но зато заплаты подобраны по цвету, а все пуговицы, пусть и разнокалиберные, пришиты. Зимой на нем было пальтецо, из которого он давно вырос. В морозные дни Йося всегда прятал руки в карманах, но так как рукава были коротки, то между ними и карманами виднелась полоска багровой от холода кожи. И летом, и зимой он был обут в легкие парусиновые туфли. Но больше всего поражала нас его культурная речь. Мы, мальчишки, говорили на харьковском суржике, густо приперченном матерком, а уж таких интеллигентных слов, как «разрешите», «извините», не знали вовсе. А Йося знал и употреблял.

Был Йося человеком общительным и болезненно многословным. Занимая длинную очередь в хлебный магазин, подробно рассказывал окружающим, что за хлебом его послала мама, которая предупредила, чтобы он не брал довески. Когда подходила Йосина очередь, то и продавщице он пересказывал мамины наставления.

В то время по нашей улице еще ходил трамвай. Трамвайные пути постоянно ремонтировали, и занимались этим бригады, состоящие из молодых женщин, сбежавших в город из голодных колхозов. Йося подолгу смотрел на то, как женщины таскали рельсы, и обращался к одной из них: «Девушка, выходите, пожалуйста, за меня замуж! У меня мама старенькая, она мне говорит, что скоро умрет, а я один жить никак не смогу. Выходите, пожалуйста! Я Вас обижать никогда не буду, я буду Вас жалеть».

Девушки беззлобно отшучивались.

Каждое лето на нашей улице во множестве появлялись лотки, с которых торговали овощами и фруктами. У нашего дома тоже устанавливали такой лоток. Там орудовала разбитная пережженная пергидролем блондинка Муся. Яблоки, гири, деньги – всё так и мелькало в ее руках, и это сопровождалось таким веселым хамством, что обалдевший покупатель просто не успевал заметить, как его облегоривали. В тот раз Муся торговала белым наливом. Аромат этих замечательных яблок был таким густым, что проходивший мимо Йося невольно остановился у Мусиного лотка. Он стоял десять минут, полчаса, час. Муся его не замечала. Наконец, когда у нее оставался какой-нибудь десяток яблок, Муся вдруг вспомнила

о Йосе: «Ты чего не покупаешь? Мама денег не дала?» Йося кивнул. «Возьми яблоко, а то весь слюной изойдешь!» — «Мне, Муся, одного мало, мне и для мамы нужно». — «Так бери два! Чудо заморское...»

Лет пятнадцать я не был на нашей улице. Мы переехали в новую часть города и Йосю встречать не доводилось. Однажды летом я по какой-то причине оказался в своем старом районе. Около моего дома, как и прежде, змеилась очередь, торговали ставшим к тому времени редким белым наливом. На лотке стояла та же Муся, она заметно постарела и потолстела. Вблизи переминался с ноги на ногу Йося. Он тоже постарел и как-то подался: некогда яркие глаза его потускнели, был он небрит и неухожен, подошвы парусиновых туфель примотаны проволокой. Муся заметила Йосю и хрипло закричала: «Ты чего стоишь? Чего смотришь? Бери яблоки!» Йося взял одно и, как всегда вежливо, поблагодарил. «А для мамы чего не берешь?» — «Мне, Муся, не нужно для мамы. Нет моей мамочки».

Йося! Что связывает нас с тобой, Йося? Почему я не могу тебя забыть?

СКАМЕЙКА

Только мы успели занести в квартиру наши баулы, как в дверь позвонили. «Вот и первый гость!» — сказал я жене и пошёл открывать. На пороге стоял коренастый мужчина в бейсболке. «Ну с приездом, земляки! Слышу в доме русскую речь, дай, думаю, посмотрю, кто такие?» Я пригласил гостя зайти. Он осмотрел нашу пустую квартиру, а затем представился: «Меня Иоганном зовут. Иоганн Бош. А по-русски — дядя Ваня». Он крепко пожал мне руку своей корявой лапой. «У меня в подвале хорошие стулья притащены, — сообщил дядя Ваня. — Только обивку сменишь, а так сто лет простоят». Затаскивая в квартиру стулья, я узнал, что дядя Ваня — шахтёр из Караганды. «Угадай, сколько мне лет?» — лукаво улыбаясь, спросил он. «Лет шестьдесят пять», — сбавил я пару годков. «Не гадай, не угадаешь. Ровно семьдесят пять!»

На следующее утро опять раздался звонок. На этот раз нашим гостем был Михаил Маркович — тоже, как оказалось, сосед по дому. Кисть левой руки у него отсутствовала, но и покалеченной рукой он крепко прижимал к себе тяжёлое зеркало в красивой деревянной раме. «Это наш с Сонечкой подарок к новоселью. Она очень просила прийти к нам сегодня на обед. Такую фаршированную рыбку мы никогда не ели».

Так мы познакомились с нашими русскими соседями.

Часов в десять утра, если позволяла погода, дядя Ваня и Михаил Маркович выходили на улицу и усаживались на самодельную скамейку как раз под нашими окнами. Иногда к ним присоединялся ещё один сосед — коренной немец Франц. Он был в плену и здоровался со мной обычно так: «Guten Morgen! Ё... твою мать! — и радовался, — ещё помню по-русски!»

Летом окна у нас обычно были открыты, и до меня доносились разговоры этих трёх пожилых людей. Франц говорил на хохойч, дядя Ваня — на каком-то необычном голландско-немецком диалекте, а Михаил Маркович — на идиш. Им было что вспомнить: Михаил Маркович потерял руку под Минском, а Франц там же попал в плен. В плену он работал на шахте в Караганде, а на соседней шахте вкалывал ещё совсем юный Иоганн Бош. Иногда к ним подходил наш хаузмастер и просил убрать скамейку, которая, по его мнению, портила газон. Но дело кончалось тем, что кто-то из моих соседей выносил ему банку пива и хаузмастер на пару недель исчезал.

Однажды я встретил дядю Ваню, и он мне сообщил, что ночью у Франца случился тяжёлый инфаркт. Ещё через пару месяцев слёг Михаил Маркович. Заплаканная Сонечка назвала диагноз — тот, которого каждый из нас опасается

больше всего. Скамейка опустела. Иногда на ней одиноко сидел дядя Ваня. А вчера вечером он зашёл к нам прощаться: «Трудно нам с Марией одним, да и дети к себе зовут. Так что будь...»

Сегодня утром хаузмастер разобрал скамейку, но ямки от ножек на газоне пока видны.

ПОД ЗНАМЕНЕМ РАБИНОВИЧА

Здесь, в Германии, Якову Григорьевичу стали сниться сны, да такие гадкие, что не дай бог: то Владимир Ильич на броневике – скорчит мерзкую физиономию, вытянет руку вперед и кричит: «Ку-ку! Ку-ку!» То Сталин провожает Троцкого в Мексику и томно ему шепчет: «Ну мы с вами целоваться не будем, дорогой Лев Давидович, а то Вы меня своей бородкой так возбуждаете, так возбуждаете...». В общем, хоть спать не ложись!

А недавно Яков Григорьевич был на экскурсии в Трире. Давно он мечтал туда съездить: древний город посмотреть, родине Карла Маркса поклониться – все-таки столько лет за его счет жил. Встал Яков Григорьевич рано, дорога туда и обратно длинная. Устал как собака, вымотался, дома заснул как камушек. А ровно через час, хоть часы проверяй, – опять сон приснился: будто пригласили его в дом старого трирского раввина Яакова Маркса на юбилей. На столе щука мозельская фаршированная, цимес всякий, а вокруг стола мешпуха раввина собралась: дети с семьями, внуки и внучки. Все нарядно одетые, на лицах значимость момента отражается. Во главе стола сам раввин Маркс расположился, а рядом – его любимый внучок Карлуша на детском стуле. Когда наполнили рюмки старым мозельским, реб Маркс обратился к собравшимся: «Дорогие мои! Время бежит, годы берут своё – мне уже семьдесят, и я решил уйти на покой. По этому поводу меня принял сам обер-бургомистр и от имени города вручил почетную медаль». Старик открыл нарядный футляр и вытащил блестящий кругляш на цепочке. Карлуша сразу же обвил ручонками дедову шею и повесил на нее медаль. «Но главное в другом, любезные мои, – вытер слезу умиления дедушка Яакоб. – Главное в том, что в память о моих заслугах как городского раввина обер-бургомистр повелел нам сменить фамилию: теперь мы будем не Марксы, а Рабиновичи! Как теперь тебя будут звать, ингеле?» – обратился раввин к малышу. «Карлуша Рабинович!» – звонко ответил дедов любимец.

Яков Григорьевич сразу понял, что происходит нечто страшное, что с этого момента мировая история полетит кувырком: никогда не поднимутся рабочие на штурм Зимнего, никогда над ними не будут развеваться знамена со словами «Учение Рабиновича бессмертно, потому что оно верно!», большевики не придут к власти под лозунгом «Вперед, под знаменем Рабиновича!», но главное – он, Яков Григорьевич, не станет профессором марксизма-ленинизма, членом редакций многих журналов, а будет уличным сапожником, как его дед и отец. Следовало немедленно что-то предпринять. И Яков Григорьевич решительно проснулся.

DEUTSCHE KLASSIK IN KLASSISCHE ÜBERSETZUNGEN

JOHANN VON GOETHE

ERLKÖNIG

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. –

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Krön' und Schweif? –
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. –

“Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir;
Manch' bunte Blumen sind an dem Strand;
Meine Mutter hat manch' gülden Gewand.“

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht? –
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind!
In dünnen Blättern säuselt der Wind. –

“Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihnn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.“

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort? –
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau;
Es scheinen die alten Weiden so grau. –

“Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt.“
Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan! –

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИКА В ЗЕРКАЛЕ КЛАССИКИ РУССКОЙ

Иоганн Вольфганг ГЁТЕ

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Кто скакет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв, его держит и греет старик.

– Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?
– Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул;
Он в темной короне, с густой бородой.
– О нет, то белеет туман над водой.

«Дитя, оглянися; младенец, ко мне;
Веселого много в моей стороне:
Цветы бирюзовые, жемчужны струи;
Из золота слиты чертоги мои».

– Родимый, лесной царь со мной говорит:
Он золото, перлы и радость сулит.
– О нет, мой младенец, ослышался ты:
То ветер, проснувшись, колыхнул листы.

«Ко мне, мой младенец; в дуброве моей
Узнаешь прекрасных моих дочерей:
При месяце будут играть и летать,
Играя, летая, тебя усыплять».

– Родимый, лесной царь созвал дочерей:
Мне, вижу, кивают из темных ветвей.
– О нет, всё спокойно в ночной глубине:
То ветлы седые стоят в стороне.

«Дитя, я пленился твоей красотой:
Неволей иль волей, а будешь ты мой».
– Родимый, лесной царь нас хочет догнать;
Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать.

Ездок оробелый не скакет, летит;
Младенец тоскует, младенец кричит;
Ездок погоняет, ездок доскакал...
В руках его мертвый младенец лежал.

Перевод Василия Жуковского

Майя ТУРОВСКАЯ

«ЛЕТО В БАДЕНЕ», ИЛИ БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Изыщная словесность всегда была фаворитом русской культуры. Небольшая книжка Леонида Цыпкина «Лето в Бадене» (изд. НЛО, М., 2003), ее удивительная история и не менее удивительная история ее «первоисточника», ее необычный слог и несформулированный смысл на фоне нашего аудио-визуального времени представляют апофеоз литературы, ее Большое приключение.

1. УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РОМАНА. История этого романа, пришедшего к русскому читателю с опозданием чуть не на четверть века, может служить наглядным пособием к мифологии «неведомого шедевра». Предисловие Сьюзен Зоннтауг составляет неотъемлемую часть книги, ибо именно она отыскала на книжном развале в Лондоне английский перевод (немецкая публикация того же 1983 г. в Rotmahnverlag прошла глухо) и включила незамеченный роман «в число выдающихся, возвышенных и оригинальных достижений века». Биография автора, воссозданная Зоннтауг, целиком укладывается в указанную мифологему. Леонид Цыпкин, практикующий патологоанатом, автор научных трудов, писал стихи и прозу «в стол» в точном смысле этого слова, не входя ни в андеграунд, ни в диссидентские круги. Его мизантропия была шире окарикатурировшейся советской власти, а заодно и борьбы с ней. К счастью, автор успел переправить рукопись в Америку, где первый фрагмент романа увидел свет за семь дней до его смерти. «В завораживающем ритме романа (цитирую аннотацию) сплелись путешествие рассказчика из Москвы 70-х годов в Ленинград и путешествие Достоевского с женой Анной Григорьевной из Петербурга в Европу в 1867 г., вымысел в нем трудно отличить от реальности». Реальностей, собственно, две — автора и его персонажа; вторая обеспечена уникальным документом: «Дневником» молодой новобрачной, который читает рассказчик по ходу поезда.

2. НЕ МЕНЕЕ УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ «ДНЕВНИКА». Редкое издание, которое досталось рассказчику от тетки, любовно им переплетенное, датировано 1923 годом и представляет расшифровку двух тетрадей стенографических записей (ведь юная Аня Сниткина появилась в доме Фёдора Достоевского в качестве «стенографки»), сделанную ею самую. Меж тем неугомонное «достоевковедение» на этом не остановилось. Нашлась третья — нерасшифрованная — тетрадь. Нашлась и отважная стенографистка Пошеманская, изучившая старый учебник Ольхина; но Анна Григорьевна недаром была лучшей его ученицей, у нее были свои секреты, и остаться бы записям иероглифами, если бы Розеттским камнем не послужила первая тетрадь, существующая в двух вариантах, стенограммы и расшифровки (оригинал второй тетради утрачен). И тогда оказалось, что версия Дневника, которую читает под стук колес рассказчик, заметно отредактирована в сторону «оптимистической схемы», которую поздняя Анна Григорьевна предпочла оставить потомству. Не поступаясь документальностью, она поступалась

подробностями, неприятными для нее и, особенно, для мужа (взять хоть письмо ненастной С. — прообраза всех «инфернальниц» Достоевского, — которое она достала из его кармана и прочла, воспользовавшись припадком падучей; а поправила, что взяла «из стола» и прибавила слова сочувствия его болезни. Или смягчающие фразы по поводу мелочной и грубой торговли Федора Михайловича с кельнерами и прочей обслугой). Третья тетрадь полнее и откровеннее в сетованиях на проигрыши, на беспросветную нужду, на родственников мужа, обиды, наносимые «бедной мамочке» и пр. — она богаче уничтожительными подробностями и потому, быть может, осталась не расшифрованной Анной Григорьевной. Академическое издание «Дневника» (М., 1993) явилось десятилетие спустя после смерти Цыпкина, и можно лишь удивляться, сколь точно вектор его романа обращен в сторону этой, неведомой ему части. Огромное светило «Достоевский», которое неудержимо притягивает автора, меньше всего выглядит в романе светочем.

3. КОМПОЗИЦИЯ РОМАНА И «ФИГУРА УМОЛЧАНИЯ». Иным роман может показаться бессюжетным, но это обманчиво. На классическую фабулу «дороги» наложен сложно-сочиненный сюжет, в котором оба путешествия скрупулезно соотнесены и анатомированы. Достоевский-персонаж в романе — раздражительный, угрюмый, несправедливый, мелочный в быту, сварливый с женой, а также сладострастный, самоубийственный в игре до пуха и праха, до заклада жениных платьев, до унизительных займов и безрас-судных требований денег от тещи — не просто удостоверяет, что «пока не требует поэта/ к священной жертве Аполлон,/ в заботы суетного света/ он малодушно погружен», но — по ту сторону «Дневника» — изживает в этом малодушии и «ничтожестве» свои давешние комплексы — в книгу втянута вся биография Достоевского. Лейтмотив недостигаемой вершины (выбор угловых квартир, треугольник женского лона, хрустальный дворец — ее псевдонимы) диагностирует попытку Федора Михайловича изжить попранное самолюбие, оскорбленное достоинство и — втайне от себя — фиаско бывшего каторжника, «не слишком сильного духом», для которого «выход был только один: считать эти унижения заслуженными... Но для этого следовало представить все свои прежние взгляды ошибочными, даже преступными... Сама природа его психики сработала, сделала это за него» (стр. 123). В этом свете поворот героя к «почвенничеству» сильно теряет в идейности, и вершина дается лишь в момент кристаллизации первой скрупулы замысла будущего романа «Идиот», когда, наконец, «божественный глагол до слуха вящего коснется». И, превыше всего, когда ему на миг «открылась вся вселенная» — в смерти. Со смертью физической автор, как известно, имел дело повседневно.

Меж тем, мучительным и страстным отношениям Достоевских (общим унижениям, эротике, терпению Анны Григорьевны, сплачивающим их в семью) откликаются не менее страстное и мучительное отношение «автора» к «герою». Жгучий вопрос о природе известного антисемитизма Достоевского и столь же известного притяжения к его творчеству евреев — нервный центр романа.

Заметим, что универсальная ксенофобия — «идейная» у мужа, мещанская у жены — перешла в роман прямо из дневника: немцы тупы и поголовно мошенники, швейцарцы — пьяницы (вот и вся «свобода»), от полячишек жди беды, о жидах и говорить нечего. Композиция романа буквально распята на этой больной теме. «Жидочки, навязывающие свои услуги», появляются во второй строке путешествия Достоевских; вопросом, «почему меня так странно манила жизнь этого человека, презиравшего меня («заведомо» и «зазнамо», как он любил выражаться, стр. 189), заканчивается путешествие автора «в сторону Достоевского». Современная часть романа — история подруги матери, старой, трогательной и смешной Гили, у которой останавливается рассказчик (автор же посвящает ей роман), отзывается дальним эхом баденским семейным перипетиям; у Гили был муж — профессор, угодивший (как Федор Достоевский) в ГУЛАГ и вернувшийся с другой; и верная Гиля самоотверженно приняла «ту женщину». Но умер он на руках одной только Гили — и этот местный «момент истины» симметричен окончательной вершине Фёдора Михайловича Достоевского, а существование скромных обитателей коммуналки, переживших войну и блокаду, вполне сопоставимо с жизнью Достоевских. Так почему же «человек столь чувствительный... к страданиям людей, ревностный защитник униженных

и оскорбленных не нашел ни одного слова в защиту или оправдание людей, гонимых в течение нескольких тысяч лет»? (стр. 55) Риторический вопрос? Или, может быть, ответ закодирован в самой композиции романа? Ведь недаром из жизни классика выбрано то путешествие за границу, где Достоевский-персонаж выступает как заведомо, «зазнамо» «чужой», унизительно мечущийся — в своем черном не по сезону костюме и шляпе — из «вокзала» домой, из дома на почту, торгующийся по мелочи в закладах, вздорящий по пустякам. На первой же остановке поезда в Калинине (куда Федор Михайлович приехал из ссылки) рассказчик пригвоздит этот образ агрессивного и отверженного просителя неожиданным сравнением: «почти как те жидки, которые...» (стр. 45); а на странице, симметрично отстоящей от конца, где упоминается та же Тверь и фигура с развевающимися фалдами, напомнит ему канатоходца (а нам невесомость Шагала), полуфантастмагорический персонаж Федор Достоевский увидит себя в зеркале в образе «ограбленного ростовщика» Исаи Фомича... Казалось бы, куда яснее, — но в этом месте автор делает «фигуру умолчания» (не сама ли «природа его психики сработала»?) И не в том ли ответ, что Достоевский-персонаж предстает в романе подобием классического «жидка» всех антисемитов — прежних и нынешних? Вытесняя в этот мифологизированный образ свои язвящие комплексы, герой романа ненавидит его тем более, что угадывает в нем себя, Достоевского — «жida» русской литературы среди ее бар. Такова, кстати, механика антисемитизма и ксенофобии и в более широком аспекте. Собственных бесов сподручнее всего изгонять в образ «чужого».

Речь, разумеется, не об этническом еврействе, но о том экзистенциальном комплексе «чужести», вечного изгойства/ мессианства, который так бескомпромиссно сформулирует Марина Цветаева: «В сем христяннейшем из миров/ поэты — жиды». Так диагностируется автором — патологоанатомом по профессии — пародокс Достоевского и евреев в пространстве-времени двойного путешествия.

4. ПОСТЭЙНШТЕЙНОВСКИЙ СЛОГ РОМАНА. Слог романа, где одна фраза может занимать не то что страницу, но чуть не главу, поражает читателя не меньше сюжета. По-русски с ним может соперничать разве что Бродский. Оба чутко фиксируют изменение понятия времени. Но если Бродский хочет приблизиться к его «монотонности», то слог Цыпкина отпечатывает в себе любимую фантастами «петлю времени»: прошедшее и нынешнее, разные прошедшие сталкиваются и сопрягаются внутри одного безразмерного предложения, одной грамматической длительности.

Если вселенную — по Эйнштейну — искривляет закон гравитации, то «хронотоп» романа завихряется и закручивается в петли мощным притяжением любви/ ненависти, которым обладает для автора «феномен Достоевского». Стиль так же выражает смысл, как и композиция этого «маленького/ большого» романа.

Александра СВИРИДОВА

«ЗА ТАКОЕ КИНО НАДО УБИВАТЬ...»

Александр Гутман. Выпускник ВГИКа, оператор, режиссер-документалист, продюсер. Участвовал в создании таких известных лент, как «Снежная фантазия», «Пирамида», «Русские ушли», премированных на самых престижных международных кинофестивалях. Последняя его горькая лента «Три дня и больше никогда» триумфально прошла по экранам мира. И вот по условиям новый фильм.

«За такое кино надо убивать», — сказала неизвестная мне зрительница, первой покидая зал после просмотра в Нью-Йорке. Смелая женщина — она произнесла вслух то, что думала половина зала.

«Путешествие в юность» называется новый фильм Александра Гутмана. За обманчиво-невинным названием — страшная история, к восприятию которой с экрана мало кто готов сегодня. Но завтра снимать ее будет не с кем и показать заинтересованному зрителю уже не удастся: живых не останется. Потому что в кадре речь о событиях 1944 года. Доблестная Красная Армия с боями пересекла рубежи фашистской Германии, вошла в Восточную Пруссию и в числе прочих «актов возмездия» изнасиловала массу немецких женщин всех возрастов — от мала до велика.

Далее — по условиям Ялтинской конференции — женщин загнали в вагоны и эшелоны и погнали на территорию СССР — «для оказания помощи в восстановлении народного хозяйства, разрушенного в годы войны».

Тех, кого довезли живыми, расселили в старых и вновь построенных сталинских лагерях, где снова насиловали и терзали. Выжившие четыре немецкие женщины пятьдесят лет спустя говорят об этом с экрана. На немецком. Таких фильмов — на всех языках Европы — можно снять сериал: по всем странам, которые освободили советские доблестные войска. Польки, венгерки, румынки, чешки, словачки, болгарки слово в слово могут повторить все то же самое. Без детали вывоза в лагеря СССР. Этот фильм — первый.

Александр Гутман пишет в титрах имена своих героинь на белом снегу Карелии, ибо о Карельском лагере речь. Имена заметает поземка. Этот кадр — и правда жизни, и художественный образ: никто не спрашивал их имен, когда насиловали, угоняли, голыми бросали в ямы братских могил на болоте. Только в титрах они и останутся. В первую очередь главная рассказчица — фрау Кауфман, которая взяла на себя непомерный труд вернуться в Россию вместе со съемочной группой. Снова проехать через Ленинград, где в 1944-ом была первая остановка их эшелона и «выгрузили трупы». Снова пройти знакомой дорогой — через жидкий лес, где работали на лесоповале, — к тому месту, где осталась навеки лежать ее младшая сестра, которую закопали живой...

Если случится фильму выйти на экран, вы увидите, как она протащила по просеке простой зеленый венок из лап ели, положила его на мемориальную могилу, созданную в российском лесу на деньги немецкого писателя Генриха Белля, который сам солдатом прошел в обозе войну... Услышите ее рассказ, как тяжело было тащить телеги с трупами через лес. Как убежденно она говорит, что война не нужна никому. Что начинают войны мужчины, а страдают женщины и дети. «Вы заплатили жизнью, мы — телом и душой. Мир вашему праху, мир вашим душам...» — слышно сквозь слезы.

Расскажет она и о том, как молилась в храме обо ВСЕХ невинных жертвах войны и чувствовала, что «с нами Бог...» В этом месте даже у меня — послевоенного ребенка —

в памяти всплывает бляха немецкой униформы, на которой многие запомнили надпись «С нами Бог». Трудно.

Вечная тема вины и невиновности — непаханая целина морали — встает на дыбы внутри и гонит судить. Всех и немедленно. Уточню сразу: фрау Кауфман было пять лет, когда Гитлер пришел к власти, и десять, когда началась война. Родители ее были фермерами, верующими людьми. Гитлер не внушал им симпатий, и отец был в ужасе, когда ее брат добровольцем ушел в армию. Он погиб где-то между Смоленском и Оршой... Мама плакала, а отец не вывесил флаг в день рождения Гитлера. Его пришли арестовать, но не тронули, увидев похоронку...

«Нас не убивали в газовых камерах, — говорит фрау Кауфман. — Но шансов умереть у нас было больше, чем выжить. И дневник Анны Франк известен миру, а мы носим свои дневники в себе»... Тут снова трудно: выдержать сравнение еврейской и немецкой девочки, но... Та и другая попадают в категорию «дети». Фрау Кауфман настаивает, что дети — невиновны. И страдание не имеет национальности. Возразить на это нечего.

Александр Гутман на премьере в Нью-Йорке в кругу профессионалов и друзей процитировал американского поэта Роберта Фроста, формулируя свое отношение к материалу: « Мы приходим в храм просить у Бога прощения, но прежде мы должны сами простить других». Он пытается разомкнуть круг ненависти. Он не первый. До него советские писатели-гуманисты отмечали, что во Второй мировой встретились два близнеца, и один победил другого. Две армии соревновались в надругательствах над противником. И если в послевоенной Германии у нового поколения формировали национальный комплекс вины, то послевоенный СССР создавал культ героя, воина-освободителя, замалчивая его недостойные поступки. Хотя многие знали — и в первую очередь сами воины, — что наряду с Неизвестным Солдатом-героем был Неизвестный Солдат-мародер. И зачастую это был один и тот же человек.

Тем, кто хотел покаяться, власти затыкали рот. Так стал диссидентом Лев Копелев. Так Андрею Сахарову Михаил Горбачев выключил микрофон... О советском солдате можно было только как о покойнике: хорошо или ничего. Но минуло полвека. И новое поколение робко делает попытку помянуть жертв обеих сторон. И грех обеих сторон. Он может, но не должен быть замолчен. И если было преступление, то был тот, кто его совершил. Виновен ли солдат, что война пробуждает в человеке зверя, — мне трудно ответить. Но я точно знаю, что всякий преступный режим, преступный приказ, само преступление должны быть осуждены, какими бы высокими целями не прикрывались главы государств и правительства. Потому что если есть преступление — есть преступник. Он должен быть найден и наказан. Дело не в миллионах убитых. Надругательство над одним человеком достойно наказания ничуть не меньше. И всякий преступник должен знать, что нет тайного, которое не стало бы явным. Справедливость всегда восторжествует. Не всегда успеваешь дожить до этого. И возмездие не в том, чтобы убить убийцу, а в том, чтобы поднести к его лицу зеркало, чтобы он себя увидел. Именно это пытаются сделать Александр Гутман.

Его усилия получили признание. В Америке в городе Хьюстон штата Техас на днях завершился 34-ый Международный кинофестиваль документального кино, где картина «Путешествие в юность» получила главный приз — Платиновую награду.

— Каких еще наград удостоен фильм? — спросила я Александра.

— Мне легче ответить, какими фестивалями фильм был отвергнут. Это два десятка европейских и американских МКФ. Я сам выставлял фильм, т.к. я автор фильма, постановщик, сооператор, продюсер и владелец. И все права на фильм у меня. Он был только на фестивале ФИПА во Франции, но понимания не нашел. Сейчас выдвинут на Золотую Камеру в Чикаго. Фестиваль состоится в июне.

— Скажите, что движет евреем, когда он снимает фильм о страданиях немок?

— Мой папа, которого я боготворю, Илья Семенович Гутман — фронтовой оператор, прошел всю войну, до Вены. Сделал с Карменом знаменитую серию из двадцати фильмов «Неизвестная война» для Америки. Из всей команды — двенадцать режиссеров — один смонтировал все свои кадры. Он за полгода до смерти, когда я начал снимать, говорил:

«Саша, я тебя умоляю, не берись, не делай этого. Немцы уничтожили шесть миллионов евреев. Ты еврей и не должен трогать эту тему. Ты не имеешь права».

— Он сказал, почему?

— Да: «Нельзя их жалеть после этого». И я сказал: «Папа, мы другое поколение. Нельзя всю жизнь быть в злобе, надо учиться прощать». «Ты не был на войне, ты не понимаешь, а я не могу тебе этого объяснить», — сказал папа.

— А папа знал, что советские воины насиловали девочек?

— Думаю, что папа знал гораздо больше. Мне не хочется думать, что папа сам в этом участвовал. Но я ничего об этом не знаю. Я не хочу ни в чем его обвинять. И никого вообще. Мой отец для меня — свет в окошке. Но он не хотел обсуждать это со мной. А я не стал его в лоб спрашивать.

— Как возник замысел?

— Мой приятель, корреспондент, прислал мне из Карелии, из Петрозаводска, заметку, что Фонд Генриха Беляя дал деньги на открытие мемориального кладбища концлагеря немецких женщин № 517, где была 1001 немецкая женщина. Из них 522 погибли в первые шесть месяцев существования лагеря. И одна из выживших приехала на могилы своих товарок. Я подумал, что это интересная история. Эта женщина в интервью сказала, что попала в лагерь, когда ей было шестнадцать лет. Не зная ничего, я подумал, что в шестнадцать лет сажать девочку в советский лагерь было не за что. Неважно, немка она, японка, еврейка или русская. Дети — невиновны. Шел 97-й год. Я взял камеру, разыскал эту женщину в городе Золинген, нашел переводчицу и снял первое интервью. Эта женщина — фрау Кауфман — рассказала мне всю свою жизнь. С момента вхождения советских войск в Восточную Пруссию. Как над ними издевались, как их насиловали. Потом я поднимал архивы, общался с историками и выяснил, что на Ялтинской конференции были принятые документы, в которых американцы в качестве reparаций получали десять миллионов немецких марок с замороженных авуаров в Американских банках, англичане — еще что-то, французы — еще что-то, а Россия получала право использовать немецкую рабочую силу «для восстановления народного хозяйства, разрушенного войной». Это значит, что Россия могла использовать: «а) военнопленных и б) гражданское население немецкой национальности на занятых территориях, замеченные в связях с нацистами». Женщин от восемнадцати до тридцати-тридцати пяти лет и мужчин от семнадцати до сорока лет. Такие были поставлены нормы в этом международном договоре.

— И подписи «тройки»?

— Да, Черчилль, Рузвельт, Сталин.

— Как хорошо сказала одна из моих героинь: «Мы все, как вы — в пионерах и комсомоле, были в наших молодежных организациях. Так мы автоматически стали замеченными в связях с нацистами». Потому наши плевали на все и брали детей тринадцати-пятнадцати лет. Издевались над ними, насиловали всех, кого ни попадя. Строем.

— Где это можно было делать?

— Хватали девочек, затаскивали в комендатуру и там пропускали через них всех, кто хотел. И не по разу. Потом вызывали на допросы и говорили: «Вы отравили колодцы, чтобы погибла советская армия». Били, заставляли подписывать все, что написано кириллицей. Они ничего не понимали и все подписывали. Она это рассказывает в фильме... После этого их выстраивали — и строем в вагоны и в советские концлагеря. Только из Пруссии было интернировано около 180 тысяч женщин и детей, маленьких и больших.

— Кто вел бухгалтерию, немцы или русские?

— Русские. Я видел эти документы, держал их в руках. Они находятся в госархиве, в карельском архиве. Там есть похоронные книги. Кто где похоронен. По фамилиям, сколько кому лет.

— Когда начинается их жизнь в Карелии?

— Март-апрель 45-го. Мы же Восточную Пруссию взяли раньше.

— Когда вы с папой обсудили замысел?

— Сразу, когда снял эту даму — Фрау Кауфман. Она в этом лагере похоронила свою сестру. Другая моя героиня — Фрау Зоммер — говорит, что она после этого вышла замуж и муж все говорил: «Забудь об этом». Ей пришлось разойтись, потому что забыть этого нельзя, как она сказала. Я все это рассказал папе.

— Мне, как зрителю, не вполне ясна ваша авторская позиция. Вы считаете, что акт насилия был делом добровольным или был приказ насиливать немок?

— Приказа такого не было. Не может быть такого приказа...

Александр Гутман не знает, что приказ такой был. По другой армии. Император Японии Хирохито приказал насиливать и убивать китайских женщин. И самураи выполнили приказ. Груды мертвых женских тел были сняты на плёнку скрытой камерой членом американской дипломатической миссии в Китае. И никогда он об этой истории не обмолвился. Полвека спустя дети американца нашли в подвале дома умершего отца плёнку. А американский режиссер-документалист Кристин Чой сняла фильм «Именем императора», который лет пять назад был показан на правозащитном кинофестивале в Нью-Йорке. Фильм не нашел дистрибутера и не вышел в прокат. Правительство Японии выразило протест американской стороне по поводу показа. Отрицался сам факт того, что такое было. Но в кадре сидели старые солдаты, которые выбрали перед смертью покаяться перед Богом и перед камерой.

— Я разговаривал с заместителем коменданта Берлина по отправке в лагеря. Это профессор Семерягин. Он жив и читает лекции в Историко-архивном институте. У меня есть его книжка «Как мы управляли Германией». Он ни слова не говорит о подобных приказах.

— Тогда насилие становится делом добровольным?

— Думаю, что да. Это был некий акт возмездия. Стихийный.

— Как они узнали, что это можно делать? Что это не будет наказано?

— Они — победители! Они делали все подряд. И никто их за это не наказывал. Потом, уже в Берлине, была пара, как Семерягин рассказывал, показательных процессов, когда наказали. За насилие и мародерство. Но пока мы не победили, никто на это не обращал внимания. А вот когда насиливали в лагерях, за это был наказан даже один замначальника лагеря. Но скорее он был наказан за то, что воровал еду у заключенных. А то, что он насиливал, это было побочным. Если бы не воровал, его никто не наказал бы и за то, что он насиливал.

— Как вы считаете, все солдаты этим занимались?

— Я ничего не могу считать. Я там не был.

— Но после того, как вы поговорили с этими женщинами, и сняли свой фильм...

— ...БОЛЬШИНСТВО. По крайней мере, многие. Как следует из рассказа моих героинь.

— Если этот фильм сегодня показать советским воинам-освободителям, я уверена, они скажут, что это — ложь. И немки клевещут. У вас есть ответ такому потенциальному зрителю и читателю?

— Я — не суд. Я не буду заниматься доказательствами.

— Но вы дали слово человеку, который все это говорит...

— ...И все это пережил!

— И вы ему верите. А воин говорит: «Ложь!»

— Но были экспертизы. И это было доказано.

— Кем?

— Приезжали представители Международного Красного Креста в сталинские лагеря. Были жалобы в МКК. От заключенных. И международное сообщество обратилось к Сталину, информировало его о том, что поступают жалобы на советских солдат, которые убивают и насилиют.

— Откуда у вас эта информация?

— Из Фонда немцев-узников сталинских лагерей в Германии. И Сталин ответил: «Не надо пытаться представить забавы советских солдат как насилие и издевательство над немецким народом».

- Где еще были эти лагеря?
- На Урале, на Беломорско-Балтийском канале, в Карелии. Туда привозили немок...
- До какого года их держали?
- Последние пленные покидали СССР в 49-м году, насколько мне известно. Одна из моих героинь называет эту дату. Документов у меня не было.
- Вам по жизни доводилось встречаться с советским солдатом, который бы сам говорил, что он насиловал немок?
- Конечно. Был у нас такой дядя Вася в соседнем парадном. Посыпал нас, пацанов, за «маленькой». Выпивал и начинал рассказывать, как воевал: «Вошли мы в Венгрию и всех перетрахали. Вошли в Польшу... в Пруссию...»
- А в Польше насиловали немок или полек?
- Всех! И детей, и старух. Национальность никого не интересовала. Они сначала насиловали, а потом узнавали, на каком языке она говорит.
- Тогда это не акт возмездия. Так можно было изнасиловать и собственного ребенка, не опознав. Какова сверхзадача фильма на материале изнасилованных женщин?
- Нет никакой сверхзадачи. Я хотел рассказать конкретную частную историю четырех несчастных женщин, которые прожили этот кошмарный период своей жизни в сталинских лагерях. Я полагал, что история сама выведет на обобщение. Я пытался ее поднять до обобщения.
- Ваша формула обобщения?
- Как ужасна война. И в войне больше всех страдают женщины, дети и старики. Они менее всего причастны и страдают больше всех. Потому что солдаты идут на войну сознательно. Или не идут. И второе: страдание не имеет национальности. Это принципиально важно для меня. Немецкая, польская, французская, русская или еврейская девочка говорит это — неважно. Почему дети должны страдать? Почему должны страдать женщины и старики?
- Кого вы делаете виноватым в этой истории?
- Я хотел сделать виноватыми Гитлера, Сталина, Черчилля, Рузвельта. Но тогда это было бы кино про политику. Я не хочу снимать такое кино.
- А кто же развязывает войны?
- Пусть люди думают... Сегодня то же самое происходит в Чечне. Буданов насиловал на правах победителя. Сегодня он сильный. Сегодня он поставил раком эту чеченскую деревню. Вот он сегодня и имеет право — так считает Буданов и его солдаты. Да не имеет он права! Потому что в этот момент он становится в один ряд с ублюдками, которые прячутся в горах, грабят, убивают, берут заложников.
- Вы хотите, чтобы соблюдались правила ведения войны, чтобы воевали солдаты с солдатами, армия с армией?
- Я не хочу, чтобы воевали вообще! Я против решения любых спорных вопросов с помощью силы. Я, извините, пацифист и идеалист. Сам не служил и сына спас от этой поганой армии.
- Но из мужчин делает солдат правительство. И закон о всеобщей воинской обязанности.
- Правительство призывает в армию, но солдат оно не делает. В последнее время наше государство все больше делает не солдат, а противников службы в армии.
- Вы считаете, что дети не должны отвечать за родителей?
- Никогда и ни в чем. Вот родители за детей отвечают. Мою героиню девочкой посадили в концлагерь ни за что. Даже если бы ее не насиловали — ее заставили стать рабом! Жизнь каждого человека самоцenna! Нельзя сравнивать, сколько тысяч будут страдать за гибель скольких миллионов. Страдания одного человека — трагедия. Эти немки страдали ни за что.
- Как же «ни за что», когда за причастность к нацистам?
- Нет, их брали и отправляли в лагеря только за то, что они немки. Так же убивали евреев за то, что они евреи. Так же убивают чеченцев за то, что они чеченцы. Нельзя наказывать человека за то, что он такой, а не другой национальности.

Тут мы надолго отвлеклись, перейдя к рассуждениям на тему « Почему немецкая нация должна отвечать за преступления Гитлера, а русская нация не должна отвечать за преступления коммунизма». Вспомнили, что у немцев был Нюрнбергский процесс, а у русских — нет. И процесс шел не над немецким народом, а над нацизмом. И вели процесс не нацисты, а совсем другие люди...

— Снимая фильм, вы знали, что выходите на минное поле. Как вам сегодня живется на нем?

— Тяжко. Я вложил все свои накопления в этот фильм. Сегодня мне трудно жить. Не только материально. Я приобрел массу врагов. Моя родная сестра не может мне простить, что я пошел наперекор папиной воле. Так дочери фрау Кауфман не общаются с ней. Считают, что мама пострадала заслуженно, что она ответственна за преступления нацизма. Они уехали в Израиль, выучили хибру. Одна из них работает в Моссаде. Они уверены, что нельзя жалеть этих немецких женщин. И мать в том числе. Так растет новое поколение фашистов, которое знает, что жалеть нельзя. Нельзя сопереживать даже маме. А мне безумно жалко этих женщин, которых я снимал. Может, я сумасшедший. Я в прошлой ленте не смог увидеть первые кадры, когда мать встречает приговоренного к смерти сына. Оператор снимал, а я выскочил из комнаты: я все равно от слез не видел монитора.

Напомню, что речь идет о полнометражном документальном фильме «Три дня и больше никогда». Он снят в тюрьме. Это последнее свидание матери с приговоренным к смертной казни сыном. Молодой человек, призванный на службу в армию, был изнасилован. При первой же возможности он развернул табельное оружие на своих командиров и убил... Мать плачет, укоряет и все допытывается, прощаясь навеки: «Как же ты мог, сынок?» Он плачет тоже — худой очкарик — и никак не может ей объяснить, что мог...

Фильм увидел мир. Но что гораздо важнее — его увидел Президент России Б.Н.Ельцин. И услышал ходатайство Комиссии по помилованию... Высшую меру заменили заключением. Лет через шесть-семь парень выйдет на свободу.

— Когда вы делали «Три дня...», вы знали, что спасете ребенку жизнь?

— Конечно, не знал. Я был самым счастливым человеком на свете. После этого я считаю, что прожил жизнь не зря. Мне эту новость сказал у гроба отца Володя Двинский, член Комиссии по помилованию.

— Экранныя драма молодого человека, почерпнутая вами из жизни, вернулась в жизнь, самой жизнью. Что вернется в жизнь из новой ленты?

— Я хотел бы, чтобы эта картина прошла в Германии. Это важнее, чем в России. Неонацизм поднимает голову. Говорят, что никаких нацистских лагерей не было... А я хочу, чтобы каждый из них задумался. Чтобы они посмотрели на своих матерей и на своих дочерей, сестер, на своих женщин. Вы-то сегодня — герои, — сказал бы я неонацистам, - а завтра всех ваших женщин снова трахнут строем победители...

В голосе Гутмана впервые прозвучали нотки угрозы.

— А я бы хотела, чтобы две девочки фрау Кауфман посмотрели кино, вернулись к матери и пожалели ее. Кстати, что сказала ваша мама, посмотрев фильм?

— Она промолчала.

А моя бы, наверное, плакала вместе со мной весь фильм. Я помню, как она рассказывала мне, как, после гестапо и концлагерей, шла весной по разрушенной Германии босая и отдала где-то найденные сапоги первой попавшейся немке. «Немцы очень бедствовали...» , — сказала мне она.

«А ты?! А ты?!» — хотелось крикнуть мне, но слова застряли в горле, потому что в маминых глазах стояли слезы... Слёзы сострадания к врагу.

Для меня — увы! — это как было, так и остается непостижимым.

МЫ РОЖДЕНЫ УКРАШАТЬ И УСИЛИВАТЬ ДРУГ ДРУГА

Надеюсь, читатель, которому мои взгляды на национальные проблемы уже известны, снizойдет к тому, что мне придется снова сформулировать их для читателя, почему-либо обойденного этим знанием.

Я считаю, что национальное единство создается главным образом системой каких-то коллективных фантомов, иллюзий, грез и что основная причина, по которой один народ начинает ненавидеть другой, — это страх за целостность — нет, не территорий, а иллюзий: страх народа утратить картину мира, в которой он представляется себе красивым и значительным, — этот страх и есть главная причина национальной вражды.

Антисемитизм не исключение. Успехи евреев на всевозможных материальных поприщах никогда бы не породили к ним такой испепеляющей ненависти, если бы этим успехам не сопутствовало обновление картины мира, угрожающее национальному самоуважению значительной части населения. Поэтому все подсчеты — сколько евреев возглавляет банки, холдинги и концерны, сколько среди них владельцев заводов, газет, пароходов — годятся разве что для подзуживания, но сути проблемы практически не затрагивают: национальный подъем народа или его упадок почти не связаны с успехами составляющих народ индивидов. *Если индивиды в массовом порядке добиваются всевозможных социальных успехов, но при этом отпадают от национальной грязи, — для народа это не подъем, а упадок.*

Добросовестно подсчитывая действительно впечатляющее количество евреев, преуспевших в первое десятилетие советской власти, Солженицын тоже осеняет своим авторитетом то расхожее представление, что двадцатые годы были годами еврейского национального торжества. При этом, однако, упускается из виду, что это были годы массового отпадения от европейской грязи в пользу грязы интернациональной — или даже чистого прагматизма (впрочем, в возможности быть чистым прагматиком человеку отказано самой природой), а потому двадцатые годы для русского еврейства были годами национального упадка. И если бы возмущенное народное чувство не склонило советскую власть к вытеснению евреев из государственной и прочих элит, к сегодняшнему дню евреев в России почти не осталось бы.

Да, на первых порах в верхние слои общества евреев набилось бы еще гуще, — зато они через поколение-другое перестали бы быть евреями.

Сегодняшние наследники Сталина и Пуришкевича снова совершают ту же ошибку: подсчитывая, да еще и фальсифицируя проценты преуспевших евреев, сочиняя лживые цитаты из священных еврейских книг, они стимулируют оборонительную мобилизацию еврейских грез и тем самым продлевают жизнь самому ненавистному своему врагу. Они совершенно забыли о ленинских нормах — самый человечный человек прекрасно понимал: чтобы победить врага, надо прежде всего разрушить его грезу; чтобы разрушить его грезу, надо прежде всего убедить его, что ей ничего не угрожает. Ленин учил: любое оскорблечение национальных чувств меньшинства заставляет его сплотиться вокруг своей «буржуазии», то есть элиты. Поэтому нужно постоянно убаюкивать национальные

чувства меньшинств сладкими сказками о праве всякой нации на самобытность и даже на самоопределение, сказками о единстве и дружбе народов, чтобы тем временем потихоньку-полегоньку растворить их в однородной массе.

Истерические русские националисты и за страх, и за совесть уже много десятилетий служат лучшими помощниками националистов еврейских, тщетно старающихся повернуть вспять еврейскую ассимиляцию. И все-таки, несмотря на интернациональную помощь, остается более чем туманным и будущее остатков российского еврейства, насчитывающего даже неизвестно сколько тысяч душ, ибо границы этого множества до крайности размыты; едва ли не большая его часть по внешним, сталинским признакам (язык, территория, общая экономическая система) относится к русскому народу, а по внутренним, главным (преданность грезам) образует какую-то новую смесь, смесь не генотипов (это дело десятое), но — фантомов.

Так ведь сближение наций и происходит только через слияние грез, через возникновение общей грязи, способной чаровать и тех, и других. Так вот, русские и еврейские грезы — сливаются ли они во что-нибудь гармоничное или продолжают вести в наших душах войну на взаимное уничтожение? Мне представляется очень интересной и, возможно, даже открывающей путь к слиянию фантомов идея известного петербургского этнолога Натальи Васильевны Юхневой: российское еврейство сложилось в новую историческую общность, новый субэтнос русского народа, именуемый «русские евреи».

И чтобы осознать себя таковым, русским евреям не хватает только специального самоназвания. Если же на вопрос о национальном самоощущении допустить не два ответа, «русский» и «еврей», как это обычно делается, а добавить промежуточную рубрику «русский еврей», то количество тех, кому именно этот ответ приходится по душе, оказывается весьма значительным.

Я, правда, возражал Наталье Васильевне, что для сохранения субэтноса недостаточно одного лишь названия, необходима еще и какая-то «субгреза» грезы общенациональной, вера в какую-то свою особую миссию в рядах «большого народа». Нации, культурно доминирующие в собственном государстве, обладают таким количеством социальных институтов, почти автоматически внушающих индивиду стандартную национальную идентичность, что — в нормальных условиях, при отсутствии сильных конкурирующих фантомов — они могут специально об этом не заботиться (до поры до времени). Но субэтнос от растворения может уберечь лишь какая-то система изолирующих, обособляющих иллюзий. Не настолько сильных, чтобы вовсе оторвать субэтнос от «большого народа», но и не настолько слабых, чтобы позволить ему раствориться.

Чтобы не раствориться в окружающей среде, необходимо ощущать себя в чем-то выше ее; чтобы подчинить ее грезе свою, нужно ощущать внешнюю супергрезу в чем-то более высокой. Эти требования, на первый взгляд, кажутся просто несовместимыми. И тем не менее, скажем, российскому казачеству это прекрасно удавалось. По отношению к рядовой массе — превосходство, по отношению к престолу и отечеству — преданность. С поправкой на большую демократичность сходную миссию можно предложить и русскому еврейству — сделаться духовным казачеством: хранить русскую культуру с такой же верностью, с какой казачество охраняло российскую территорию, — в этом случае и пресловутое еврейское высокомерие могло бы послужить общему делу. Именно общему — у русского еврейства оказался бы тот же, что и у казачества объект попечения, и русский народ давно предчувствовал некую общность их миссии, окрестив евреев бердичевскими казаками.

Если вдуматься, у донского, кубанского, терского, забайкальского, с одной стороны, и бердичевского казачества, с другой, окажутся весьма близкие стратегические цели, стратегические грезы: и те, и другие охраняют наследственное национальное достояние, и те, и другие стремятся максимально продлить жизнь (в грезе — обеспечить бессмертие) каждый своей мечте. Которая — и у тех, и у других — не может выжить без общей инфраструктуры.

Возьмем два полярных типа — чистопородного патриота русской культуры, слабо озабоченного обширностью российской территории, и такого же чистопородного

патриота русской земли, мало помышляющего о культуре. Для первого священна система грез, именуемая русской классической литературой (Пушкин, Лермонтов, Толстой и т.д.), для другого священна система грез, обожествляющая святую русскую землю (политую кровью, потом и т.д.). Так вот, пускай сеятель и хранитель чистого духа, чистой поэзии и прозы, которая тоже невозможна без поэзии, вдумается, какая минимальная инфраструктура реальной России необходима для того, чтобы обеспечить полноценное существование боготворимой им литературы?

Ясно, что должны быть школы, где «проходили» бы Пушкина, Лермонтова и Толстого. Следовательно, должна быть налоговая система, обеспечивающая работу этих школ; должна быть защищенная территория, где располагалось бы население, почитающее Пушкина, Лермонтова и Толстого своим национальным достоянием, для чего необходима вовлеченность населения в систему иллюзий, порождающую эмоциональное единство с той Россией, о которой писали Пушкин, Лермонтов и Толстой, — иначе пришлось бы усекать их во вполне большевистском духе, только теперь уже с точки зрения общечеловеческих ценностей (не позволяющих ответить на вопрос, почему мы должны хранить именно Пушкина, а не Гомера или Гете). «От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая», «люблю, военная столица, твоей твердыни дым и гром» — имперские пережитки; «Валерик» — недостаточное раскаяние (не переходящее в протест) за участие в позорной колониальной войне; «Война и мир» — воспевание так называемого «народного подвига», ставшего на пути европейской модернизации... Знаменитый большевистский историк Покровский и писал о «грозе двенадцатого года» не иначе как в кавычках: «отечественная» война.

Но если даже не впадать в карикатурность, все равно останется серьезное подозрение, что избавиться от национальных предрассудков означало бы избавиться и от национальной поэзии. Подозрение, что для полноценного ее существования требуется поэтическое отношение и ко всей русской истории. Не обязательно восторженное, totally одобрительное, — пускай сколь угодно скорбное, но — возвышенное, а не пренебрежительное.

Из этого, разумеется, не следует, что в минимальную инфраструктуру должна непременно входить вся сегодняшняя российская территория. Базис всякой нации — не кровь и не почва, а система коллективных фантомов, и изменение национальной территории всегда дается так мучительно прежде всего потому, что она непременно включена в базисную систему, почти беззащитную перед рационалистическим скепсисом: трону одну иллюзию — посыплются все (хотя надо отметить, что иллюзии весьма различаются по своей ценности).

Но если даже смотреть на проблему чисто национально — не все ли равно, пользуясь образом Щедрина, любить отчество с Нахичеванью или без Нахичевани, почему бы России, в ее же интересах, не потесниться до каких-то своих естественных исторических границ, — все равно возникают новые неразрешимые вопросы. Что такое исторические границы? Если это границы Московского княжества, то с Тверью или без Твери? С Новгородом или без Новгорода? Вопросы эти с такой очевидностью не имеют ответа, что практические люди предпочитают ничего не колыхать, не будить лиха, пока оно тихо: провозгласить принцип нерушимости границ и отступать от него, только когда сделается уж совсем невтерпеж.

С «естественными» границами обстоит еще хуже, хотя, казалось бы, хуже уже некуда. Беда в том, что для всякого народа естественной является та территория, которая впечатана в его систему национальных грез, всякая же другая для него противовесственна. Его, конечно, можно вынудить к каким-то территориальным уступкам, но смирится он с ними только тогда, когда перестанет ощущать их унизительными. Потребность чувствовать себя красивым и значительным — базовая потребность всякого народа, а потому склонить какой угодно народ отказаться от какой угодно части его национального достояния совершенно невозможно без целых океанов лести. Обличать же и стыдить его — дело не только бесполезное, но и просто опасное, ничего, кроме

озлобленности, оно не приносит. Либеральные обличители национализма тоже бывают сеятелями или, по крайней мере, катализаторами фашизма.

Субэтнос «русские евреи», если только он действительно субэтнос, тоже должен сопротивляться своему унижению, своему растворению (впрочем, второе есть следствие первого). А охотники растворить его подступают и изнутри, и снаружи. Русские патриоты-упростители, претендующие на роль некоего ядра русского народа и желающие видеть его полностью однородным, требуют: «Станьте такими, как мы, или катитесь в свой Израиль». Израильские патриоты-упростители, претендующие на роль некоего ядра еврейского народа, требуют: «Катитесь в наш Израиль и станьте такими, как мы». Но что это, простите, за ядро еврейского народа, которое и создано, и в значительной мере поныне выживает благодаря поддержке евреев диаспоры, «галута»? Ядро, которое при всех своих подвигах и свершениях, тем не менее, далеко не так авторитетно в мировой науке, культуре и даже политике, как «периферия»? Без поддержки которой, повторяю, оно, возможно, просто даже и не выстоит. Так дальновидно ли сосредоточивать все ресурсы в этом самом «ядре»? Тьфу-тьфу-тьфу, но даже ближайшие десятилетия, не про нас будь сказано, вполне могут показать, что это было роковой ошибкой — возрождать еврейское государство у самого кратера закипающей исламской грезы.

Упаси, конечно, бог, но в этом случае диасpora может снова сделаться «ядром», а нынешнему «ядру» понадобятся плацдармы в «гойском» мире для очередного бегства или, выражаясь деликатнее, эвакуации — о чем, как ни хочется гнать от себя эту мысль, необходимо подумать заранее (ибо если слишком долго гнать от себя дурные мысли, им на смену приходят дурные события: пессимисты, как известно, всего только портят людям настроение, в катастрофы же их ввергают оптимисты). Ужасно неприятно думать и о том, что гуманный Запад, как и при Гитлере, по разным причинам снова окажется не готов принять разом такую еврейскую ораву, не исключено, что он снова введет умеренные и аккуратные квоты — в год по чайной ложке. Не хочется разжигать старые обиды, но все же по большим праздникам имеет смысл перечитывать про себя выступление тогда еще будущего первого президента Израиля Хaima Вейцмана на нью-йоркском митинге в день солидарности всех трудящихся 1 мая 1943 года: когда историк в будущем соберет мрачные хроники наших дней, то две вещи покажутся ему невероятными: во-первых, само преступление, а во-вторых, реакция мира на это преступление; его озадачит апатия всего цивилизованного мира перед лицом этого чудовищного, систематического истребления людей.

Удивляться тут нечему — апатия одних народов при истреблении других не исключение, а норма. Ни один народ никогда не приносил и не будет приносить серьезных жертв другому народу, народы способны жертвовать только собственным фантомам, а чужим лишь в той степени, в какой чужие вписываютя в собственные.

На фоне этих мрачных фантазий, надеюсь, уже не покажется смешным и предположение, что кто-то в минуту смертельной опасности на Ближнем Востоке может вспомнить и о такой декоративной и забавной вещице, как собственная Еврейская автономная область на Дальнем Востоке...

И в предвидении такой, слава тебе господи, маловероятной, но все же не исключенной возможности для израильских евреев было бы только разумно приберечь российских симпатизантов, которые бы не были при этом отторгаемыми «большим народом» желчными маргиналами.

Sapienti sat. Умные и так уже поняли, что чем более отчетливой и обособленной социальной группой становятся евреи, тем более удобную мишень они собой представляют. И что никто ради них никогда не пойдет ни на какие серьезные жертвы. У евреев нет и не может быть надежных союзников, потому что их нет и не может быть ни у одного народа: все народы всегда будут руководствоваться собственными грезами.

Короче говоря, не в интересах Израиля вызывать и растворять в себе все российское еврейство. Но заинтересована ли в этом Россия — в «освобождении» от евреев путем их ассимиляции или эмиграции?

Конечно, без евреев будет спокойнее, хотя бы одним источником напряженности сделается меньше. Правда, сделается меньше и одним источником пассионарности... Будет спокойнее и — скучнее. И мне почему-то жаль прежде всего Россию, которая утратит еще одну краску из своей дивной многоцветности. Россия без евреев, как Америка без негров...

Наверно, это эстетский подход;rationально рассуждая, не является ли социальный мир высшей социальной ценностью? Допустимо ли покупать эстетические переживания ценой риска для многих человеческих жизней? Нет, отвечает физическое лицо автора этих строк, в качестве человека и гражданина гуманиста, труса и слюнтя: нельзя рисковать человеческим благополучием ради каких-то химер — хотя автору прекрасно известно, что лишь преданность химерам и делает человека человеком. Но, может быть, именно поэтому прячущемуся под маской физического лица художнику грезится некий романтический герой, для которого самое главное отнюдь не комфорт, не покой и даже не жизнь, а причастность к чему-то великому и бессмертному (то есть наследуемому). Счастливцем он считает не того, кому удалось прожить долгую жизнь без страданий и потерь, а того, кому удалось оставить бессмертный след в истории. Для этого романтика судьба какого-нибудь Мандельштама как физического лица, разумеется, ужасающа, но его же судьба как поэта восхитительна и достойна всяческой зависти, ибо так и просится в легенду, без которой почти невозможно войти в бессмертие.

И вот с точки зрения таких романтических критериев — удачей или неудачей для евреев оказалась их жизнь в России? Больше или меньше, в сравнении с евреями других стран, русским евреям удалось оставить отпечатков в культуре, в науке, в технике, в политике — отпечатков, которые еще очень долго не покрутятся жерлом вечности? Похоже, никак не меньше. А потому, с точки зрения вечности, русские евреи заинтересованы и в сохранении России как среды, которая открывает им возможность реализовывать свои дарования, служить своему бессмертию. Какой ценой? Но для романтика ответ возможен только один: мы за ценой не постоим.

* * *

Итак, если мыслить высокими категориями, в примирении русских и еврейских грез заинтересованы все, а более всех евреи-полукровки, которым постоянно приходится разрываться между обиженными друзьями на друга папой и мамой. Еврейский вопрос в сегодняшней России — это вообще наполовину вопрос полукровок. Именно полукровки могли бы сыграть выдающуюся роль в создании и распространении примиряющей русско-еврейской грезы «Мы рождены украшать и усиливать друг друга», — и в этом, если смотреть с высоты наших бессмертных целей, гораздо больше правды, чем в грезах, рожденных обидой и озлобленностью.

Может быть, все это звучит и чересчур романтично, но неромантичных народов просто не бывает: утрачивая способность жить коллективными грезами, они перестают быть народами, рассыпаясь грудой разрозненных прагматиков.

Которые без воодушевляющих грез тоже нежизнеспособны.

Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ и Илья ФОНЯКОВ

КОШАЧЬЯ ПЕРЕПИСКА

МОИ „МЯО-измы“ и другие нежные воспоминания...

Уезжая в другую страну, люди берут с собой только самое нужное, самое дорогое. Кто — что, потому что кому — что... Поэты — конечно — стихи.

А как быть, если к моменту отъезда (1992 год) ты «натворил» гораздо больше двадцати пяти разрешенных тогда для вывоза килограммов, и у тебя, разумеется, не было персонального компьютера, чтобы сжать всё это в тоненькие диски?

Я рассудила так: поэзия Ольги Бешенковской подождёт оказий из Питера (если, конечно, повезёт — в тот момент уезжали ещё как навсегда), а вот стихотворные послания её... кошки представляют собой несомненную, если не духовную, то уж, во всяком случае, душевную ценность...

И вообще... знаете, почему они мурлычат?

Это они бормочут себе в усы, под розовые треугольнички носиков, кошачьи стихи...

Я думаю, есть в искусстве такое замечательное направление “котаизм”, только оно пока ещё мало исследовано. Сюда можно отнести, например, изумительные романы Гофмана и Булгакова.

Наверное, все коты не бесталанны. Просто не всем повезло с хозяевами...

Некоторые граждане оскорбительно суют коту блюдце с кормом, совершенно не интересуясь его, кота, духовной жизнью. (Таких котовладельцев даже компьютерная мышка отказывается называть родителями, не то что капризные, избалованные пушистые члены наших семей...)

...Вот мне и захотелось предложить нехвостатым, если так можно выразиться, читателям некоторые образчики из кошачьей переписки, которая от времени уже пожелтела, как древнеегипетский папирус... В нашем доме кошка всегда считалась священным животным...

Итак, время действия — 1983 год, перед перестройкой...

Действующие лица и исполнители:

Кот Мурр Бешенковский (он же, как вскоре выясняется, — кошка Мура Бешенковская), весьма легкомысленная, дерзкая, острыя на язычок особа, по своим политическим взглядам — убеждённая диссидентка, на первый взгляд — нахлебница: часами сидит на деревянной хлебнице, как на пьедестале, но хлеб не ворует...

Кот Атос, отец Мурра-Муры, проживающий у корреспондента “Литературной газеты” по Ленинграду, члена Союза советских писателей (не из вредных), мурлыкающего на всех литературных собраниях и тусовках Ильи Фонякова. В переписке, нельзя не заметить и не отметить, обнаруживает снисходительность и благородство души, спрятанной под обыкновенной котовой «придворной» шкурой...

Кошка Ляля, мама Мурра-Муры, проживающая в семье члена Союза советских писателей, но неисправимо хорошего человека Гали Гампер. (Не оттого ли так трагична её

судьба: она была зверски растерзана лисой на территории Дома творчества ленинградских писателей в Комарово – Ляля, а не Галя.)

Кот Платон, жених Муры, из хорошей интеллектуальной семьи питерских кочегаров, друзей О.Бешенковской.

Кот Буся – сосед Муры по лестничной клетке, толстый, но проворный и, как теперь говорят интеллигентные люди, «ва-а-ще козёл»...

Итак – кто сказал “Мяу”?

P.S. «Мяу», необходимо отметить, в ленинградской поэзии первой сказала Зоя Эзрохи, которой я задолго до своей «кошачьей переписки» посвятила стихотворение, начинавшееся так: «Рядовому клиенту ломбарда и кошачьему первопевцу»... Так оно и было: Зоя, по существу, придумала новый жанр, заразивший нас, как игра, захвативший своей пронзительной, пусть даже и «животной» искренностью на фоне советского литературного пафоса, его фальшивой гигантомании... Зоины кошки первыми начали сочинять стихи и назвали свой жанр «Перепиской»... Теперь, когда эта, самая первая, кошачья переписка уже издана, считаю себя вправе обнародовать и произведения благодарных последователей... (Смею предположить, что, как это часто бывает, последователи пошли дальше основоположника: внутренний мир Атоса и Муры богат и противоречив, он раздираем когтями не только специфически кошачьих страстей... Хотя, возможно, некоторая басенность и вредит поэзии, как нравоучения всегда претят воспитанию...)

Жаль только, что после нескольких переездов в Германии я не могу отыскать ещё одну, более позднюю часть переписки, уже моей рыжей кисы Тюни, которой, к слову пришлось, только что исполнилось в Штутгарте двадцать лет, с Василием Слепаковым. (Фамилия, знакомая любителям поэзии...) Вдвойне жаль, потому что это уже невосстановимо – Нонна Слепакова умерла несколько лет назад. Её кот виртуозно играл словами но, кстати, всё время задирал в них Тюно за её «подзаборность», понимай – непринадлежность к официальной литературе... (Как ранее Мура, прожившая всего один год, «царапала» при каждом удобном письменном случае Атоса Фонякова за его, наоборот, к ней, к этой литературе, причастность...)

В ту пору литература в Питере в самом деле делилась на два лагеря: официальная (члены Союза писателей СССР) – и альтернативная, «вторая литературная действительность», как нас тогда называли. Это были, без преувеличения, две разные литературы, разные, прежде всего, нравственно... Отсюда – и неизбежное в те годы противостояние даже талантливых представителей той и другой стороны.

Но вот прошло время, уже два десятилетия, и, перечитывая нашу «кошачью переписку», я ещё раз убеждаюсь, как всё на свете всё-таки относительно... Главное здесь, может быть, как раз в том, что и те, и другие (я имею в виду всех нас, вполне конкретных персонажей) **умели** писать стихи...

Это была игра, только игра, но никто из её участников не позволил бы себе невыверенной строчки, необязательного слова. Хотя стишкы и сочинялись как «одноразовые», ни о каких будущих публикациях речи быть не могло, даже если «кот» считался вполне «официальным», «респектабельным», и другие стихи его владельца печатались беспрепятственно. Эти же произведения предназначались и отправлялись, почти буквально, кошке под хвост...

В наши дни, когда по уважаемому мною с ещё самой ранней юности радио «Свобода» вполне можно услышать стихотворение «У гнома – саркома» (это не название стихотворения, это всё оно и есть, от первой до последней буквы...), когда так называемый авангард стал арьергардом, доводящим поэзию до пещерных бессвязных выкриков и хрюпов (я отнюдь не против крика кикиморы, но – не только же он...); в наши дни, когда пишут все, кому только не лень, и безграмотные книжонки захлестывают «великую русскую литературу» (ну вот и довели её, бедную, до кавычек...), я снимаю шляпу перед кошкой Мурой и котом Атосом и не без тайного удовольствия передаю читателям ими написанное...

Заведующая архивом кошки Муры и председатель комиссии по её творческому наследию
О. Бешенковская.
Штутгарт. 2005

МУРА Бешенковская – АТОС Фоняков**«Кошачья переписка»*****Mурр - Атосу***

Атос!

Меня назвали Мурром
/Виною гофмановский кот/.
Под важным, пышным, чернобурым
Дрожит мой щупленький живот
Так, впадинка... /Ни мех, ни имя
Не скроют нашей наготы.../
Итак, воззреньями своими
Пренебрегать, как все коты,
Не вправе я, – лизун варенья,
Хозяин, братец мой старой,
Всё ждёт, когда свои творенья
Я изложу со всей душой...
Ну что ж, одно из них – про папу...
Вот у него – отец и мать,
А я ночами должен лапу
В тоске по родичам сосать...
Бывают сложные моменты
И у котов, и у людей,
Но люди платят алименты
На обездоленных детей...
Конечно, мне хватает рыбки,
Но я не прочь вкусить икры,
Лишённый маминой улыбки
Подкидыши папиной игры...
Вчера, затолканный в кювету
/О, сколько ханженских оков.../,
Я начал писать в «Литгазету»
/Пардон, mon scher, но важно это/ –
Увидел подпись: «Фоняков»...
И вспомнил я, что слышал где-то,
Настроив ушки, как радар,
Что ты у этого поэта
Живёшь на твёрдый гонорар...
Отец! Минтая доедая,
Бредя в морфейные края,
Вспомни: в мире есть худая
Ночная копия твоя...
Ты бросил нас незрячих, босых,
Но я тебя боготворю.
Будь благородным! Будь Атосом!
О маме я не говорю:
Прелюбодейка, и в итоге
Животных низменных страстей,
Как древнегреческие боги,
Готова жрать своих детей –
Мы ей мешаем в новых встречах:
У мамы Ляли вновь ля-мур...
...Мужчины всё же человечней...
Жму лапу. Жду поддержки...

Мурр.

Атос – Murpy

Ушаственный чёрный мой сыночек!
Послать могу я, наконец,
Хоть несколько душевных строчек
Тебе, как любящий отец.

А в чём причина промедленья –
Тебе поведаю сейчас.
Пусть прозвучит как наставленье
Мой драматический рассказ.

Беда обрушилась на папу:
Подбили папе камнем лапу –
Травмировали, так сказать,
И эту раненую лапу,
А вместе с ней, конечно, папу,
Решил Хозяин эскулапу –
Ветеринару показать.

Вовек не знать бы этой доли!
Меня поставили на стол,
И я едва не взвыл от боли,
Когда мне сделали укол.

Но нет, не взвыл: ведь я мужчина –
Молчал, достоинство храня.
И призываю нынче сына:
Во всём бери пример с меня!

Знай, сын мой: мир велик и сложен,
Друзья живут в нём и враги.
Будь смел, но вместе – осторожен,
А хвост особо береги...

Будь чаще бодрым и весёлым,
Держи трубой всё тот же хвост,
А в обращены с дамским полом
Будь обаятелен и прост.

Хоть говорят, что по натуре
Непостоянны мы, коты,
Я рад во всей твоей фигуре
Увидеть мамины черты.

И не суди о ней превратно:
У нас любовь была всерьёз,
Причём, уже неоднократно...
Жму лапу.

Твой отец.

АТОС

12 июня 1983 г.

Мура – Атосу

О Атос, я – последняя дура,
Или скажешь мяукать «ура»
Оттого, что не Мурр я, а Мура,
Как доказано было вчера:
Были эксперты очень серьёзны,
Непредвзято глядели под хвост...
И сказали, что каяться поздно
И что случай достаточно прост...
Случай сам себя чувствовал Мурром
И на прочность, ленив и незван,
Ястребиным своим маникюром
Проверял философски диван...
Я мечтал об эссе и о рыбке,
Кот в мешке... Развязался мешок –
И хозяев кривые улыбки
Прошибал генетический шок:
Всколыхнулась давнишняя драма –
Ровно тридцать бессонных ночей
Здесь гостила любезная мама,
Репродуктор любовных речей...
Головные звенящие боли
/Дай кота – хоть пали из ружья.../
...Начиталась античности, что ли,
Развратившая сына в мужья,
Обольстившая пол-Комарово
До тебя, мой наивный папа...
Впрочем, всех нас от сырной столовой
Увлекает кошачья тропа...
Впрочем, хватит злословного соло,
Я – действительно дама, увы:
Первый признак прекрасного пола –
Язычок-не сносить головы...
Я свернусь в гуталиновый жемчуг
И хозяйке на ушко спою:
Принимай, уязвившая женщин,
Эту кару на шею свою...
Буду нежиться с вазой на шкатулке
И в постели с твоим сорванцом,
А накажешь – пожалуюсь папе:
Защищай, коль назвался отцом...
Бедный папа с подшибленной лапой
/Сердце пискнуло мышкой в груди/,
От уколов слезами не капай –
Ты попробуй однажды роди...
И спасибо тебе за советы –
Может быть, пригодятся когда...
Может, нас и научат поэты,
Хвост поджав, превратиться в кота...

P. S.
Я твой конверт храню. В труху
Не изорву, играя ръяно.
Поклон за Бедного Демьяна,
Но – жду демьянову уху.

Атос – Муре

Не успел полюбить я сыночка –
И, пожалуйста, вот тебе на:
Не сыночек, выходит, а дочка,
То есть, вкратце, не «он», а «она»!

А куда ж, извините, доселе,
Очевидностям всем вопреки,
Котоводы-владельцы глядели –
«Хомо сапиенсы», знатоки!?

Я такого не ждал реприманда,
Я неделю ходил как чумной,
Вся кошачья окрестная банда
Потешалась, увы, надо мной.

Но сказал я: «Нет, плакать не надо!
Не печалься, Атос, не грусти:
Всё равно ведь – родимое чадо,
Плоть от плоти и шерсть от шерсти.»

О простор без конца и без края,
Без конца и без края мечта!
Узнаю тебя, дочь! Принимаю!
И приветствую взмахом хвоста!

АТОС

И снова Атос – Муре

Привет тебе, дочурка Мура!
Я не писал тебе давно,
Но что-то нынче слишком хмуро
Зима глядит в моё окно.

На стёклах грязные накрапы
Я замечаю поутру,
И на душе тоска, и лапы
Совсем не тянутся к перу.

А в довершение печали
Я часто думаю о ней –
О незабвенной чёрной Ляле,
Покойной матери твоей.

А ты сама теперь большая,
И, может быть, уже, хе-хе,
Тебе подумать не мешает
О милом друге – женихе...

Но как-то мне тревожно всё же,
Когда подумаю о том,
Как мало нынче молодёжи,
Всерьёз достойной быть Котом.

На всех усатых и хвостатых
Какой-то детскости печать:

Весь век ходить бы им в котятах
И ни за что не отвечать...

Тебе желаю я сердечно:
Осуществи свою мечту,
И друга выбери, конечно,
По сердцу, а не по хвосту.

А я себе не изменяю:
Ем рыбку, сплю и вижу сны,
И потихонечку линяю
Здесь, в ожидании весны.

Не для того, чтобы растрогать,
А просто так, от всей души
Дарю тебе мой старый коготь.
Целую, дочь моя. Пиши!

Папа Атос

Отцу-слепцу /взрослеют дети.../
от милой дочери в декрете...

Ах папа, папа, – женихи
Остались в юношеском прошлом...
Они писали мне стихи
С томлением трогательно-пошлым.
Но я мечтала не о том –
Не о любезностях дешёвых,
Давно помолвлена с котом
Из философских, камышовых...
Мой обожаемый Платон
Звонил, тревожа сердце мяром,
И был его зовущий тон
Залогом будущим забавам...
И, наконец, когда с тоски
Я стала в клочья рвать перины,
Мой друг прислал за мной такси
И нежный запах осетрины...
Мне сшили белую фату,
Я в ней прошлась перед гостями...
В пути она сползла к хвосту
И жемчуг брызнул под когтями...
Ах, не для наших гордых шей
Их человеческое чванство!
Хотя не ловим и мышей,
И впереди – вегетарянство:
Пропал минтай, всё реже хек...
Но мой Платон – он всех заставил
Ловить, хватать когтями чек –
И бал тарелками заставил!
Я поняла: в квартире он –
Хозяин! Был старинной шубой
Нам пол накрыт...
...Мудрец Платон,
Увы, не знал, где хвост – где губы...
Всё целовал мои следы,

Учёной робостью измучил,
Водил смотреть на свет звезды
И, наконец, вконец наскучил...
Блеск чешуи солёных звёзд
Не утоляет – только дразнит...
Ужель тянуть кота за хвост?!.
Упущен миг. Испорчен праздник.
Чего ещё мне было ждать? –
К родной кювете фаэтона,
Мурлыча: «...собственных Платонов...
Российская земля рождать...»

...А дверь соседская была
Чуть приоткрыта... Скрёбся Буся...
И я, как чёрная стрела,
Влетела...

Зря меня звала
Хозяйка – кот не в еёном вкусе:
И толстоват, и глуповат,
Собственнодачный многоженец,
Тщеславный вид, сметанный взгляд,
Ни дать ни взять – еврей-снабженец...
А я пластилась перед ним,
В кошачьей страсти обезумев, –
Так с каждой кочкой делит нимб
Разбушевавшийся Везувий!
Я привела его домой,
Шепнула: вот диванчик мой,
Вот стол мой письменный – входите...

И здесь, на письменном столе,
Как всадник, скачущий в седле,
Мы были счастливы, родитель!

О в эту ночь никто не спал
В знак солидарности с котами!
То фолиант, гремя, упал,
То ваза с вкусными цветами...
Что мне докучливый укор,
Что свято место стихотворства,
Когда – о сладостный укол!
Святой союз единоборства!
Не знаю, в чём моя вина –
Хозяйка дуться соизволит,
Ворчит, что даже и она
Себе такого не позволит...

Пускай завидуют котам:
Всегда – как Ева и Адам,
Первоначальный смысл предметов
Оспаривая у поэтов!

...Но после мурр-ля-мур-страстей,
Увы и мяу, – ждут детей...
(И я, увы, не исключение).
Как видно, я уже – не та:
Во мне всё больше живота –
И меньше Бусей увлеченья...

Ещё могу добавить я,
Что всех беременность моя
Интересует и тревожит:
От Буси рыбку носят мне
Как добросовестной жене...
Платон звонит... И Васька тоже...
И сочинители хотят
Усыновить моих котят,
Зачатых на литературе,
Но посюсокав день и два...
(Увы, слова, одни слова
В словоохотливойатуре...)

И я боюсь, что без прикрас
Грозит младенцам унитаз,
А мне – коварный нож хирурга,
Поскольку очень я кричу,
Когда к любимому хочу –
Стенают стены Петербурга...

На этом я, Атос, прервусь.
(Надеюсь, что развеять грусть
Мне удалось твою.) Решаю,
Какие дать им имена:
Шварц, Вакса, Клякса, Сатана... –
О Боже, кажется, рожаю!!!...???

P. S.
Атос, о сладостный КОТарсис! –
Тебя не посрамила дочь:
Во мне, как бусинки, катались
Котята Бусины всю ночь...
И наконец...
 Тушите свет!
О стыд восторженного стона:
Три чёрных – вылитый сосед
И три – как дым любви Платона...

В ночь 25-26.01.1983

Мура – отцу (накануне)

Должна тебе я сообщить, Атос,
Ужасное и странное известье,
(Мужайся, нюхай пепел папирос
хозяина...)

Подумать о невесте
Пора, навек покинутый отец...
Вдовец.
Нет больше Ляли... Подлая лиса!
Кто звал её к писательской обедне!..
Наверно, слухом полнятся леса,
Что зайцев здесь – на целый заповедник...
Хоть говорят: покойница – бела...
За кошким род – о внутреннее жженье,
О вечныйстыд! – Ведь ма всегда была
В изнеможеньи или в положеньи,

КОШАЧЬЯ ПЕРЕПИСКА

И значит, беззащитная с хвоста...
А хищники, увы, не только в клетке –
Они и в джунглях творческих нередки,
Им по душе курортные места...
Нет больше Ляли! Скромный обелиск
Ей не воздвигли. Очередь за папой
(Не в лапы лис, а облик обелить
Свою всепрощающею лапой...)

P. S.

Раз уж не было свечи
На скрещённых лапах,
Ты уж там похлопочи
О бессмертия, папа!
Хоть сиротская тоска
Лечится едва ли,
Но пускай висит доска
«ЗДЕСЬ БЫВАЛА ЛЯЛЯ»

Пусть запомнит молодёжь,
Как погибла мама...
(Я надеюсь, ты найдёшь
Блат и чёрный мрамор...)
И пускай глядит со стен
Творческого дома
Рядом с Тихоновым Н.
Чёрная Мадонна...

Мура

ПРИМЕЧАНИЯ К ДОПОЛНЕНИЮ К ПИСЬМУ ОТ 25-26/1-с.г.

1.

Спеша обрадовать отца
Я буквы лапами вминал,
Смахнув хвостом конец финала...
Лови за хвост финал конца:

(ПИЩАЩИЙ В СЛИЗИ И КРОВИ
ПЛОД ПЛАТОНИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ...)

– Отправив, вдруг перечитала.

.....

2.

Атос, ворча на молодёжь
(За коготь сломанный – спасибо),
Во мне поддержки не найдёшь:
Я не мяукаю, как рыба...
(А что касается любви –
Вообще готова разорваться)
Но ты кота мне назови
Котом достойного называться...
Котята ждут, что посвятят их
В коты матёрые, а там...
Но, видно, выгодно котам

Котов придерживать в котятах
До петухов, до третьих стуж;
А ведь коты – не долголетки...
Брюхатят кошек, пьют из луж
И шкурой платят за объедки...
Но словно с горней вышины
Взирают, как в мехах и в теле,
Мужских достоинств лишены,
Коты мурлыкают в постели;
Кто ж отвечать, скажи, готов,
Да и с какой – подумай – стати,
За то, что мафия Котов
В хозяйской нежится кровати?
...Взамен трибун – помойный бак,
А ты махнул хвостом на это...
И лицемерны вздохи, как
«Литературная газета»...
Но встретив матерью зарю,
Прижав к груди молокососа,
Твой коготь детям подарю –
Не забывайте про Атоса...

Прости, Атос, под сенью муз
Напоминанье о лишае,
Но мой целующий укус
Тебе линять не помешает...

Мур-р-р-р-ра

29/1.с.г.

И снова Мура – Атосу
(По следам Катулла)

Может, Атос, благородный отец, заболел или умер?
Или, как мышью, лизнувшей мышьяк, подавился хвостатой обидой?
Дочь свою, шерсть от шерсти, не поздравил...
Она ж, котоматерь,
В корчах родильных и то отвечала на письма Атоса...
Позеленел виноград моих глаз от тоски и тревоги.
Не отвечаю Платону, и Бусе, и Веське, их мартовских арий не слышу.
Как Серафим шестихвостый меня окрылили котята.
Я их кормлю, чтобы мудрость впитали, на книгах. (Сегодня легла на **Котулла**).
Им уже месяц, а дед их, Атос, даже в ус почему-то не дует...
Когти его затупились – не в силах отбить телеграмму?
Дочерью, столь легкомысленной, сколь откровенной, Атос недоволен?
Знать бы пора, что мадонны из шлюх вырастают...
Киски в постелях мурлычат в усладу хозяйскому уху,
Им и не снилось б/п (беспородное) гордое счастье
Доблестных кошек с повадками уличных девок.
(Как я теперь понимаю покойную маму...)
Скоро в хорошие руки котят заберут. (Представляешь,
Конкурс возможных хозяев – по два человека на хвостик!)

Ты не поздравил меня, так тебя я поздравлю в отместку:
С мартом, Атос, и успехов тебе в личной жизни.

И Мура, и внуки.

P. S.

О если б ты, Атос, родил,
Я, получив такую тему, –
Коту под хвост: роман! Поэму!
А ты – письмом не наградил...
Наверно, спиши в тени алькова,
Ворча на нынешних котят...
(Прости, легла на Фонякова...)
...Прости, котята есть хотят.
(Вот нам когда отцов корить? –
Детей рожать, детей кормить...)

Атос – дочери

Как летит моё время – ну просто спасения нет!
Не забьёшься под шкаф – против шерсти, проклятое, гладит:
Не успел оглянуться – и вот я теперь уже дед.
А возможно, и прадед. А может, уже и прапрадед.

Но душой – ты поверь мне, дочурка! – я молод, как встарь.
Всё бы письма писал! За одним лишь всегда остановка:
Ускользнуть от работы наладился мой секретарь –
То статья в «Литгазету», то, видишь ли, командировка.

Слышал я, что у Зои (немножко я с нею знаком)
Все коты на машинке печатают лапами сами.
Но пока что не смею я даже мечтать о таком:
Лишь сижу и смотрю на заветные буквы часами.

Я сижу и мечтаю, тихонько хвостом шевеля:
Научиться бы мне – я б такое тогда напечатал!
Мемуары о Ляле (француз бы сказал: «Оляля!»).
Наставленья – тебе. И, как дедушка, – сказки внучатам.

Но хозяин опять прогоняет меня со стола,
Сам к машинке садится, не видит меня и не слышит.
Всё дела, говорит, всё дела у него и дела,
А на самом-то деле – стихи непонятные пишет.

Впрочем, пусть его пишет и тащит в какой-то «Совпис»!..
Сколько с ним ни живу – всё никак не пойму человека!..
А меж тем со двора к нам доносятся возгласы кис,
Потому что открылась у нас во дворе кискотека.

И такой за окном разливается солнечный свет,
Что меня поневоле, как в юные дни, лихорадит.
И не верится мне: неужели и вправду я дед?
А возможно, и прадед? А может, уже и прапрадед!?.

Атос

Мура – отцу

Как я рада, Атос, что ждала и томилась не зря!
В этой жизни, отец, нужно сделать великое что-то!
Увольняй же скорей нерадивого секретаря,
Если он не справляется с главным объёмом работы.

Укуси, наконец, — и отменится новый круиз,
И статья подождёт, и стихами пускай не морочит,
А внимает твоим... И мешками таскает в «совКис» —
То есть мне, например, или детям и родичам прочим...

Промелькнёт наша жизнь, как пугливая серая мышь,
Все газеты порвут на какие-то странные нужды...
Но останется мяя с восхитительных мартовских крыш,
Над которыми птички любуются нами — и кружат...

Вот тебе и проблема — всё та же — детей и отцов...
(Всех котят разобрали, и я размышляю в постели)
...Объясни же своим, кто хозяин, в конце-то концов!..
И держи их, как я, в своём чёрном пружинистом теле...

Даже младший корпит (созидаются «Мурный поток»)
Над главою, как я «вдруг однажды беременной стала»...
МемУРары мои — это только тетрадный листок,
Но общественность 1-го «б» их с восторгом читала...

Лишь одно омрачает мои плодотворные дни:
Что бесплодны, увы, пируэты Эрота на тапках...
Но я так закричу, что Платона и Бусю они
На руках принесут; и на задних попрыгают лапках!.

Мура

Атос – дочери

*Рецензия на пятисерийный фильм «Лялька» («Кукла»)
по роману Болеслава Пруса (Телевизия Польска)*

Хотя весна давно в природе —
Держусь за комнатный уют:
Фильм «Лялька» («Кукла» в переводе)
По телевизору дают.

Но всё, однако ж, как в тумане:
Картина, может быть, не та?
Хоть раз мелькнул бы на экране
Хоть кончик чёрного хвоста!

И эти маленькие лапки,
И ушки — чутки и черны...
Гляжу, гляжу — всё тряпки, тряпки,
Панёнки, пани и паны.

Граф разорён. Глядит печально,
С тоской покручивает ус...
Ах что-то, видно, изначально
Ты упустил, Болеслав Прус!

Подчас пикантную детальку
Покажут — что за ерунда!
Мне нужно Ляльку! Ляльку! Ляльку!
Вы ж обещали, господа!

Что ухмыляетесь эстетски?
Сказать хотите: я неправ?
Как это всё не по-шляхетски!
В конце концов, я тоже граф!

Атос Мурзиковски, граф де ля Фер

Мура – отцу

Атос, какой наивный пафос...
Хотя, признаться, и сама
В слепом котячестве попалась
На мушку тёртого Дюма:
И, вся дрожа, ждала Атоса,
Пушистый хвост и марку носа,
Боясь борзых, терпя актрис –
И что же?

Был сюжет заверчен
Как в лапах – мышь...

Похитил вечер
Фигляр, гроза дворцовых крыс...
Незаживающая рана:
Двуногий хлыщ – герой экрана
Взамен почтенного отца...

Они украли наши роли,
И всё искусство запороли,
Лишив и сути, и конца...

Кто смотрит нынче в телеящик...
Всё – надувательство одно!
Родильни кошкиной образчик –
Многосерийное кино...

(И как у нас безвкусно ню
Внесли в духовное меню...)

А что касается до Польши –
Она ж провинции не больше,
Да и не дальше...

Ox, Атос,
Дожил до вылезших волос,
А всё чего-то ждёшь с экрана,
Помимо скуки и обмана...

(Да и молчи, что «де ля граф» –
Оперативен телеграф...)

Какой там фильм рождён, облизан,
Свернулся, плакать перестал –
Зевнём...

Для кошки телевизор –
Великолепный пьедестал!
Лежу, подставив спинку маю,
Божеств египетских живей...

А в титрах – снова – Соловей...*
(Конечно, врут, но – вдруг поймаю?!.)

Маркиса М.

* Имеется в виду Елена Соловей, актриса.

И СНОВА *Мура – Атосу*

Атос! Твой благородный слог
Меня всё больше покоряет.
(И как же скучно повторяет
Его хвалимый всеми Блок...)
Среди пущистой чепухи
В обвилуюсой мелодраме
Твои прыгучие стихи
Посвящены Прекрасной Маме...
Какой крылатый взмах хвоста –
И красота, и простота!
И всепрощенье, и принятье
Любых укусов и невзгод...

...А у меня мероприятие
Такое, что – да будь я кот
Годов преклонных, – не снесла бы...
Но всё выносит пол наш слабый.
Представь: на мой прекрасный пол,
Где как на крыльышках носима,
Такой вонючий дождь пошёл,
Что я решила: Хиросима...
А что касается клопа –
Беспозвоночная нирвана:
Спал как алкаш на дне дивана,
Не видя: ставят на попа...

О мяу, мяу, мой диван,
Ты мне взамен эпох и стран,
Восток, безвыездная виза –
Удобно, дёшево, легко...

...За вредность едкого сюрприза
Мне сразу дали молоко.
И оценив опасность акции
(Я что увижу – то лижу),
В чужой покой эвакуации
Меня несли по этажу...
В любимой из хозяйствских сумок
(В других – сервис для разных дел...)
Меня сравнили с Иммой Сумак –
И носик мой похолодел
От злопыхательства соседей –
Из маек вылезших медведей...

...Чтоб ностальгии не бояться,
Садись к минувшему спиной...
Я села с важностью на яйца,
И все смеялись надо мной.

Напрасно:

Курицей — могу,
Мурлыкать же в чужом кругу —
Увольте... Вот что я хотела
Сказать. Не поняли меня...
Бесплодно ёрничало тело
До возвращенческого дня:
Клевало чёрную смороду
Чужим хозяевам в угоду,
Шипя, бросалось на трюмо...

И тут меня домой позвали
(О сборы блюдец, трали-вали...)
А там — Атосово письмо!

Отос! Атец! — смешались буквы,
Как слёзы встретившихся лиц!
Минтай! Да мне кислее клюквы
Малина их среди яиц!
Жизнь посвятить щипанью куры —
Какая дикая мура...
(Стр. 2. ВОЗЗРЕНЬЯ КОШКИ МУРЫ)
И — спать... (Пора, мой друг, пора...)

P. S.:

Атос, кислибрис твой
Мне машет лапой, как живой!
Его я нюхаю украдкой,
Ехидно щурясь, узнаю
Твою трибунную повадку
И жизнь диванную твою...

Атосу от Муры

РЫБАЙИ

(Подражание ОМАРУ)

* * *

Не люблю и боюсь пустобрёхов-собак:
Из-за них не проводишь любимых в кабак...
На крутом берегу для порядочной кошки
Замечательный друг — молчаливый рыбак...

* * *

Шевелит плавниками чудачка-плотва,
Хвостик бъётся в воде, на песке — голова...
Если ты на крючке червячка доедаешь —
И уха справедлива, и кошка права...

* * *

Эта килька себя возомнила звездой:
Полюбуйтесь — блестит чешуя под водой!

Но ющё серебристей консервная банка –
Хвастовство мелкоты обернулось бедой...

* * *

Мне хозяин, как стае, сказал: «Налетай!» –
Он сегодня поймал в магазине минтай.
Я люблю безголовую спинку минтая,
Как свои мяоизмы голодный Китай...

* * *

Почему-то двуногие любят икру.
Я такого глупца в образцы не беру.
Я любовью свой гемоглобин повышаю –
Это всем по карману, хвосту и нутру...

* * *

Отчего по ночам горлопанят коты?
Оттого, что не всем достаются киты...
Что с другими на лестнице дрючится кошка...
Наши страсти, увы, человечно просты.

* * *

Никого ты, Господь, не замысливал в брак:
Дышит рыбка – для кошки, для рыбки – червяк...
И омар под конькя человеку по вкусу...
Для чего человек – не пойму я никак?..

СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ЧЕРВЯК

Вот, жил-был один мужик. Бобылём жил. Сам один. И ни бабы у него, ни невесты не было. Не знаю уж почему, только не нашёл он, так сказать, подругу жизни.

И не то чтобы мужик сильно грустил по такому поводу, но было ему как-то грустновато. Да сами посудите — один, как сыр в дупле. Ни тебе поругаться, ни прочего удовольствия.

Вот, пошёл этот мужик как-то на базар под названием «колхозный рынок».

— Дай, — думает себе, — схожу я на базар.

И пошёл.

Вот, ходил он по этому базару, ходил и купил себе яблоко. Нет! Он целых три яблока купил, как помню. Захотелось ему. Потому что — витамин там есть в этих яблоках, железо — и вообще для пользы организма.

Вот, пришёл наш мужик домой. Разложил эти яблоки на столе. Пьёт и любуется. Красота, кто понимает!

Вот, любуется мужик этой красотой и видит, что из одного яблока червяк вылез. И сидит.

Тут мужик осерчал, размахнулся сплеча, чтобы эту поганую тварь прихлопнуть — или ещё как. А червяк и говорит мужику человеческим голосом:

— Не бей ты меня, мужик. Пожалей. Будешь кормить-поить — из меня через сколько-несколько дней бабочка выйдет. Мужик охолонул маленько, взял ещё стаканчик на грудь для правильного решения и спрашивает у червяка этого:

— А бабочка выйдет ничего себе или как остальные бабы?

— Глаз не отведёшь! — говорит червяк. — Залюбуюсь. Я отвечаю. Ты только потерпи. Ну и вот. Стал наш мужик терпеть.

Ходит на базар, яблоки покупает, червяка этого поганого кормит почём зря. И всё терпит. Вечером после работы сядет с червяком в шашки играть. Мужик пьёт, червяк закусывает. Чем не жизнь? Терпеть можно.

А по ночам мужик всё себе мечту мечтает. Как пройдёт он со своей бабочкой по двору под ручку. И как другие мужики от зависти сдохнут.

Вот, мечтает себе мужик эту замечательную мечту, а червяк тем временем вырос да и окуклился. Мужик его под стол засунул, чтобы кто не сглазил, и дальше ждёт. И уже дворовым мужикам намекать начал: дескать, заведу скоро себе такую бабёнку, что у вас у всех глаза на лоб повыкатываются.

А тут как вышло?

Пришёл мужик домой после аванса. Ну сами понимаете, дело святое. Отметил. Отметил да и заснул мертвецким сном. Просыпается — хват! А у куколки шкура треснувшая. И никого. Ни червяка, ни бабочки. Только вонь на всю хату.

Мужик туда, сюда. А потом только сообразил, что окно-то было приоткрыто. Вот и улетела его бабочка. Упорхнула.

Горевал наш мужик, горевал. Уж как горевал, так и сказать страшно. Слов таких не придумано, чтобы это горе рассказать. Даже пить был бросивши. Дескать, всё от водки. Правда, потом снова в норму пришёл.

Вот, и ходит теперь этот мужик по базару да яблоки червивые покупает. Покупать-то он их покупает, только такой ценный червяк, как прошлый раз, всё не попадается.

КАТМАНДУ

Вот, один мужик в школе хорошо учился. И был во всём примером. И отстающим помогал, хотя они и не просили. И старушек через дорогу переводил, несмотря на их отчаянные крики.

И всё это он потому делал, что хотел быть счастливым на всю оставшуюся жизнь. Ему когда-то учитель сказал, что мы не должны ждать милостей от природы. Вот, мужик этот и не стал ждать. Хотя он тогда и не мужик был вовсе, а сопливый пацан, но с характером. И поэтому он учился, себя превозмогая, чтобы вечное счастье со всеми вытекающими.

И, конечно, такое нечеловеческое старание заметили. И не только заметили, но стали поддерживать, поднимать и направлять в нужное русло.

Ну и вот. Поддерживают большие люди этого мужика, а он относится к этой поддержке с полным пониманием. И старается ещё больше.

Вот, позаканчивал наш мужик всякие заведения. Членом стал в организациях. Футы ну-ты! И близко не подходи! В столице живёт. Дом — полная чаша с охраной и окна за решётками. Куда той тюрьме?

А мужик ещё больше старается. Где надо, лизнёт, где надо, гавкнет. И всё-то у него по уму да как учили выходит.

Ладно.

Вот, как-то ввечеру сидел этот мужик у телевизора и вспомнил свою деревеньку, и как с дружбаном Васькой за пять километров в школу бегал. И много ещё чего такого вспомнил.

— А дай-ка, — думает, — съезжу я на родину. Гляну, как там и что. Заодно и себя покажу. Пущай завидуют.

Сказано — сделано. Вот сел мужик в свою «Волгу» с водителем. Приехал. Смотрит, а хатёнка его досками крест-накрест заколочена. А у соседней хаты сидит мужик. На Ваську похож. Только старый. Сидит и на дудке песни играет. Потому как выпивши.

Вот подходит наш мужик. Поздоровался. Сел рядом. А Васька ему и говорит:

— Ты, — говорит, — брат, не горюй. Маманьку твою пять лет как Господь прибрал. Но скончали мы её по-человечески. Всем миром скинулись и скончали. Потому как христианская душа. Всё, бывало, тебя ждала. А коровёнку мы продали и деньги я тебе сейчас вынесу, как наследство, так сказать.

Наш мужик деньги эти, конечно, взял и говорит:

— Что ж так мало? Пропили, наверное.

— Нет, — отвечает Васька. — Мы своё пропивали. А это святое.

И опять за дудку берётся, чтоб песни играть.

А наш мужик помолчал малость и говорит:

— Вот видишь, Васёк, как оно вышло. Всю жизнь учёбу учил. Сам в люди выбился, детей вывел. А счастья что-то нет и нет. Ну что толку от того, что знаю я, где Катманду находится?

— И то! — смеётся Васька. — У нас это каждый мальчишка знает. Ты только спроси — и расскажет, и покажет.

— А я про что? — говорит мужик. И с тем садится в свою персональную машину, чтоб уехать в столицу к полному счастью и социальному обеспечению.

И я его, мужики не сужу. Потому как старался человек, силы прикладывал, не говоря уже о прочих достоинствах. И теперь знает, где эта самая Катманда.

СКАЗКА О ТОМ, КАК У ОДНОГО МУЖИКА НОГИ ВОНЯЛИ

Вот говорят атеисты всякие, что молитва не помогает. Оно, может, им как раз и не помогает. Что правильно. Нечего... А простому человеку очень даже помогает. Я вам, робя, вот какую про это историю расскажу.

Никодимыч, сделав такой зачин, хлобыстнул налитый стакашок, занюхал хлебной корочкой, а потом долго жмурился и махал рукой возле лица, как будто мух отгонял. И только проделав все эти телодвижения, крякнул и, сказав «ох, мать твою!...» – начал закуривать. А закурив, продолжил:

– Тут у одного мужика ноги воняли. Я понимаю, конечно, что у нормального человека ноги не вонять не могут. Ну не бывает так, что никакого такого запашка. На то это и ноги, чтоб подванивать. Особенно когда цельный день в сапогах попреют. Но у этого мужика ноги не просто воняли, а как-то по-особому. Прям не запах, а оружие массового поражения. Больше трёх минут никто не выдерживал.

И тут трудно сказать: этот вонизм у него от рождения был – или болезнь какая. Мужик и врачей всех обошёл, и знахарок – всё зря. Один въедливый доктор сказал, правда, что может больничный выписать. Но не мужику, а евонному начальнику.

И понятно, что у бедолаги-мужика вся жизнь наперекосяк пошла. Баба его бросила. Сказала, что не может спать в противогазе. Он, дескать, ей шею натирает.

На работе мужики сказали, что прибывают, если он ещё раз появится.

И нельзя сказать, что мужик этот не старался запах убрать. Старался. И одеколоном обливал, и дезодорантами всякими, и в соде ноги парил – всё зря. Он даже в баню сталходить каждую неделю. Тоже напрасно. День-два – ничего, а потом опять воняют. Хоть плачь!

И вот как-то подсказала нашему мужику случайно встреченная старушка:

– Ты, – говорит, – в церкву сходи и Николаю-угоднику помолись. Как рукой снимет. Вот мужик и пошёл.

Пришёл, свечку купил, икону чудотворную ему бабуськи показали. Вот мужик стал перед Образом да и говорит. Так и так, говорит. Нельзя ли мне этот вредный запах убрать? А то совсем житья нету.

Так говорит мужик и видит, что Никола-угодник на иконе голову повернул и говорит:

– Ладно, мужик. Исполнится тебе. Ты только свечку ставь быстрей да уходи, а то из киота выпрыгнуть хочется.

Вот мужик свечку зажёг и побежал радостный. И так он обрадовался, что себя не помнил. А вспомнил только тогда, когда в больнице очнулся. Смотрит, врачуగа к нему подходит весь в белом. Мужик к нему:

– Доктор, – говорит, – скажи честно: ноги у меня воняют или нет?

– Не волнуйтесь, больной, – говорит этот врач, – вам вредно волноваться, потому что вы были под машину попавши, и мы всем трудовым коллективом еле-еле вас к жизни вернули. А ноги... Нет. Не воняют уже ваши ноги, потому что пришлось их обрезать по самое «не могу».

Так сказал этот доктор и сам ушёл.

А мужик наш сразу начал радоваться:

– Правду старая кочерга мне сказала, – думает. – Глянь ты! Простая штука, кажется, – свечку поставил. А как помогло!

И что б вы думали? Наладилась после этого у мужика жизнь. Пенсию стал получать. На паперти сидеть пристроился. И ему хорошо подавали, надо сказать. А потом приженился на одной вдовице. И живут да радуются. Правда, злобные соседки сначала всё к этой бабе приставали. Дескать, зачем тебе безногий нужен? А она им отвечала, что ноги у мужика – это не самый главный орган. Вот они и заткнулись.

Вот так бывает, братцы. А вы говорите...

ПАРИЖ

Я вам, мужики, врать не буду и не хочу, — сказал Никодимыч. — Но тут вот как вышло. Вы и не поверите, но приключилась с одним мужиком такая вот история.

Мужик этот всё мечтал в Париж съездить. Прогуляться, так сказать, по тем местам, где ихние Наполеоны с Ляями топтались.

Ну по молодому делу — это понятно. Я, вон, тоже по-молоду мечтал на Северный полюс и чтоб приключения. А потом заматерел и понял, что белого медведя я и в зоопарке посмотрю. Дёшево и сердито.

А этот мужик до зрелых лет свою мечту мечтал и холил. Даже жениться не стал, потому что деньги на свой Париж копил. А женись, так баба всё, накопленное тяжким трудом и воздержанием, отберёт. Это как пить дать. Правда, мужик этот не всё, что мог, копил. А только то, что после опохмелки случайно оставалось. Оно и понятно — здоровье дороже.

Вот, значит, накопил наш мужик некоторые средства, приобрёл себе путёвку, пиджачок спрятал да штиблеты — и поехал.

Возвращается мрачнее тучи и без пиджака.

Мужики к нему:

— Да что? Да как? Да с кем? И вообще.

А он молчит себе и разговоры не разговаривает. Только когда рюмашку принял, в себя пришёл и изложил всё, как было. Так что на меня чтобы потом бочки не катить. Я тут ни при чём. За что купил, за то и продаю.

Значит, так. Сел этот мужик в самолёт. Естественный страх преодолел. Огляделся. И тут у него первое разочарование получилось. Потому что в ихней группе собравшихся одни бабы да пидарасы. Еле-еле ещё двоих настоящих мужиков отыскал. А раз отыскал, значит, их уже трое. Значит, жить можно и прочие удовольствия.

Ну, значит, летели они, летели и прилетели. Привезли их из аэропорта в гостиницу и бросили на произвол судьбы.

Понятное дело, бабы и пидоры сразу по магазинам расползлись, а мужиков с собой не взяли. Но у них ещё были запасы, и они решили акклиматизироваться.

Вот просыпаются они утром. Трубы горят и во рту сохнет. А экскурсовод их бессердечно в автобус гонит. Ничего они на этот факт нарушений прав человека не сказали и молча пошли. Думают, что где-нибудь по дороге прихватят.

Ну сели в автобус на свои оплаченные заранее места. Едут. В окошко пляются. А там всякие французы ходят почём зря. Бабы тощие, носатые, голенастые. Вышагивают, как цапли по болоту. Лягух, небось, выглядывают. А мужики всё куда-то бегом спешат. И нужного магазина не видать нигде. Хоть плачь. А так всё, как было обещано. И башня ихняя и разное другое. А в газетных киосках, кроме газет, ничего подходящего.

Вот их тягали, тягали и, наконец, объявили свободное время, но чтоб к обеду как штык.

Мужики сразу бегом в пивную. На цены глянули — и пить расхотелось. Это же издевательство над простым человеком, а не цены!

Что делать? Вот мужики в магазинчик такой захудаленький вломились. Затаились там ихним поганым пойлом. Опять же, закусочка... И сели, как люди, на ступеньках, потому что о скамейках во дворах и думать нечего. Нету.

Ну и вот. Только по второй взяли, как накатили ихние менты. Лопочут хрен поймёшь и дубиналом угрожают. Наш мужик сразу выдал свой словарный запас. Он, оказалось, этот французский язык учил втихаря. Готовился, так сказать. Вот он этой ментовне и заявил с чувством собственного достоинства:

— Бонжур, лямур и триппер.

А эти недопоняли или ещё как. Повязали наших мужиков и в ихнюю парижскую кутузку. И тут же суд, не разобравшись по-человечески. Правда, переводчика дали. Тот и говорит, что мужики могут выбирать — или штраф на охрененные деньги, или семь суток каталажки.

А чё тут выбирать? И так понятно.

Вот выпустили этих мужиков и, как порядочных, прямо к самолёту подвезли.

Правда, наш-то в Москве добрал то, что не дали вражины из садистских побуждений. Там и пиджачок потерял.

А теперь больше в Париж не хочет. Женился, как человек. Живёт – куда с добром.

– Я, – говорит, – этих ихних Парижей и на открытках посмотреть могу, ежели припрёт. И это правильно.

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

Вот, жил-был один мужик.

И вот, когда он ещё мужиком не стал, а сопливым пацаном был, пил он пиво со своими дружбанами детства. Вот, пил этот будущий мужик пиво и заметил, что взрослые мужики портвейн жрут почём зря.

И взял тогда себе этот мужичок в голову, что надо только постараться, подрасти, деньжат подзаработать – и можно будет пить портвейн сколько влезет.

Вот, такую себе жизненную цель поставил этот пацан – и стал этой цели добиваться.

Другой бы на его месте подобивался бы день-два – да и бросил. А наш был упорный. Тут же перестал с пацаньём собак по заугольям гонять и в училище пошёл, чтобы повысить культурный уровень и образоваться.

Все думали, что благит мальчонка, а он взял да и закончил эту школу с дипломом.

Вот, закончил он эту учёбу, специалистом стал работать, портвейн свой заветный начал попивать. Только всё ему неймётся. Взял и двинул дальше в учёбу. На инженера. Потому что тогда можно себе водочку попивать и в ус не дуть. А что? Ходи себе в галстучке.

Ладно.

Вот, упёрся этот упрямый мужик и стал инженером. Ходит, рукой водит, а вечерами водочку пьёт.

Всё, кажется, как надо быть. Только мужику всё мало. Решил он в начальники выбраться, чтобы можно было коньяки пить без разбору. И уважение, опять же. И положение.

Не знаю, как там он этого положения добивался. Знал бы – сам в начальниках расхаживал. Только лет через несколько стал этот мужик коньяк жрать и колбасой закусывать. Вот, пьёт наш мужик коньяк, а тут перестройка – трах, баах! И видит мужик, что зря старался. Потому что некоторые пьют не просто коньяк, а что душа пожелает.

Ну и вот.

Стал мужик опять упираться. В бизнесмены пролазить.

И что же вы думаете? Пролез. Прямо неимоверные усилия приложил, но своего добился.

И вот как-то пришёл этот мужик к себе домой, открыл бар. А там всякого горючего наставлено... Пей – не хочу.

Вот, смотрел мужик на всё это великолепие, смотрел всю ночь. А к утру вдруг понял, что пить-то ему и не хочется. И такая обида у этого мужика возникла, что взял он и помер.

Потому что смысл жизни потерял.

А вы как думали?

Коротко об авторах

Ольга Бешенковская Поэт, прозаик, эссеист, публицист. Родилась в г. Ленинграде. Закончила факультет журналистики ЛГУ и пятнадцать лет проработала журналистом, но за принадлежность к андеграунду, «второй литературной действительности», была по распоряжению КГБ уволена без права работы в советской печати. Впоследствии много лет работала в котельной, а стихи печатались только в самиздате и на Западе. Учредила и издавала самиздатский журнал «Топка». В 1992 году переехала в Германию. Пишет по-русски и по-немецки. Автор шести поэтических сборников на русском языке, четырёх – на немецком и множества журнальных и газетных публикаций. Стихи и проза переведены на английский и французский языки. Живёт в Штутгарте.

Евгений Бовкун По образованию германист и переводчик, по профессии – журналист международник. Родился в Москве. Закончил переводческий факультет Московского государственного института иностранных языков. Работал в газете «Известия», журнале «За рубежом», на радио «Свобода». Широко публикуется в российской и зарубежной прессе. Живёт в Бонне.

Борис Вайнблат Прозаик. Родился в 1938 году в г. Житомире на Украине. С 1944 года до отъезда в Германию в 1995 году жил в г. Харькове. По образованию инженер, закончил Горный институт, работал в области автоматизированных систем управления. Писать рассказы начал в 2000-м году. С 1997 года – заместитель главного редактора журнала «Партнёр». Живёт в Дортмунде.

Наталья Генина Поэт, переводчик. Родилась в Москве, там же закончила филологический факультет Педагогического института. Работала журналистом, редактором московских издательств, десять лет руководила литературной студией, преподавала (и преподаёт) русский язык и литературу. Автор и соавтор нескольких книг стихов и поэтических переводов, публикуется в российских и германских периодических изданиях. В 1995 г. переехала в Германию. Живёт в Мюнхене.

Андрей Грицман Поэт, эссеист. Родился в 1947 году в Москве. По первому образованию врач, окончил Первый Московский медицинский институт имени Сеченова, кандидат медицинских наук. Второе образование – литературный факультет Вермонтского университета, магистр искусств по литературе. В 1981 году эмигрировал в США. Пишет по-русски и по-английски, автор семи книг стихов и прозы. Широко публикуется, по-русски – в ведущих русских литературных журналах, по-английски – в периодике США и Великобритании. Организатор и ведущий Международного клуба поэзии в Нью-Йорке, редактор сетевого журнала «Interpoesia». Живёт в Нью-Йорке.

Александра Жирмунская Прозаик. Родилась в Москве. Окончила Московский литературный институт им. Горького. Автор книги «Женщина на земле» (М. 1997). Печаталась в журналах «Соло», «Она», «Семь дней» и др. Живёт в Мюнхене.

Александр Кабаков Писатель, публицист. Родился в 1943 г. в г. Новосибирске. Окончил механико-математический факультет Днепропетровского университета по специальности «математика». Работал инженером, журналистом, был заместителем главного редактора газеты «Московские новости». Автор десятков книг и сотен журнальных и газетных публикаций. Книги переведены на пятнадцать языков и выходят во множестве стран. Лауреат нескольких престижных литературных премий. Живёт в Москве.

Андрей Кучаев Прозаик, драматург, киносценарист. Родился в 1939 г. в Москве. Окончил Московский электротехнический институт в 1963 г. и Высшие сценарные курсы в 1973 г. Работал инженером, был зам. главного редактора журналов «Новая Россия» и «Русская виза», преподавал в Новом гуманитарном университете. Автор многих прозаических книг, пьес и киносценариев. Лауреат двух литературных премий и конкурса на лучшую пьесу. Широко публикуется в ведущих российских литературных журналах. В 1995 г. переехал в Германию. Живёт в Мюльхайме-на-Руре.

Александр Кушнер Поэт, эссеист, переводчик. Родился в 1936 г. в г. Ленинграде. В 1959 г. окончил филологический факультет Государственного педагогического института им. Герцена и десять лет преподавал русский язык и литературу в школе. Автор более двадцати книг – поэзия, критика, эссеистика. Широко печатается в России и за рубежом, переведен на множество иностранных языков. Лауреат нескольких престижных российских и зарубежных премий, в том числе Государственной премии РФ (1996) и двух Пушкинских – российской и германской. Главный редактор «Библиотеки поэта». Живёт в Санкт-Петербурге.

Валдемар Люфт Прозаик. Родился в 1952 году в Джамбульской области Казахстана. По образованию экономист, закончил в 1987 г. Высшую школу профсоюзного движения в Москве. Работал монтажником, прорабом, главным диспетчером строй управления. В Германии с 1994 года. Член «Литературного общества немцев из России», публикуется в германской периодике. Живёт в г. Биберахе.

Александр Мелихов Прозаик, критик, публицист. Родился в 1947 г. в г. Россошь Воронежской обл. Окончил механико-математический факультет ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Автор множества прозаических книг, журнальных и газетных публикаций. Широко печатается в России и за рубежом, ведёт большую общественную деятельность. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге.

Владимир Порудоминский Прозаик, литературовед, критик. Родился в 1928 году в Москве. В 1950 году закончил редакционно-издательский факультет Московского полиграфического института. Автор множества книг, главным образом биографических, выходивших в серии «ЖЗЛ», книг для детей и юношества, а также целого ряда историко-литературных и литературно-критических статей. В 1994 году переехал в Германию. Живёт в Кёльне.

Александра Свиридовая Прозаик, кинодраматург, публицист, эссеист, поэт. Родилась в г. Херсоне на Украине. В 1976 г. окончила сценарный факультет ВГИКа, позднее – аспирантуру на кафедре киноведения. По её сценариям снято более двадцати фильмов. В 1994 году по приглашению университета Торонто уехала в Канаду. Широко печатается в периодических изданиях Америки и Европы, автор сотен эссе по вопросам литературы и искусства и нескольких книг прозы и поэзии. Живёт в Нью-Йорке.

Ян Торчинский Поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1934 году в Киеве. По образованию инженер-теплотехник, закончил Киевский политехнический институт, кандидат технических наук, автор шести книг и сотен статей по специальности. Как литератор публикуется в периодике США, России, Украины, автор шести электронных книг в разных литературных жанрах. В 1992 году эмигрировал в США. Живёт в Чикаго.

Майя Туровская Писатель, культуролог, сценарист, театровед, киновед, классик отечественной театральной и кинокритики. Родилась в г. Харькове, с детских лет жила в Москве. В 1947 г. закончила филологический факультет МГУ, в 1948 – театроведческий факультет ГИТИСа, доктор искусствоведения. Автор нескольких киносценариев (в т.ч. соавтор всемирно известного «Обыкновенного фашизма»), множества книг, журнальных и газетных публикаций по истории и проблемам театра и кино. Лауреат международной премии им. Станиславского. Живёт в Мюнхене.

Илья Фоняков Поэт, переводчик, эссеист, критик, журналист. Родился в 1935 г. в г. Бодайбо Иркутской обл. В 1957 г. закончил факультет журналистики ЛГУ. Работал в газете «Советская Сибирь», собственным корреспондентом «Литературной газеты» в Сибири, позднее в Ленинграде. Автор более тридцати книг стихов и прозы. Живёт в Санкт-Петербурге.

Борис Юдин Прозаик, поэт, художник. Родился в 1949 году в Латвии. Автор нескольких прозаических и поэтических книг. В 1996 году эмигрировал в США. Публикуется во многих периодических изданиях США, России и Европы. Живёт в Нью-Йорке.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
Выходит ежеквартально
“Partner“ Verlag

Руководитель издательства: Михаил Вайсбанд
Художник: Р. Дубинский
Компьютерная верстка: В. Аввакумов
Корректор: Р. Вайнблат

Подписано к печати 18.07.2005

Адрес: “Partner“ Verlag
Postfach 104219
44042 Dortmund, Germany
Тел.: +49 / 0231 / 952 973 0 (общий)
+49 / 0231 / 952 973 16 (подписка)
E-mail: info@zapiski.de

Банковские реквизиты:
Konto 190 57 36
BLZ 440 700 24
Deutsche Bank Dortmund

Электронная версия в Интернете:
www.zapiski.de

Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства Ваши
данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей
Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) – для проживающих вне Германии.

Вы получите четыре очередных выпуска журнала.

АНОНС

Читайте в третьем номере «Зарубежных записок»:

Прозу

Джеймса Болдуина (окончание романа «Комната Джованни»),
Юрия Малецкого (Аugsбург),
Галины Корниловой (Москва),
Натальи Толстой (Санкт-Петербург),
Людмилы Агеевой (Мюнхен)

Стихи

Галины Погожевой (Париж),
Алексея Макушинского (Эйхштетт),
Ирины Рашковской (Дортмунд),
Андрея Рево (Мюнхен)

Публицистику и эссеистику

Марка Харитонова (Москва),
Бориса Хазанова (Мюнхен)

и другие интересные материалы

ЗАРУБЕЖНЫЕ
ЗАПИСКИ

